

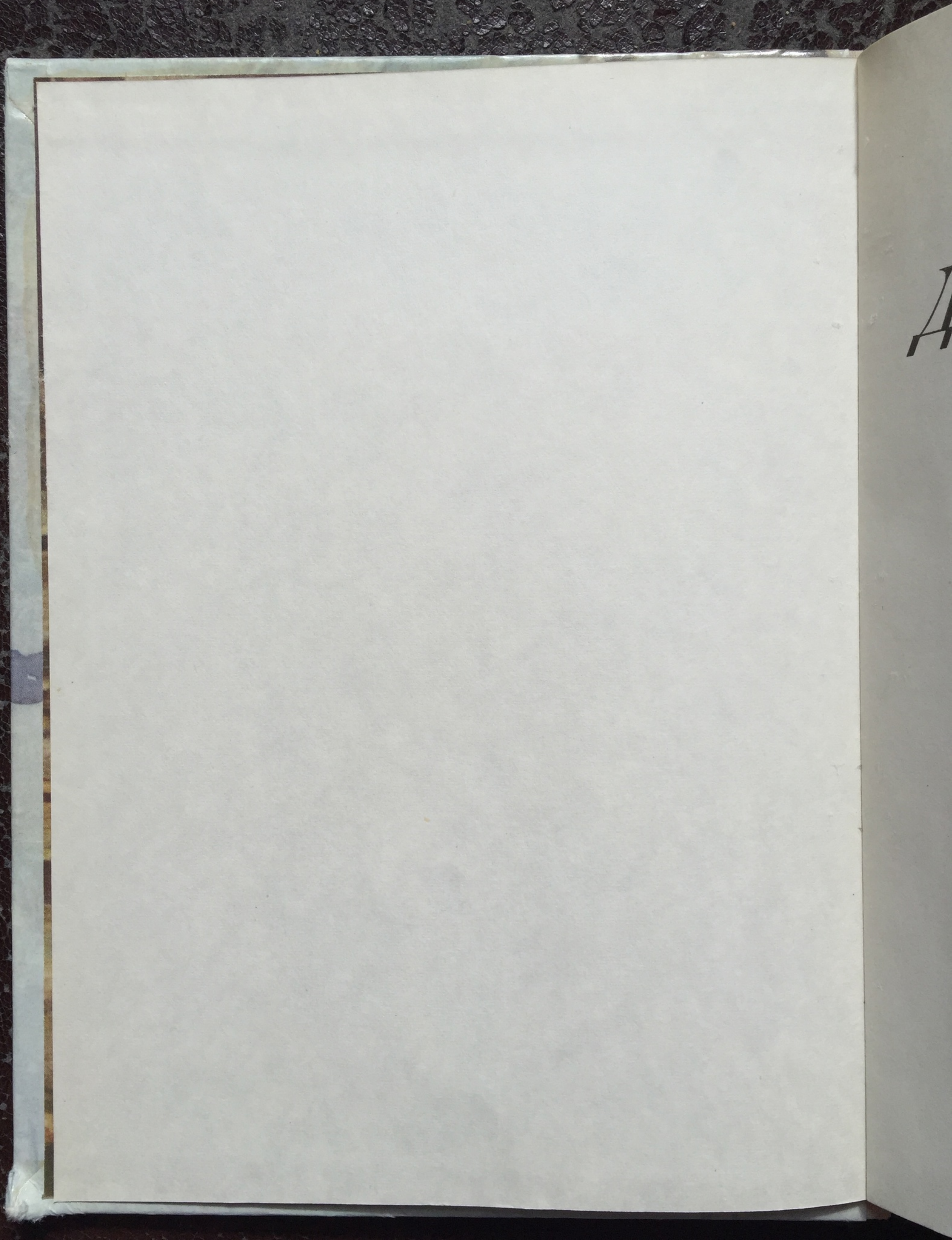


Татьяна Толкарова
ДВЕ БЕРЕЗЫ НА ХОЛМЕ

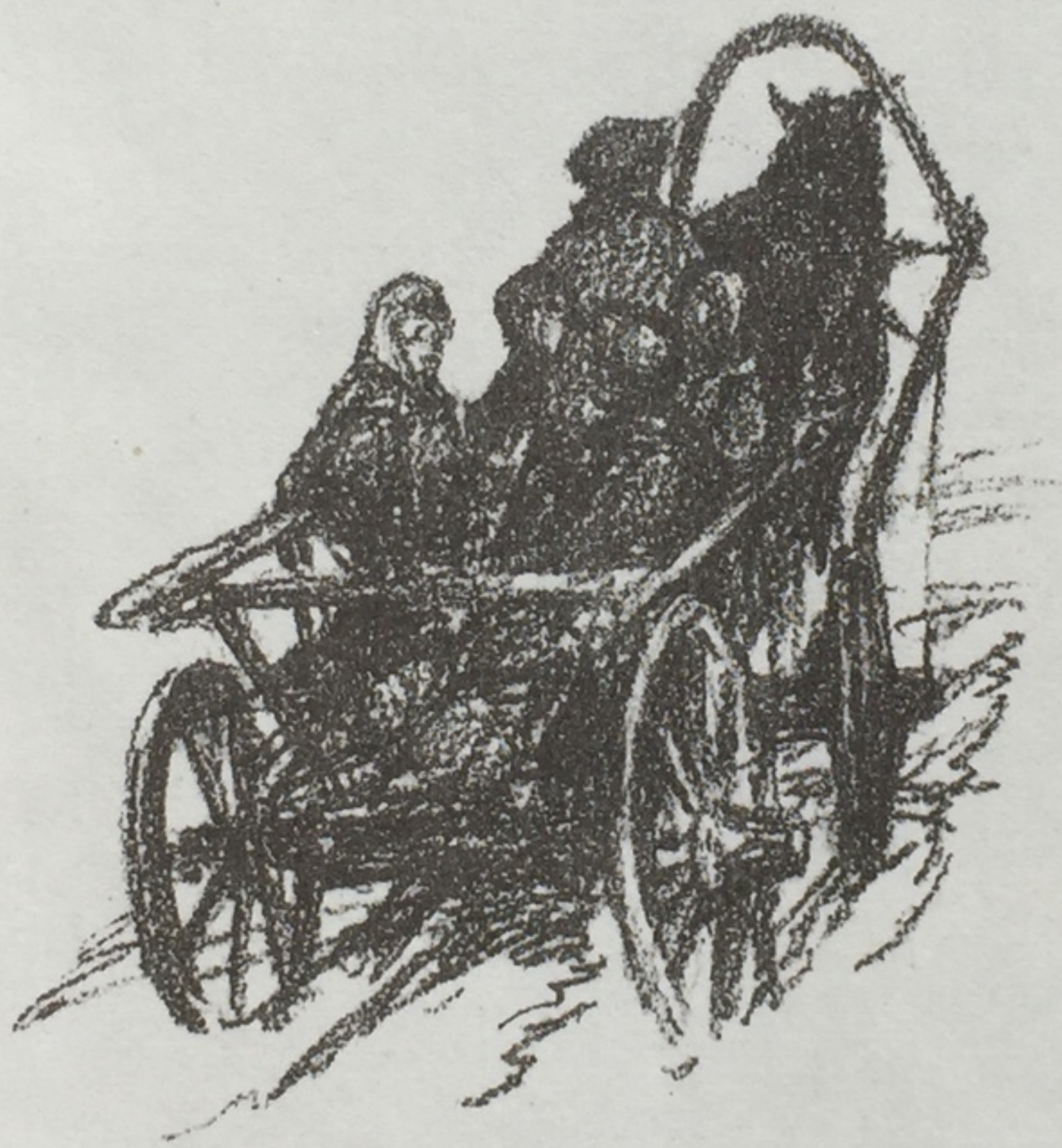
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»







Татьяна Толикарнова
ДВЕ БЕРЕЗЫ НА ХОЛМЕ
Повесть



РИСУНКИ Г. АКУЛОВА

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1979

P2
П50

П $\frac{70803-295}{M101(03)79}$ 247-79

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

От автора	3
---------------------	---

Часть первая

Пеньковская планета	5
Глядельщик	9
Тетя Еня и бабушка	15
Тоня Антипова	19
Великий плач	23
Вечерние разговоры	27
Дорога домой	32
Дома и Пеньки нипочем	37
По-русски, по-татарски, по-немецки	44
Воскресенье: дела и происшествия	48
Сон и явь	57
Вот так наказание!	60
Мелентий Фомич	67
Военрук	71
История с ремешком	73
Энгелькина тайна	78
Мороженная картошка	80
Гранаты	88
Сумерки	94
Книга	97
Плохие вести	103
След в след	106

Часть вторая

На холме, средь желтой нивы...	113
Зинка и любовь	116
Бабушкина кровать	129
«Ойся да ойся!»	132
Карусели	140
Дежурства	144
Измена!	153

«Часовым ты поставлен у ворот...»	155
Пощечина	166
Что-то случится...	169
Нас разоблачили	174
После уроков оказалось...	178
Первая репетиция	180
Пять овечек	186
О счастье	192
Грусть-тоска	197
Концерт	199
Превращения	204
День рождения	212
Лесные сказки	220
Открытки	223
Лапта	225
Поле победы	227
«Лешка, до завтра!»	233

ОТ АВТОРА

На что надеется автор, когда книга закончена и остается написать предисловие? Надеется, что читатель подружится с книжкой, с ее героями и сумеет посмотреть на них, как на самого себя...

Мне хотелось рассказать, как непросто жить человеку, когда ему 13—14 лет. Сколь многое вдруг представляется ему иначе, чем год-два назад. Как хочется понять, как-то объяснить себе и поступки взрослых — учителей, родителей и своих сверстников — мальчишек и девчонок.

А еще более хочется разобраться в самом себе: почему вдруг тебя страшит, или обижает, или радует то, что других оставляет совершенно спокойными? Слаб ты или силен? Почему стыдишься своих чувств? Виновен ли, что чувствуешь так, а не иначе?

Героине этой книги приходилось тем более не просто, что жила она и училась в годы войны. И хотя село Пеньки было в глубоком тылу, все равно: время шло трудное, военное...

Кстати, о времени: оно, как известно, не проходит бесследно. И поколения вступают в след друг друга. Поэтому я и надеюсь, что эта книга поможет тебе, читающему ее сегодня, почувствовать родство с теми ребятами, увидеть, как вы похожи. Ведь и любим мы одно, и враги у нас общие...

Еще мне хотелось бы напомнить, что с героиней повести Дашей Плетневой читатель мог встретиться и раньше: о ней я рассказывала в книге «От весны до осени». Повесть о Даше, как и эта, новая, печаталась сначала в журнале «Пионер» (в 1973 г.), а потом, в 1976 году, вышла отдельной книжкой, тоже в Детгизе.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕНЬКОВСКАЯ ПЛАНЕТА

Новая школа — это каждый раз как новая планета. Ты ступаешь на ее землю и не знаешь, кто тебе тут враг, кто друг. Вообще неизвестно, что за племена здесь обитают. Какие у них законы и привычки, чего здесь надо особенно опасаться.

А для меня не только школа новая начиналась: в пятом классе вообще все новое — и предметы, и учителя, но и этого мало. Само село, где эта школа и этот пятый класс находились, было чужим — Пеньки.

Все совхозные ребята, кто собирался кончать семилетку, ходили в Пеньковскую школу, в совхозной-то было всего четыре класса.

Теперь эта новая Пеньковская планета бушевала вокруг нас, совхозных. Нам так и кричали со всех сторон: «Совхозные! Совхозные приехали! Новенькие есть!»

От волнения, оттого, что никогда еще не видела сразу так много незнакомых ребят, я не могла уловить, запомнить хоть какие-то лица: они мелькали, похожие и разные, вокруг меня, я даже не пыталась всматриваться, — все силы свои собрала, чтоб сохранять на лице достойное спокойствие, чтоб не обнаружить, как мне страшно и одиноко. Все старшие ребята из совхоза, наверное, разбежались по своим классам, а моя подружка Зульфия болела, и первого сентября ее не было с нами. И чувствовала я себя в кутерьме чужого веселья такой заброшенной и маленькой, как, наверное, может чувствовать себя щепка или соломинка в бушующем море.

И, только утвердившись на своем месте за партой, словно на крохотном, но хоть твердом островке, защищенная сзади ее спинкой, а спереди довольно просторной крышкой, уперев ноги в надежно неподвижную перекладину, а локти в столь же надежную столешницу, я как бы вернулась сама к себе: «Чур меня, чур! Я вне игры!» — зачуралась на время урока. Магический круг безопасности очертил вокруг меня звонок. Наконец-то все эти текучие, изменчивые, переливчатые лица, мелькавшие у меня перед глазами до звонка, теперь устоялись над партами, перестали дробиться и можно было их рассмотреть и запомнить, хотя бы те, которые я видела со своего места, — оборачиваться я не решалась.

Но только мой взгляд скользнул вдоль голов, чтоб произвести разведку: кто — что, кто — какой, какие все, как мгновенно его перехватили. Над классом витал глаз нашего учителя. Это было так ужасно, что сердце на миг во мне остановилось! Учитель русского языка, он же директор школы, смотрел в журнал — он только начал читать список фамилий; один его глаз был опущен к столу — он же читал! — а второй — смотрел прямо на меня! Смотрел на класс!

Мало того, что учителя звали необычайно — Мелентий Фомич, — он еще имел, как в сказке, недреманное око!

Я так и сидела застыв, не увидев ни одного лица, пока он не назвал моей фамилии. И она так страшно отчужденно прозвучала в чужой комнате, для чужих ушей, произнесенная чужим человеком с неслышанным именем и с невиданным глазом. Я встала за партой, внутренне окоченев.

Так Хома Брут в «Вие» окоченел предсмертно, обнаружив себя для всех под указующим пальцем Вия: «Вот он!»

— Вот она, Плетнева! — грохотало у меня в ушах, хотя я уже давно сидела в своем убежище и ничьи когти и зубы не тянулись ко мне. А несколько круглых белых пятен — лиц, обернувшихся на мое вставание, оборачивались уже к другим, кто подымался на голос учителя. Я просто физически сейчас ощущала, видела глазами других свое круглое голое лицо. Так мне казалось оттого, что сегодня впервые мои отросшие за лето волосы заплели в две косички. «Нехорошо, — сказали мне, — все здесь с косичками, а ты придешь в локонах».

* * *

Так погибла моя красота, которая только в это последнее лето начала было меня утешать. Обычно меня стригли коротко. Волосы росли прямые и жестковатые, папа говорил: как лошадиный хвост.

Я никак не могла понять, что у меня за лицо — ничего себе или совсем отвратительное. Когда дома никого не было, я простаивала перед зеркалом, забывая о времени, о делах, о книгах. Я рассматривала свое лицо, пытаюсь обнаружить в нем хотя бы следы красоты, описанной в моих любимых книгах. Нет! Ни огромных, как лесные озера, глаз Ревекки из «Айвенго», ни прекрасно-бледных щек синьоры Боллы из «Овода», ни золотистых, как свежая стружка, и длинных, как водопад, волос Золушки не было у меня. И нос мой был хоть и прямой, но какой-то толстоватый, а щеки и вовсе круглые, а глаза совсем светлые. Только и радости — что длинные ресницы, загнутые вверх, как у всей папиной родни. А волосы — просто гладкая челка. Довольно темная.

«Да уж, — думала я, созерцая все это в зеркале, — чего уж тут и смотреть. Одного взгляда достаточно. Но почему же тогда я не могу оторваться от своего лица? Нет, я его не люблю. Это точно. Но почему, почему так притягивает меня зеркало? Почему это неказистое отражение, эти глаза, и лоб, и щеки — почему это я?» Смотрели на меня в упор светлые спрашивающие глаза. Глаза в глаза: это я? Это ты? Где я и где ты? И кто ты?

Плавало лицо в голубой глубине стекла, в бездонной, ловил взгляд: не появится ли там прекрасный образ незнакомки? Нет, все то же надоевшее и ненаглядное мое лицо.

И вот когда перед пятым классом, впервые летом меня не подстригли, как обычно, волосы отросли и изменили свойство. Вдруг пошла по волосам волнистость. Пряди надо лбом посветлели — выгорели, что ли? Чтоб они не лезли в глаза, бабушка собирала их с висков и надо лбом и заплетала в косичку. Она толстой колбаской лежала на затылке, а вдоль лица вились свободные, незаплетенные прядки. Они светлели и становились пушистыми. Над головой стоял светлый венчик. Щеки поэтому казались не такими уж круглыми. Конечно, лицо мое не изменилось, но хоть как-то украсилось.

Этим летом мы с девчонками, бегая на прополку в поле, прирастились вить венки из выполотых васильков. Не пропадать же совсем без пользы такой красоте! Плели венки особенные, набирая в вязочку разом по пять-шесть цветков, и венки получался пышный, как шапочка. Он долго не вял. Ложась спать, я вешала его на стул, утром надевала. Одного венка хватало на три дня.

Наверное, из-за этого яркого венка произошел тот случай. Однажды несколько городских девушек (они приехали в совхоз на уборку), встретив меня на полевой дороге, вдруг прервали свой щебет, а когда мы разминулись, я услышала, как одна из них сказала:

— Вот красивая девчонка...

— Симпатичная, — отозвалась вторая задумчиво.

Сердце мое замерло. Я не смела поверить своим ушам. Никто и никогда не говорил так обо мне. Никто и никогда не говорил и мне таких слов. Ни мама, ни бабушка. И вот сказали чужие, сами прекрасные, как героини моих книг, городские таинственные девушки, к которым я не осмелилась бы и подойти, считая, что им, таким красивым, будет просто неприятно от моей невзрачности, а мне — стыдно от их презрения.

Дома я, конечно же, бросилась к зеркалу. Да, из глаз бил свет, щеки горели. Да, венки были синие и прекрасные. Но лицо осталось моим лицом. Ничего не изменилось. Свет в глазах померк: «И это все?»

Девушки просто были добрые. Я пошла на кухню к бабушке. Повертелась перед ней, посмотрела ей в лицо. Чтоб и она на меня взглянула. Может, тоже скажет? А она спросила:

— Что так раздумяешься? Нет ли жару? — и потрогала мой лоб.

Гордость не позволяла мне спросить ее прямо: «Скажи, может, все-таки я не такая уж безобразная, как думаю?» Где-то в глубине души я знала, что бабушке и маме я нравлюсь сама по себе, и им

безразлично, какая я на вид, поэтому еще бесполезно было спрашивать. Только покажу им, что меня это задевает, — какой стыд и малодушие!

Единственное, что я могла, — это не обнаружить малодушия, не дать догадаться другим, что меня занимает.

А вот теперь, перед школой, все волосы мои стянули в некрасивые, короткие и толстые косички, торчащие из-за ушей. Вылезли на вид голые щеки. Ф-фу! А тут при всех — по фамилии.

Сидя теперь в чужом классе с новым своим лицом, я осваивалась с тем таинственным, непонятым и потому страшным обстоятельством, что твоя фамилия, произнесенная вслух при незнакомых людях, обнаруживая тебя, одновременно и уничтожает... Наверное, в это мгновение воспринимаешь свою фамилию так же, как все эти люди, для которых она пока не более чем звук пустой, оболочка, лишенная смысла, ничем не заполненная. И вот эти-то мгновения, когда ты вместе с другими и сама себя так ощущаешь — ничем, пустым местом, — и ударяют так больно по сердцу. До сих пор я была Дашей, Даней, Дашуткой. Это имя значило для меня любовь. Даже в нашей совхозной школе, даже в сочетании с фамилией — так иногда называла меня Анфиса Петровна, единственная до сих пор моя учительница, — оно было мною самою. Даша Плетнева. Но, наверное, еще потому, что там все меня знали и я — всех. А теперь: «Плетнева!» Как удар. Плетью. И к этому нужно было привыкать. И привыкла. Но первый удар был таким сильным, что всякий раз на уроках — а сколько их было! — на собраниях — а их было сколько! — этот первый миг явления твоей фамилии для всех — дергает: мгновенный ужас Хомы Брута, обнаруженного Вином: «Вот он!»

ГЛЯДЕЛЬЩИК

А урок тем временем шел своим чередом. Учитель с недреманным оком подошел к доске; наконец-то можно было перевести дух.

Я глянула вправо: там, вдоль безоконной стены, весь ряд парт занимали мальчишки. Я глянула туда и будто наткнулась на неподвижно нацеленные на меня глаза. Как на стену с разбегу налетела!

Мальчишка не отвел вежливо взгляд, когда встретился с моим, его глаза даже не дрогнули, как должны бы дрогнуть у любого живого



человека, застигнутого врасплох. Нет, они не улыбнулись, не нахмурились, не рассердились, не растерялись, ни одна ресничка не шевельнулась. Ко мне было обращено неподвижное, спокойное, с неподвижным немигающим взглядом лицо наблюдателя, которого никак не может ни взволновать, ни задеть поведение наблюдаемого. Это мне не понравилось. «Чего это он? — подумала я, отвернувшись. — Наверное, смотрит, какое у меня противное лицо. Подумаешь, сам-то какой! Еще смотрит. Больше в ту сторону и не гляну. Много чести».

Я стала смотреть на доску, где Мелентий Фомич выписывал очень красивыми буквами: «1 сентября 1943 года». Он велел написать это и нам в тетрадях.

И я написала. И снова, подняв голову, невольно глянула вправо. Мальчишка — он что, и не писал, что ли? — по-прежнему смотрел на меня. Он, видно, нисколько не боялся недреманного ока: сидел, развалившись на парте, прислонясь спиной к стенке, подперев голову правой рукой, левая же свободно брошена на следующую за ним парту. Он сидел в позе Пушкина-лицеиста на садовой скамье, есть

такая скульптура. Только лицо у него было совсем не пушкинское: замкнутое, чужое, непонятное. Я попала словно в перекрестье этих взоров: учительское недреманное око мешало мне как-то ответить мальчишке, рожу ему, что ли, соорудить. Чего ему надо? Наконец я догадалась: это он мне в гляделки играть предлагает! А я еще сержусь, отворачиваюсь! Вот подумает, что я не могу смотреть ему в глаза.

И я включилась в игру. Чуть-чуть повернула голову, чтоб не очень было заметно, и уставилась в глаза мальчишке. «А недреманное-то око, наверное, не видит,— наконец сообразила я,— наша бы Анфиса Петровна давно велела мальчишке сесть прямо». Я поняла, что учитель просто крив и не может смотреть, как все. И мне стало его ужасно жалко. Я даже смигнула. И опять рассердилась на мальчишку: развалился как барин! Пользуется, что учитель несчастный.

Я стала смотреть на него с презрением и негодованием. Подумаешь, чемпион гляделок! Если б мне сидеть к нему лицом, прямо, ни за что бы не смигнула. Попробовал бы, как я, косить глазами вбок!

Странная все-таки эта новая школа. У нас бы так не побаловали!

Еще я думала, что, если б учитель не называл так громко мою фамилию, этот мальчишка не заметил бы меня и не стал бы на меня смотреть.

Теперь вот сиди и мучайся. Глазам было очень больно.

И до смерти наскучило лицо мальчишки, лицо, к которому я оказалась прикована поневоле, по долгу чести. Узкое, бледное, с маленьким ртом и тонким, длинноватым носом, это лицо казалось бы совсем белесым: волосы, ресницы, брови очень светлые,— если б не карие, удлинённые глаза. Будто нарисовали лицо, но еще не раскрасили, только глаза успели нанести коричневой блестящей краской.

Когда зазвенел звонок и учитель стал собирать со стола свои пожитки, я показала язык мальчишке. Он ожил. Вскочив ногами на парту, заорал мне: «Вот только выйди, я тте!» И потряс кулаком.

Ой, что же началось на перемене! Мальчишки здесь были какие-то бешеные: они носились друг за другом прямо по партам, кидались в проходе на пол, на живот и, поймав приятеля за ноги, дергали так, что человек хлопался навзничь и голова стучала об пол как деревянная — звонко. А больше всех бесился тот, глядельщик. Я так и не встала со своей парты: выйти сейчас было все равно что сунуться в клетку ко львам и тиграм, которым сторожа забыли дать поесть.

Глядя на беснующихся мальчишек, я ждала, что сейчас кто-нибудь убьют насмерть или кровь пустят. Но ничего такого не случилось. Видно, головы у ребят были крепкие. Девчонок, которые, как и я, в перемену не вышли из-за парт, не задевали.

Так я сделала свое первое открытие на этой планете: парта — твоё убежище. Держись ее, если хочешь уцелеть.

Перемена кончилась, а жертв не оказалось. Только воздух в классе был теперь как на току в пору молотбы: просвеченная солнцем пыль стояла волнистыми слоями, классная доска с моего места, с четвертой парты, еле-еле виднелась.

Мальчишки сидели красные, взъерошенные, шумно дышали. А «того» на месте не оказалось. Опоздал уже, вот тип! Когда он исчез из класса? Я и не заметила. Все здесь вертелся.

Учительница на следующий урок пришла милая, с лицом, похожим на лицо моей мамы. Вся такая чистая, свежая, с золотистыми волосами, уложенными на затылке в литой тяжелый узел.

Опять неожиданность! По тому, как меня удивило появление в классе красивого, чистого, здорового человека, я поняла, что уже ничего хорошего от своей новой школы, чужой планеты, и не ждала. Видно, так и думала, что учителя все будут под стать этому пыльному, враждебному классу, — вроде Мелентия Фомича, маленького, суховатенького, черного, с лицом как не у всех, с глазом, что смотрит, да не видит, и которого ничто происходящее в классе не тревожит и не касается.

«Вот дурочка», — думала я, поймав себя на этих мыслях, с наслаждением наблюдая за красивыми крупными, добрыми руками учительницы, раскрывающими журнал, переставляющими на столе чернильницу, ручку, указку.

Всей кожей, всем своим существом я воспринимала какую-то теплую, умиляющую волну, исходившую от учительницы, ее широковатого лица, всей небольшой, чуть полной фигуры в белоснежной батистовой блузе, просвечивающей розовым на плечах.

А между тем мы встали и сели, а она нахмурилась и молчит.

Даже я почувствовала себя виноватой за ужасную пыльную бурю в классе. Стало очень тихо.

И негромко она сказала:

— Отпраздновали первое сентября? Обрадовались встрече? Знаете, если так будет после каждой перемены, мы все не доживем до конца

года. Мы просто все погибнем. И виновные,— она кивнула на мальчиков,— и безвинные,— глянула на девочек,— и мы — учителя.— И скомандовала: — Откройте окна!

Девчата, что сидели возле окон, грохнули шпингалетами, рамы хрустнули, звякнули стекла; золотой сентябрьский теплый воздух ринулся в класс — воздух, припахивающий горьковатым дымком, сыростью взрытой земли и едким запахом раздробленной картофельной ботвы: на огородах за школой копали картошку. Стал слышен и суховатый, уже легкий (не тяжело-влажный, как летом) шелест вянущей, желтеющей листвы. Школа стояла в глубине церковной ограды. Все пространство между высокой красно-кирпичной церковью, выходящей на улицу, и двумя деревянными низкими домиками школы заполняли важные старые деревья — березы и вязы. Трава под ними росла густая, муравчатая, а вдоль кирпичной ограды, примыкавшей справа и слева к церкви, будто церковь раскинула красные руки, обнимая зеленый двор вместе с нашими школами,— вдоль ограды кустилась крапива.

Я теперь видела все это в раскрытое окно. А утром, когда мы, кучка совхозных — шестиклассники Шура Омелина, Вера Зозуля и Энгельс Ахтямов, Лена Ахтямова, его сестра-семиклассница, я и Степка Садов — новенькие, пятиклассники,— когда все мы шли через этот же двор, я вроде ничего здесь не видела. Как в сказке: закрыла глаза — еще дома, а открыла — в новом царстве-государстве...

Сразу, как распахнули окна, класс наш похорошел и подобрел. Я почувствовала, что, кажется, смогу здесь учиться. Вот если б на перемене через окно сразу выпрыгнуть во двор, чтобы не проходить по классу и коридору, где буйствуют мальчишки, то и нагуляться можно. А не сидеть прикованной к парте. И учительница, словно одобряя меня за эти мысли, проговорила:

— Ну вот и хорошо стало у нас. Начнем урок. Я буду вас учить биологии. Пока, в пятом классе,— ботанике. А зовут меня Мария Степановна...

— Ой-ай! — вдруг взвизгнула девочка, сидящая у самого окна, сзади меня, и, загрохотав крышкой парты, шарахнулась, сбивая с места свою соседку.

А в окне заплясал, размахивая пучком крапивы, тот мальчишка, «глядельщик»!

— Я положила руку на подоконник,— возмущенным голосом рас-

сказывала девочка, — и так сию! А меня ка-ак ожжет по руке! Ну, вот огнем! Огнем! Аж сердце занялось!

Мария Степановна не спеша шла по классу к выходу, бросив на ходу:

— Окна можно закрыть.

Даже мальчишки были в недоумении.

— Чё это он, сдурел? — спрашивал один.

— Белены объелся, ха-ха-ха! — басил сиплым голосом самый большой, похожий на Бармалея: лицо красное, черные волосы клочками надо лбом, губы толстые, почти как у негра, а когда смеется, вся верхняя десна наружу — так вздергивается губа.

— Ты, Карпэй, видать, с ним вместе белену-то жевал, так меня башкой об пол саданул! — пищал маленький парнишка с острым носиком и здоровым лбом.

— Да не белены — он, видать, волочьих ягод надрался, от волочьих, знаешь, буйство берет! Хуже белены! Я знаю! — солидно объяснял, тоже черный, как Карпэй, но аккуратный лицом и одеждой мальчишка.

— Сид-ди ты! Волоцьи — от них один понос, а буйство, оно, паря, от дури! — с презрением протянул еще там кто-то из них — наверно, самый умный, — а кто, уж и не успела посмотреть: в класс вернулась Мария Степановна. Одна.

— Ничего, — объяснила она нам. — Это с ним пройдет. Он сейчас у директора, у Мелентия Фомича, посидит, подумает, успокоится. Разбаловался за лето. Хочет себя показать. Ну, хватит о нем. Начнем урок...

Я слушала успокаивающий, разумный голос учительницы: слова, которые она говорила, и то, как она говорила, все напоминало мне дом. Я слушала ее и забывала, что вокруг чужая планета. И с отрадой и утешением представляла я себе, как сидят друг против друга Мелентий Фомич и тот мальчишка и глядят друг на друга. И мальчишке трудно, потому что ему приходится смотреть то в один глаз Мелентия, то в другой — в недреманное око, которое смотрит и в сторону и чуть вверх.

Так ему и надо. До чего же противный и вредный мальчишка!

ТЕТЯ ЕНЯ И БАБУШКА

Я еще не знала, что дом, в котором мне придется жить в Пеньках, стоит совсем рядом с домом противного мальчишки! В одном переулке.

* * *

Все совхозные ребята жили в Пеньках на квартирах. За десять километров в школу из дома не набегаешься. Вот и терпели до субботы, а уж в субботу наступал праздник, мы бежали домой. А в понедельник, вместе с запасом продуктов на неделю, нас привозили обратно в Пеньки на лошади.

После уроков первого дня мы с Шурой Омелиной и Верой Зозулей шли домой, на свои квартиры. Веру поселили к Шуре, а Шура жила у какой-то своей тетки. Хотя здесь, в Пеньках, была у нее родная бабушка — мы к ней заходили во время своего путешествия, давно, еще до войны, и ночевали, — но почему-то сейчас Шура не стала жить у бабушки.

Папа еще летом привозил меня знакомиться к той женщине, у которой предстояло мне жить и где уже стояли на квартире директорские дети — Ахтямовы Лена и Энгельс.

Они до меня проучились в Пеньках целую зиму. Папа остановил свою Пчелку у крепких ворот дома, соседнего с домом Шуркиной бабушки.

— Узнаешь? — коротко спросил меня папа.

Еще бы мне не узнать этот тихий зеленый переулок! От зелени здесь кажется более прохладно, чем на пыльной и широкой, заезженной и затоптанной главной улице деревни.

«Вот, — подумала я, — тем давним летом, до войны, с Шуркой и Аськой мы проходили мимо этих ворот, и я видела этот самый палисадник с тремя молодыми березками; наверное, заметила и окна в голубых резных наличниках и совсем не догадывалась, что это мой дом. Что он ждет меня. И будет ждать три года».

Папа отворял ворота. И они ныли тягуче, как зубная боль. Я шевельнула вожжами, и Пчелка ступила на чисто выметенный двор.

Сердце у меня сжалось от предчувствия разлуки, которая наступит хоть и не сейчас, когда вслед за папой всходила я по пяти ступенькам до светлой желтизны выскобленного крыльца. Вторая

снизу ступенька была перекошена, отходила от стенки, и черная кинжальная щель подчеркивала нетронутую чистоту дерева.

«Как же тут в грязь-то ходить?» — со страхом подумала я. А папа отворил дверь в сени, такую же яростно чистую, как и крыльцо, и на меня пахнуло этим острым запахом: ни на что не похожим, не деревенским, вроде бы и приятным, сладковатым, и в то же время каким-то тоскливым; от него защемило сердце, запершило где-то в горле. Запах чужого, чистого, пустоватого дома, запах разлуки со всем привычным, домашним. Запах иной планеты.

Потом, когда ехали домой, я спросила папу, почувствовал ли и он, как пахло в сенях у тети Ени.

— Да, — сказал он, — какая-то горючая смесь. Вроде бы и авиационным бензином припахивает... Не думаю, что чистый: этой смесью, тетя Еня, наверное, лампу заправляет. Нужно будет привезти ей керосину.

Вот это да! Авиационный! Я как несущественное и скучное обошла в папином объяснении какую-то там смесь, какой-то керосин и занялась бензином. То, что здесь лампу заправляют авиационным бензином вместо обычного вонючего керосина, было для меня как сигнал, как знак какой-то совсем новой, необычной жизни, которая должна у меня начаться.

«Откуда же взяться авиационному бензину?» — размышляла я. Аэродромов и близко нет, в глуши-то нашей.

— Пап, а откуда он, бензин?

— Да кто ж его знает. Наверное, шофер заезжал переночевать, — здесь дорога широкая, ну и расплатился.

— А у шофера откуда?

— Так ведь заправился где-нибудь авиационным. Бывает, вместо обычного попадет на заправочную цистерна авиационного.

«Как все просто, — подумала я. — Лучше бы так: ехал шофер с военного аэродрома, раненный. Или вез летчиков, тоже раненных, долечиваться в глубокий тыл, то есть в наши края. И заехал в Пеньки переночевать. Попал к тете Ене, потому что у нее такая чистота, а раненым это необходимо. Места здесь много — целая комната, а тетя Еня одна с бабушкой. И весь вечер они, эти летчики, и шофер пили чай и вспоминали свои подвиги. А за чай и ночлег оставили ей немного бензина. Вот как должно было быть, а не простая заправка на простой бензоколонке или нефтебазе».

И все-таки я решила: когда получше познакомлюсь с тетей Еней, спрошу ее, не останавливались ли у нее летчики. Вдруг да и было...

* * *

И вот я иду из школы в этот дом, где сени сладко и чуждо пропахли авиационным бензином, как самолеты, летающие в синем небе, и где со мною будут не мои мама и папа, бабуся и Толик, а совсем почти незнакомые люди: тетя Еня, ее лежащая бабушка да Ахтямовы Лена с Энгельсом.

Вот бабушка...

Почему-то, когда мы с папой приезжали летом, я не заметила ее. Лежала ли она тогда на своей широкой, единственной в комнате кровати? Надо будет спросить.

Бабушка сама никуда уйти не могла бы. Ей восемьдесят три года, а пятьдесят из них она пролежала в постели.

Илья Муромец тоже тридцать три года сиднем просидел. Но Муромец после этого стал сильным, могучим богатырем, а тети Енина бабушка вся ссохлась, сморщилась, как прошлогодняя помятая маковка, — маковая коробочка. Щеки ее, виски и глазницы ввалились, в сумерках в этих впадинах гнездились тени, и бабушкина голова напоминала череп.

Вечером, сидя за столом у окна, я долго смотрела издали на эту маленькую жутковатую голову (кровать бабушки стояла у задней стены дома, рядом с входной дверью). Не верилось рассказам тети Ени, что раньше, до того как бабушку разбил паралич, была она высокой и полной женщиной.

— Мне ее мыть тогда была одна мука — не приподыму, не поверну, а полежав сколько-то, она еще полнее стала, тяжестью налилась. Работа ее уже не сушила, а организм здоровый, только что ноги не владеют.

А ведь сама тетя Еня была статной — хоть и не толстой, довольно высокой, или, может, так только казалось из-за ее королевской важной осанки, неторопливой, плавной походки. В сильно бористой и длинной, до самых щиколоток, юбке она так незаметно переступала ногами, будто плыла.

И руки были у нее сильные: округлые загорелые запястья по

ширине почти не уступали ладони. И полное ведро воды она ставила на скамью так легко, будто это чашка чая, а не ведро.

— Это теперь она стала легкая, словно малый ребенок, — кивнула тетя Еня на бабушку.

А маленькая бабушка лежала на высокой постели среди огромных подушек как кукла и все время перебирала четки (это такие крупные бусы) сведенными в щепоть, прямыми, даже и на взгляд негнувшимися, темными пальцами. А вот ладони, которые она протянула мне, здороваясь, оказались неожиданно светлыми, розовато-сиреневыми и на ощупь нежными, как у ребенка. Это я почувствовала, когда она взяла мою руку в обе свои, к удивлению моему, теплые ладони и погладила ее, а не пожала, а потом задержала, осторожно прижав, как держат цыпленка или маленькую птичку. Тогда я близко увидела глаза бабушки: темно-коричневые морщинистые веки, лишенные ресниц, уже не могли раскрыться до конца, так что даже краешек белков не виднелся. И наверное, поэтому глаза, неопределенно-темные, с неразличимым зрачком, напомнили мне глаза когда-то жившей у нас дома черепахи. Бабушка и смотрела так же грустно-загадочно, из мира, в который мне хода нет, где живут какие-то иные люди, дуют иные ветры и солнце иное, а скорей всего, в той стране не солнце, а просто сам по себе разлит тихий свет без теней, а может быть, там светит большая бледная луна. Наверное, и бабушка понимала, что я не из ее мира, взгляд ее ко мне шел издалека, как если б я стояла где-то там, через речку, на другом берегу, а не рядом с ней.

— Ах ты моя ласточка, — тихо прошелестел ее голос, — от мамушки-то как рано на дальнюю сторонущку. Звать-то как?

— Даша, — ответила я, чувствуя, как в горле встал и мешает комок от жалости то ли к ней, то ли к себе самой.

— Ташенька, — закивала головой бабушка и еще пожала мою руку, — старинное имечко, крестьянское... Енюшка, — позвала она дочь, — зовут-то ее хорошо — Дарьюшкой.

Я смутилась. Так меня еще никогда не называли. Получалась я опять не такая, как есть на самом деле: будто уже взрослая. А тетя Еня еще добавила, отозвавшись из чулана (так здесь кухню называют) громким голосом:

— Как же, как же: она у нас, матушка, Дарья Сергеевна.

Так и не поняла я: то ли меня она повеличала матушкой, то ли к матери так обратилась.

Эта тетя Еня такая: все вроде говорит серьезно, а где-то насмешка таится в ее словах или намек какой-то скрытый.

Показалось мне, она хотела сказать, что я не просто себе девочка, как бабушка меня приняла, а дочка начальника: главный зоотехник по важности сразу идет после директора совхоза, а директор — это уж выше и нет.

Зачем она так? Ведь Лена и Энгельс и вовсе уж директорские дети. А к ним она без всякой насмешки.

Вот и утром сегодня, когда я в школу собиралась, тетя Еня сказала, глядя, как я причесываюсь перед зеркалом:

— Знаешь что, Даша, волосы лучше заплести. Ты, оно правда, не деревенская девочка и кудри тебе к лицу, но в школу надо поскромнее. Там все будут с косами, а ты на особицу. Вот и неладно получится. Осудят еще.

Я так и замерла с гребенкой в руках. Получалось по ее словам, что я нарочно хочу выделяться? Просто у меня для кос коротки еще волосы были. Да и вообще не думала я, какая у меня прическа: для школы или не для школы. У меня даже слезы на глаза навернулись. Тут Лена мне помогла.

— Правда, — говорит, — как это я не догадалась тебе сказать? Давай живо заплету!

И заплела. И свои ленточки завязала.

У самой Лены косы длинные, черные, она их подвязывает, продевая ленты в самое верхнее звено кос, за ушами. Мои же коротковатые волосы еле заплелись, и нахально торчали косицы из-за ушей. Хорошо, конечно, что тетя Еня сказала про волосы, а то и правда бы стала я среди девчат как белая ворона. Только зачем она все меня подозревает?

ТОНЯ АНТИПОВА

После уроков первого сентября я шла домой вместе с Шурой Омелиной и Верой Зозулей.

Звонок с последнего урока оказался волшебным: мальчишки уже не бесновались — спешили по домам. Многие жили в ближних деревнях — за три, четыре и за пять километров. Почти ни у кого из ребят не было портфелей. А как у пастухов — холщовая сумка на

лямке через плечо. Лямка на правом плече, сумка под левой рукой. В дороге удобно, не мешает. А у меня был старый мамин портфельчик — совсем облезлый, рыхлый, рыжеватый, но с замком и с ручкой, как полагается.

И у Шурки был портфель, и у Веры.

Лена Ахтямова с нами не шла. У них было шесть уроков, а Энгельс отправился с мальчишками. Вообще я заметила, что здесь девочки и мальчики еще больше сторонились друг друга, чем в совхозе. Вот интересно: дома мы с Энгельской, например, и разговариваем и играем, а если в школе или на улице — то делаем вид, будто и знать не хотим друг друга.

Даже и шли так: девчата по правой стороне дороги, мальчишки — по левой. Я смотрела украдкой — не видно ли того «глядельщика». Он после истории с крапивой ничуть не стал тише, скакал по партам, гонял по коридору, сбивая встречных с ног, а на уроках по-прежнему глядел на меня. Я уж привыкла к этому и больше не обращала внимания. Звали его Лешкой Никоновым. Немного побаивалась я, что после уроков он пристанет ко мне и будет драться, но, кроме Шуры и Веры, в нашу сторону шло много девчат, бояться было нечего. Да нигде и не виднелась Лешкина белесая голова.

Последний раз я видела его на большой перемене — он мчался вдогонку за какой-то бойкой девчонкой. Я еще удивилась, какая бесстрашная девчонка: она часто оглядывалась на Лешку с довольным и веселым видом и даже дразнилась: «Догони-ка!» Она здорово, легко бежала, обманно бросаясь в сторону и вдруг сворачивая за дерево. Кстати, она одна из девчат бегала с мальчишками по зеленому двору. И как мне хотелось тоже побегать! Такой широкий и зеленый двор! Огромные деревья, церковь, как древний рыцарский замок, и ограда широкая, по которой можно походить, как по крепостной стене. Но выбежать в этот двор — все равно что перейти линию фронта. Противно мне было оттого, что боюсь. Загнали меня в какую-то клетку, и стала я сама не своя. Просто стыд. Если б не Тоня Антипова, и не решилась бы я. Так бы и глядела в окно всю большую перемену. Но Тоня вдруг встала со своего места и негромко сказала:

— Девчатки, пошли за мной.

Как только она ступила в узкий проход между партами, вокруг нее заплясали мальчишки — и Лешка, и Карпэй, и тот черненький,

похожий на Карпэя, и еще какие-то не из нашего класса уже понабежали.

— Тетенька, тетенька, почем молоко?

А этот черненький кривлялся перед ней, дергался, как клоун. Вот Тоня его и схватила. Ловко как-то соединила его руки — ладонь к ладони, так ребенку делают «ладушки» — и спросила, пристально глядя ему в глаза:

— Ну, что с тобой сделать? На руках понести или сам пойдешь?

— Пусти, Тонька, пусти! — запросился мальчишка сразу жалобным голосом.

А Тоня обвела мальчишку вокруг себя, как в вальсе, не выпуская его рук, и оттолкнула на ребят, толпившихся в узком проходе между парт за ее спиной.

Они, разинув рот, наблюдали за расправой над чернявым и теперь с гоготом и восторгом приняли его к себе.

— Ай да девка! Вот так да!

— Зашибет мимоходом!

— Ей бы в кузню!

— Да чего там — пахать на ней!

— Ну, Голован, живой?

— Чай, с жизнью прощался!

Пока они восхищались Тоней, мы, все до одной, спокойно вышли за ней.

И лицом и фигурой Тоня уже походила на взрослую женщину. Лет ей, наверное, было много больше, чем любому в нашем классе. На первый взгляд вовсе некрасивая: все лицо — лоб, щеки, подбородок — необычного темного малиново-сизого цвета, будто она только что из жаркой бани. Загар такой, что ли? Тугое, набрякшее лицо, и губы так плотно сжаты, что кажется, Тоня все время терпит сильную боль. И выражение глаз, широко открытых, больших, усиливало это впечатление: взгляд был сосредоточен на чем-то своем, совсем не похожем на все, что происходит вокруг.

«Может, у нее что-то болит?» — подумала я, приглядевшись к Тониному лицу на перемене. А на следующем уроке раза два оглянулась, чтоб посмотреть, как она. Но она прилежно слушала и писала, сохраняя все то же выражение сдерживаемой затаенной боли. Когда она встречалась с моим взглядом, ее глаза становились строгими, как у учительницы.

«Видно, такая она есть,— решила я для себя о Тоне,— непохожая на других».

После большой перемены я уже не замечала ее некрасивости. Достоинство и силу, которых мне так не хватало в этот первый день ученья,— вот что видела я в Тоне теперь. Я и сейчас шла рядом с нею, принаравливаясь к ее широкому шагу и поглядывая на нее сбоку: губы сжаты, глаза думают о своем, ее не смущает, что полноту ее женской груди подчеркивает холщовая лямка от сумки с книжками, перекинутая через плечо. Лямка перерезывает грудь наискось, упруго вдавливаясь при каждом Тонином шаге. Линялая синяя кофточка морщит под лямкой. Темная юбка ниже колен, самодельные тапочки...

«Тоня мне не то что нравится, сказать так — ничего не сказать,— у меня просто сердце сжимается от какой-то непонятной мне самой жалости к ней. Откуда эта жалость? Ведь Тоня сильная...»

Верка Зозуля, с веселым и довольным видом озиравшаяся вокруг, вдруг ни с того ни с сего спросила:

— Тонь, а почему ты, така велыка дивчына, тильки у пятому классу?

— Так получилось,— спокойно отозвалась Тоня.

— А як получылось? А? — не унималась Верка.

Я дернула ее за руку: мол, что пристаешь, раз человек не хочет сказать?

— Да тебе на что знать? — Тоня отвечала без тени раздражения.

— А так! — захохотала эта дурочка Зозуля.

— А так только сеют мак,— Тоня усмехнулась чуть заметно.

— Подумаешь, яка горда! — обиделась наконец Вера.

— Подумаешь, да не скажешь! — радостным хором пропели мы с Шуркой. Как ловко Тоня отчитала любопытную Верку!

Когда мы поравнялись с домом, где поселились Шура и Вера, они стали звать нас зайти.

— Поглядите, как у нас!

И зачем я только зашла! Тоня ведь не согласилась. Если б я не зашла, не было бы той встречи. Но я зашла. И конечно, ничего особенного не было у них. Просто дом больше, чем у тети Ени, зато полы некрашеные, белые. Стол так же стоит в простенке между окнами, лавки струганные вдоль стен (у тети Ени лавок нет) да две кровати. Одна у стены, где выход в сени, другая вдоль чуланной

перегородки. Как-то еще неприютней, чем у тети Ени. Ни цветов на окнах, ни белых занавесочек. Голая комната. Тоскливая.

Я потопталась у порога, да и пошла, даже не позвав девчат к себе в гости. Не дома ведь. Еще как посмотрит хозяйка.

ВЕЛИКИЙ ПЛАЧ

От Шурино дома до моего совсем близко. Пройти мимо двух усадеб вперед, и вот он, наш переулок, — налево. Второй дом — это уже тетя Еня.

Я брела теперь одна со своим рыжим портфелем, а солнце светило в лицо, мешая смотреть.

Вдруг меня хлестнул резкий, уже знакомый голос:

— Эй, девчонка!

Чуть впереди, только на другой стороне дороги, стояли Лешка Никонов — «глядельщик» и Карпэй.

Я остановилась. Солнце било мне в глаза, я щурилась, чтоб разглядеть их, но лица было видно плохо. Ребята стояли рядом — широкий головастый Карпэй и узкий, тонкий Лешка — и молча смотрели на меня.

Я постояла и пошла дальше, чувствуя, что ноги у меня как ватные, а сердце будто звонкий мячик, даже в ушах его звон отдается. Солнце остановилось, его свет окаменел. Я шла как сквозь какое-то плотное вещество. Шаг — усилие. Шаг — усилие. Когда я проходила мимо них, Лешка пробормотал вполголоса: «У-у, большеतोлая! Припухли толы-те!» Что еще за толы? Что припухло? Губы? А-а, наверное, он про мои щеки...

Открывая калитку, я оглянулась: они были все на том же месте. Теперь знают, где я живу. Как они здесь оказались? Навалилась спиной на калитку. Звякнула щеколда. Все. Спасена. Солнце ожило на небе, воздух теплый, живой.

«Ну почему, почему я так его боюсь? Почему они как враги?!» Мне хотелось выкрикнуть это так громко, чтобы в горле стало больно, чтоб уши мои наполнились моим криком и не слышали больше ничего, трусости моей не слышали.

Но разве можно кричать такой большой девочке? Да еще на чужом дворе.



Вот опять на белом крыльчке овеяло меня острым запахом чужбины, разлуки. Защекотало в носу, слезы сами полились из глаз. Я не хотела. Они сами. Я тут и села на скобленную ступеньку, уткнувшись в свой портфель, который когда-то был маминым. От него еще слабо пахло чем-то родным: духами не духами, мамой моей пахло. Слезы заливали рыжий портфель, делали его черным.

«Ко-о-ко-ко!» — пропела курица у моих ног. Я подняла голову. Куры собрались к крыльцу, оторвавшись от своих дел.

«Ко-о-ко-ко? — вопросительно выпевали они. — Вышла на крыльцо, а нас не кормишь? Ко-о-ко-ко?»

Склоняя голову то на один, то на другой бок, они рассматривали меня. Четкий блестящий зрачок, оранжевый кружок радужки — бессмысленный, глупый куриный глаз.

Сегодня все только и делают, что рассматривают меня. Начиная с тети Ени. Недоброй. Не нравлюсь я ей. Все намекает, что я начальника дочь, что я особенная. Начальник... Посмотрела бы она. Я представила нашу длинную комнату, папу и маму, трущих кар-

тошку для хлеба. Надо стереть на терке ведро картошки, чтобы бабушка могла напечь хлеба. Папа садится за стол. Перед ним миска, в которую он трет картошку, а прямо за миской он устраивает пюпитр — на нем книга или газета, чтоб читать, не отрываясь от дела. Папа увлекается и иной раз ширкнет по терке косточками пальцев, стирая их в кровь. Мама следит за ним и когда видит, что в папиной руке маленький огрызок картошки, испуганно вскрикивает: «Сережа!» Иной раз терка у папы срывается, плюхается в миску, в картофельное месиво, и он чертыхается беззвучно, себе под нос, снова устанавливая терку. Но от чтения не отказывается. А бабушка очень сердится.

«Смотреть, — говорит, — на тебя не могу. Пытку себе настоящую устраиваешь. Сделал бы быстрее, да читал».

«Но это же бессмысленно, Клавдия Петровна, бессмысленна эта терка! Я не могу так! У меня мозги вянут!» — объясняет папа.

Натертую картошку бабуса моя кладет в мешок — и под гнет, чтоб стекла лишняя влага. А отжимки утром замешивает с вареной толченой картошкой и заквашивает закваской от прежней стряпни. Каким-то образом у нее из всего этого подходит тесто, мама говорит — это просто чудеса. И из него она печет круглые булки, шлепая тесто большой ложкой на железный лист. Булки на вид словно настоящие, из муки, поджаристые, но внутри сероватые и мокроватые. Хлеб в совхозе получали по карточкам, но его было так мало, что без этих булок не проживешь.

А теперь, когда меня пришлось отправить в Пеньки, одну из двух рабочих карточек на хлеб отоварили сразу на неделю вперед, чтоб дать мне с собой целый кирпичик хлеба. Они остались лишь с одной рабочей карточкой — значит, еще больше надо тереть картошки. И я залилась слезами еще горше — такой виноватой перед всеми ними почувствовала я себя.

Они мне и масла целый фунт дали, и ведро картошки, и молока три литра в большой бутылки-четверти, а мне здесь так плохо... Так плохо.

Я сейчас поняла ясно-ясно, что все лишения, на которые пошли ради меня в семье, зряшные, вовсе напрасные, раз я не могу здесь ничего с собой поделывать, раз я такая беспомощная и трусливая. И вот ради меня, такой плохой, бабуса вязала носки, портя свои глаза, чинила чиненные-перечиненные чулки, мама отдала мне на

платье кусок материи, который берегла себе на юбку. И мне сшили — опять же бабушка шила! — синее платье для школы. А я, а мне...

Тут загремела калитка, и вошли Лена с Энгельсом.

— Даша, ты что? — тревожно спросила меня Лена и, отобрав у меня портфель, заглянула в лицо. — Тебя мальчишки, что ли, обидели? Мы с Энгелькой видели тут двоих. Не они? Ты скажи! Ну скажи, Даша! — Лена села рядом со мной, обняла, прижала к себе.

Ну как ей все объяснишь? И про Мелентия Фомича с недреманным оком. И про Лешку. И про папу над теркой. И про новое платье. И про бабушкины глаза. И что бензином здесь пахнет... И тетя Еня меня не любит!.. А что она, Лена, добрая, но лучше б она меня не жалела, потому что не остановиться мне теперь! Слезы текли ручьем, я уже не могла продохнуть носом, захлебывалась, и только и сумела сказать Лене самое понятное и простое:

— До-мой хо-чу! До-мой!

— Во-он оно что-о! — протянула Лена. А потом заговорила торопясь, быстро-быстро: — Ну, это пройдет! Я тоже плакала: в пятом классе. Правда-правда! Вот Энгельке было хорошо, он уж со мной поехал. Но тебе-то и совсем хорошо! Ты же с нами!.. Ну, пойдем умываться, обедать будем! А ну пошли!

И откуда только берутся эти слезы? Лена обтирала мое лицо платком, но оно тут же снова намокало. Будто в глазах моих открылся источник. А услужливая память все подставляла мне новые картины и сравнения.

Здесь умывальник в закутке за печкой над белым эмалированным тазом, а дома таз под умывальником — медный. Плачу. Дома нет такой большой русской печи, а здесь она пол-избы занимает. Плачу. Дома из окон видно на три разных стороны, и видно далеко, широкие окна высоко — второй этаж. И тополя вокруг шумят. А здесь три низких окошечка упираются в три тонких березы, и видно лишь дорогу, малый ее кусочек, да дом напротив, а из бокового окна — только двор да поветь: крыша из соломы, бревенчатая стенка. Двор без травы. Земля убитая, утоптанная, чисто выметенная, кое-где щепочки по ней мелкие, сенинки-соломинки. Плачу. Полотенцем вытираю лицо, чувствую так остро, будто это моя собственная кожа, как изнашиваются, истончаются волокна полотенежной ткани, оттого что я тру свое лицо и руки. Изорвется полотенце — где возьмет новое моя мама? Плачу.

Села к столу: клеенка голубая, в клеточку синюю, а в каждой клеточке белый цветочек; а у нас клеенка желтая в коричневый узор — запутанные, кудрявые цветы и линии. Пала головой на чужую клеенку — плачу, плачу!

Лена не знает, что и делать. Энгельке все равно: сидит, книжку читает. Лена — вижу, как сквозь мокрое стекло, все размыто — ставит на стол горшок с супом. Тети Ени дома, видно, нет.

— Ну, хватит, может? — растерянно спрашивает Лена. — Попробуй есть — может, пройдет.

Я беру круглую деревянную ложку и ем. Горячо, а вкуса не чувствую. Но ем. Потому что горячо. И мне хочется ощущать горячее еще и еще. И вспухшим губам хорошо, и раздутому носу от горячего пара хорошо. Я съела все, и Лена пошла в чулан относить тарелки. Наверное, она там замешкалась — не знаю, надолго ли. Только я вздрогнула, когда рядом со мной раздался громкий голос Энгельки:

— Лена! Она спит!

Меня куда-то повели и куда-то уложили. Я не могла размежить век. Проснулась в теплоте и темноте. В уюте... В незнакомых запахах. Они-то и дали мне знать, что все-таки я не дома. Сразу все вспомнила. И притихла. И теплота и темнота больше не означали уют. Стала, как разведчик, слушать голоса.

ВЕЧЕРНИЕ РАЗГОВОРЫ

— Ну! Сидит, молчит, не вскрикнет, не пискнет, а слезы так и льются. Вот так просто текут, через край переливаются! Мне аж страшно стало!

А-а, это Лена рассказывает тете Ене, как я плакала. Ну и пусть. Пусть. Все равно тетя Еня меня не любит.

— Видишь, как оно, на чужой-то стороне. Ей теперь у нас все постылым оборачивается. Что ни взвидит — все не то, все не как у мамы. Так ведь, Энгельс, а?

— А, не знаю! Плакса, да и все!

Тетя Еня посмеялась немного. Добрым таким смехом, легкими звуками и неторопливыми, как ее походка.

— Ну да! Ты ведь у нас мужчина, рыцарь. Слезы не обронишь. А она девочка. Нежная. Мамина-папина.

— Да нет, тетя Ень! (Это опять Ленин голос.) Она у них дома все делает. Ее не балуют. Я знаю.

— Так ведь и я не про баловство! Горя она еще не хлебнула. Вот, слышала я, Антиповой Ольги дочка нынче в школу пошла. Знаешь, может, Лена? Из Камышлов они.

— Не! Не знаю. А что?

Я же в своем секретном углу так и замерла: про Тоню знает тетя Еня!

— Сколько ей сейчас? Война началась — она, видать, как раз четвертый кончила. А и пошла поздней своих одноклассников зимы на две. А уж и война третий год. Стало быть, ей нынче семнадцатый идет. Ну, каково ей за партой вот с эдакими? Да и это, поди, для нее не горе — спасибо, учиться-то снова пошла!

Голос помедлил. Тетя Еня, видно, ждала, чтобы Лена спросила, отчего да почему дочка Ольги Антиповой не училась три года. И я ждала.

Но Лена, наверное, понимала, что уж начала свой рассказ тетя Еня и сама все скажет. И правда, тетя Еня снова заговорила:

— Так вот, Еленочка. На старших в доме детей, ежели беда какая, все и приходится, коль старого человека нет на подмогу. А у Ольги никого. Сама да мужик. Да детки гужом шли. Антонина — старшая. Тоне в школу бы идти, а с малыми кому быть? Брату два годика, сестра и вовсе в зыбке, а матери надо в поле. За трудоднями.

— А ясли? — спросила Лена.

— Ясли... Это у вас в совхозе ясли, приезжих полно. А Камышлы что? Колхоз, все здешние, от корня, — у всех, почитай, бабки, — там, может, и была одна изба антиповская вовсе без стариков. Для одних, что ли, ясли будут держать? Вот и сидела Антонина в няньках, пока малая на ножки не стала. Там уж можно и к соседям отводить, пока в школу сбегает. Ну и наладились. Старший братик подрастал на смену Тоне. Правда, за те годы еще двое народилось у Ольги. Однако справлялись. А тут война. Отец на фронт ушел. И Тоне пришлось работать. Как уж они сейчас Тоню отпустили, и не придумаю. Ольга совсем плохая стала. Видела ее на днях в сельсовете: щеки аж втянуло, почернела, как головешка; спина, говорит, замучила.

— А Тоня здоровая, — сказала Лена.

— Молодая. Да в работе смала. Молодым работа не во вред, только на пользу. Но а как со школой — это, конечно... Ведь Тоня давно

в избе за хозяйку. Матери только б работу тянуть. Она — на ферме. А вся управа — печь поутру, корова, постирушки — это все на Тоне... Так-то вот, — закончила тетя Еня назидательно и, как мне показалось, с упреком.

Я так поняла: что, мол, вам, живете на всем готовеньком, а люди вот как... А может, это не тетя Еня так хотела сказать, а самой мне было стыдно за то, что у меня дома и бабушка, и даже папа вскоре вернулся с фронта, получив рану, после которой уже нельзя воевать. За то, что мне не приходится, как Тоне, тащить весь дом на себе, и я вовремя пошла в школу, и сейчас мне лет столько, сколько и должно быть пятикласснице, и никогда мне не будут кричать: «Тетенька, почем молоко?»

Я так остро почувствовала себя Тоней в эту минуту — почувствовала свое (ее) громоздкое в тесной парте, полное, взрослое тело, эту всю дурацкую суетню мальчишек и девчонок вокруг себя (нее), брошенных где-то дома беспомощных братишек и сестреноч, которые, может, упали с лавки или с крыльца или есть хотят, свою (ее) больную маму, у которой сил ровно столько, чтоб делать свою работу на ферме, — и спина у нее болит, а ведь нужно все носить своими руками: и воду, и корм, и чистить станки, и доить... Так все это стало мне внятно ощутимо — телом, кожей, памятью, руками, праздно сложенными на парте, далекими от них, от дома, — что я окаменела, будто сердце во мне остановилось...

Вот что с Тоней, поняла я, увидев перед собой ее глаза, пристально всматривающиеся во что-то, что не здесь, не рядом и вокруг нее. И поняла вдруг, какая она одинокая среди нас, такая же, как и я, только по-другому, только еще хуже. И стыдно стало мне за свое малодушие...

В темноте за печкой, в чужих запахах и голосах опять пришла на помощь мне Тоня Антипова. Надолго ли?

Я подумала, что, наверное, Энгельке надо ложиться спать, а я тут валяюсь, и выбралась из закутка. Смущалась я: ну, думала, сейчас станут все на меня смотреть: «Даша проснулась!.. А вот и Даша к нам идет!» Еще снова расплачусь. Но тетя Еня, сидящая за прялкой, коротко глянула:

— Давай-ка, Даша, выпей чайку, пока самовар не остыл.

Лена тут же стала наливать мне чашку, и чашка задрезжала о блюдечко под напором струи.

Энгельс по-прежнему читал, подвинув книжку к лампе, так, чтоб самый яркий круг света падал на страницы. Лампочка была не сильная, семилинейная. У нас дома — десятилинейка. Тени, густые и огромные, лежали по комнате — на стенах, на полу. Листья фикуса, развесистого, словно дерево, — он стоял в большой кадучке прямо под божницей в углу — таинственно слабо поблескивали кое-где, а тень его, узорная, лапчатая, покрывала весь пол, падала и на бабушкину кровать, и на стену за нею, взбиралась на потолок. Эта тень словно держала в горсти всю комнату, предметы в ней, людей, сближала их, соединяла. Сейчас комната показалась мне уже не такой чужой и враждебной. А веретено в руке тети Ени издавало тихий трепещущий звук — ф-рр-р-р! — похожий на звук, с которым стрекоза пронесется близко от вашего уха.

Я села к столу. Чай пили с молоком. Сладкого не было, как говорится, ни пылинки. Хорошо бы хоть хлеба досыта. Вот этого хлеба из совхозной пекарни — тяжелого, мокроватого, колючего от мякинных остей, как небритая папина щека. Но было заранее рассчитано, что буханочки хлеба хватит мне на шесть дней, если я буду съедать по кусочку к завтраку, обеду и ужину. И я вспомнила: ведь сегодня в обед я хлеба не отрезала! «Вот молодец, — сказала я себе, — можно съесть сразу два куска. Надо будет еще так делать: обедать без хлеба, тогда на ужин останется два куска». Это было приятное открытие. Хоть что-то хорошее за весь этот первый день. И я вздохнула.

— Хватит тебе вздыхать, как старушке, — ласково сказала тетя Еня. — Видишь, как у нас ладно. Народу-то сколько. А то сидим мы вдвоем с бабушкой, как кукушки, да кукуем. А теперь — вон оно, целое общество (тетя Еня сказала «опчество»).

И сразу, отметив про себя «опчество», я вспомнила «толы», услышала недобрый голос: «У-у большетолая! Припухли толы-те».

— Тетя Еня, а что такое «толы»? — Я спросила сразу, выпалила, не задумываясь, что, может, это что неприличное. Как вспомнила, так и спросила. И, уже отговорив, начала краснеть, почувствовала, как наливается горячим лицо.

— Ха! Толы — это по-здешнему глаза! — радостно заорал Энгельс. — Зенки, гляделки!

Тетя Еня даже со словами собраться не успела, как он влез, первый раз за вечер рот раскрыл. Обрадовался, что знает про здешнее.

И тетя Еня подтвердила:

— Ну да. Глаза так у нас называют — толы. Но это все же по-грубому. Грубо так-то. Нехорошо.

«Ах, нет, тетя Еня! Это хорошо, хорошо! Это в тысячу раз лучше, чем я думала!»

Почему лучше и даже в тысячу раз, я не могла бы сказать. Просто снова увидела я себя, деревянно переставляющую ноги к спасительной калитке под злым пристальным взглядом Лешки, услышала мстительное: «У-у, большеतोлая!» Но теперь вместе с этим видением, перечеркивая его, взвилось во мне ликование: «Неправда это все!» Словно свет вспыхнул, словно радостная волна накатила и тут же отхлынула. Мне будто дали понять, что одержана победа. И только мне дали это понять.

В чем победа и почему, я не доискивалась. Но было, было: я прошла сегодня мимо Лешки и Карпэя в страхе, в ожидании оскорблений, прошла как пленница, не догадываясь, что это он, Лешка, терпит поражение. И он думал, что уничтожает меня, и не знал, что мимо прошел победитель.

А тихая лампа все так же кротко светила на голубоватую клеенку, на Энгелькину книгу, ее желтоватые страницы, и продолжало свое летнее «фр-р-р!» веретено, и теплая лапчатая тень фикуса держала нас всех вместе, всех разом в этой комнате. Радость моя, как мышка, показалась и скрылась до поры. Но после нее стало мне лучше. И только когда устраивались спать и принесли из сеней мой матрац из тика в широкую синюю полосу, набитый скользящей золотой соломой (вчера с папой набивали), когда я положила его на пол, под фикус, и, застелив простынкой, улеглась сама, опять сжала мне сердце боль. На полу чувствовала я себя как в глубокой яме, как Жилин¹ в плену у кавказцев, — заброшенной и одинокой. И опять стало терзать меня ощущение вреда, который я приношу своей семье. Вот лежит на полу матрац. Такой чистый, выстиранный и отглаженный мамой, его чехол трется о пол, хоть и подостлала мне тетя Еня чистый половичок: острые соломины впиваются в волокна ткани, разрывают их, я на нем лежу, ворочаюсь, изнашиваю его, и простыни, и одеяло... Опять слезы подступили к глазам, я старалась лежать неподвижно и долго из-за этого не могла уснуть.

¹ Ж и л и н — герой рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник».

ДОРОГА ДОМОЙ

Эх, дорога, дорога! По полям, по лесам, через ложбины и овраги! Небо над головой да земля под ногами, а впереди — дом! Родной твой дом, где не только мама и бабушка, братик и папа, каждая курица на улице — родня; каждая щепка на дворе, и трава; и тропки, и дорожки, и поросенок в луже, и самый вид улицы, домов и встречающих людей, и лес вдали за полем, видный от моего дома, и тополя, тополя мои — все мое, родное, доброе и безопасное...

Но все это еще впереди, мне еще предстоит заработать эту радость, прошагав десять километров, отделяющих меня от дома. И только когда эти километры останутся за спиной — работа моих ног, плеч и рук, моего сердца, спешащего больше, чем ноги, моих легких, вдыхающих прохладный сентябрьский воздух, чтоб билось сердце и шагали ноги, — тогда только эта работа превратится в радость возвращения домой. Если б было можно, если б был у нас самолет, машина, а еще лучше, если б, как в сказке: закрой глаза и открой глаза — и ты уже среди своих, — о, если б можно было так! Чтобы все время, отпущенное на десять километров, проглотить залпом! Одним глотком!

Но нам предстояло выпить всю дорогу маленькими глотками шагов. Время растворяло нетерпение. Как бы мы ни бежали, выйдя в субботу за околицу Пеньков, простор без края и конца, прятавший в себе и большой лес и маленький, два оврага и два поля — все, что предстояло нам пройти, — простор, наполненный голубым воздухом, чуть влажным, упругим, пахнущим горьковато палым листом и дымом, гасил наш бег и нетерпение, и мы — крохотные букашки под неоглядным небом, среди медленно поднимающихся и плавно нисходящих увалов, то серовато-золотистых (жнивье), то вспаханных влажно-черных или коричневатых, кое-где как ржавчиной-медянкой тронутых пятнами всходящей озими, — мы увязали в этом неторопливом мире и перенимали его ритм — ритм плывущих по небу облаков или бурьяна, колеблемого ветром. Но ведь и медленные облака и чернобыльник, или полынь, покачивающиеся на неподвижном стебле, достигали каждый своей какой-то цели, известной им самим и больше никому. Достигали, конечно, иначе не плыли бы облака, не качалась бы бурьян-трава на обочине дороги. И наш шаг скоро становился размеренно-неторопливым. Мы уже не спорили с про-

странством, с дорогой, мы подчинялись им, и дорога несла нас, как река несет щепку: попробуйте угнаться за плывущей щепкой; вы можете ее перегнать, но скоро выбьетесь из сил, а она как ни в чем не бывало обгонит вас, неустанно и без спешки продолжая свой путь, путь реки.

И все нетерпение, с которым мы, уходя из Пеньков, ждали встречи с домом, по мере пути расходовалось на дорогу и тем самым причисляло саму ее к дому, превращало в одну из примет дома. В длинную, постепенно разматывающуюся примету.

Вера, Шура, Энгельс, Лена, Степка Садов и я... Котомки за плечами, у кого-то и в руке по узелку. Свободные, как птицы, только вот жаль — без крыльев.

— Мы такие страусы, — говорит Энгелька и начинает выкидывать длинными тонкими ногами и вытаращивать свои и без того большие выпуклые черные глаза.

— Ты не страус, а жираф, — назидательно поправляет его Шура с такой серьезностью, будто он и вправду нечаянно ошибся, не тем словом назвался, а на самом-то деле он и есть жираф.

Мне стало так смешно, что я прямо закатилась от смеха, даже присела. И все стали смеяться уже надо мной.

Но ребята шага не остановили. И я догоняла их. В душе поудивлялась над собой: как я могу сейчас смеяться? Ведь я больше всех хочу домой, я точно это знаю, просто потому, что невозможно хотеть больше, чем я, — и вот смеюсь, да еще и остановилась! А они идут... Мы идем. Я иду.

— Ты идешь? — толкаю я плечом Шурку. Она смотрит на меня, как на дурочку. Но я не даю ей слова сказать. — Она идет? — показываю глазами на Веру. — Он идет? — киваю на Энгельку.

— Ты чё, сдурела? — орет наконец Шурка.

Вера, улыбаясь, как всегда, таинственно оглядывается на нас.

Только Лена хохочет, она поняла меня.

— Это она спряжение повторяет! Глаголы!

— Эх, Шурочка-каурочка, пристежечка моя! — стала я приговаривать в такт шагам, подражая частушкам. — Ходили мы, гуляли мы в далекие края!

И Шура не рассердилась на «каурочку» и «пристежечку», потому что я напомнила ей, как мы давным-давно, до войны, когда были еще маленькие — я после второго класса, а Шура после третьего, —

тайком ушли из дома, «в экспедицию», как мы говорили, за полезными ископаемыми. Решили уйти далеко, а дошли вот до этих самых Пеньков. Пришли мы туда просто потому, что не знали, в какую сторону податься, а в Пеньках жила Шуркина бабушка. Как идти, Шура и сама не знала, только помнила, в какой стороне. Дорога сама нас привела.

— Вот и Куриный овраг. Видишь? — спросила Шура.

— Ага, он, Куриный!

— Почему Куриный? Название, что ли? — спросил Энгелька.

— Это мы сами его так называли. Вот погоди, его пройдем, покажем тебе другой, тогда поймешь, почему этот Куриный.

— Маленький он, вот и куриный, — догадался Энгельс.

— Ага! Мы тогда тот, большой, миновали, дошли до этого, — ну, говорим, этот и курица вброд перейдет! Вот и называли — Куриный!

— Погодите, весна настанет, — пообещала Лена. — Начнется половодье, он вам покажет «куриный». Верхом на лошади не проберешься.

Мы примолкли, внимательней присматриваясь к месту. Совсем мелкая ложбинка этот Куриный. Словно великан приложил здесь палец к земле и слегка прижал. Осталась длинная вмятина от пальца. И поля перекосило этим великанским следом, наклонило к ложбинке с обеих ее сторон. Я оглянулась назад: поле от Пеньков до Куриного плавно круглилось, словно поверхность глобуса. Так что весной добрая половина снегов со всего поля водой стекала сюда. А было отсюда до Пеньков километра четыре. Да и с той стороны, от близкого уже леса сюда шел уклон, сюда должны были сбегать снеговые ручьи.

— Вот тебе и Куриный! — съязвил Энгелька, перехватив мой взгляд.

— А вот и Куриный! Что, слоновий он тебе, что ли, или коровий?

Чувствовала я, что не то говорю. Не то ведь было главное, как мы называли овражек. Главное то, что имя само по себе родилось, не искали мы его. А есть имя — есть память. Так ведь? Вот будешь ты, Энгелька, рассказывать нам: «Дошел я тогда до оврага... Ну того, который на том последнем поле перед Пеньками». Вот сколько надо сказать. А только скажешь: «Дошел я до Куриного», и все ясно. И все видно: и где поле, и какой вид во все стороны — вон лес впереди, а налево от него, за глубоким оврагом, на холме, березки

растут: одна большенькая, прямая, а другая поменьше и покривей. Вот что сразу увидишь при одном только слове. А Шура еще, конечно, вспомнит тот жаркий довоенный июньский день, и какая была зелень, и какое небо, и какой настоящий хлеб несли мы с собой в узелках, когда она услышит это название «Куриный овраг». Потому что как раз в тот день безымянный овраг получил от нас свое имя.

Но я, чувствуя это все, не понимала, в чем же несправедливость Энгелькиной насмешки, и только сердилась и говорила не то.

— Вот что,— сказала Шура,— Куриный перешли — значит, считай, скоро полдороги останется до дому!

И этим успокоила всех. «Куриный» — хорошая примета. Я молча показала Энгельке язык, а он побежал за мной, крича:

— Кто дразнится, тому достанется!

Девчонки смеялись над нами. Они не побежали вдогонку, но мы скоро запыхались, и они, не убыстряя шага, догнали нас.

Подползая к лесу, дорога пробиралась по самому краю того глубокого оврага, о котором мы говорили. Овраг, хоть глубокий, не рос, землю не разрушал — склоны его сплошь были травяные, дернистые. И кустарника в нем не было, и дно совсем ровное, как поле, как лужайка. Станный такой овраг. Не подчиненный законам географии, по которым каждый овраг, если не порос деревьями или кустами, должен разрушаться, расти, оползать под действием текущих вод. Летом овраг был ровно зелен, а теперь он изжелта-серо-бурый (только что не малиновый) с зелеными подпалинами в глубине, у корней трав. Густая, короткая, как щетка, трава. Овраг раза два выкашивают за лето.

— Глубокий,— с одобрением сказал Энгелька, глянув вдоль оврага.— Вот и назовем его так, ладно, Дашка? — Энгелька ко мне подлизывался.

— А чего его называть? И так уже зовут. Глубокий да глубокий! Какой же еще? — сварливым голосом сказала Шура, а мне стало Энгельса жалко.

— Ну, пусть уж! Все зовут просто так, а мы будем знать, что это его имя. Чтоб писать с большой буквы.

— Ага, Ленка? — попросил Энгелька разрешения у старшей сестры.

— Что и говорить! Все овраги окрестили! — согласилась милостиво Лена.

А уже и лес надвигался на нас: шуршащий, пахнувший сладко влажной древесиной — осиновой и еловой, грибами, тлеющим на земле листом. Палый лист, превращаясь в лесную землю, выпускал дух — чистый, слабо горчащий, так слабо, чуть-чуть, что хотелось вдыхать воздух глубоко-глубоко, чтоб, наконец, явственнее — языком, нёбом — уловить эту горечь, понять, наконец, какая же она сладкая. Но вдох кончался, а ты оставалась ненасытной. И снова вдох — прохладный, дразнящий нёбо.

В поле было сухо, а в лесу оказалось сыро. Поэтому мы пошли опушкой, а не через лес, где путь чуть короче, прямее. Но и вдоль опушки идти трудней, чем в поле: глубокие, кочкастые колеи, а у самых деревьев кочки травяные — тоже, наверное, когда-то изъездили, изранили землю тележные кованые колеса. Травой-то затянуло, а шрамы остались. Неловко идти. Ноги подвертываются. А идти, как на грех, хочется быстрее: темновато стало в тени леса. Солнце за его макушки перевалило, сумеречнее здесь, будто туча нашла, будто вечер нас подстерег.

Замолчали все, ковыляем, с кочки на кочку поскакиваем, только сумки наши подпрыгивают.

Но вот ветерком в лицо потянуло свежим, полевым — земляным. И вдруг лес оборвался, отстал от нас! И направо, как и слева, открылась даль. Кромка леса резко вправо взяла, наша дорога отделилась от нее и — наискось, через поле. Впереди, пересекая дорогу, еще виднелись деревья, ставшие в линеечку, но мы знали — это уже последняя мета: за ней откроются нам совхозные первые постройки: ферма, силосная башня — справа, слева — дома. И первый двор — Вазыха Ибрагимова, с которым я училась до пятого класса. Дальше учиться он не стал, потому что пошел работать — помогать на тракторе своему брату: то прицепщиком, то на сеялке.

За теми деревьями, которые сейчас видны — они на меже, — начинается совхозная земля, своя, известная. Оттуда уже без поворотов бросится дорога напрямик к дому Вазыха, а по бокам, на почтительном отдалении от нее, будут спешить узенькие перелески. Летом, да и сейчас еще, пока листва в силе, подумаешь, что это леса. А зимой уже не подумаешь: за стволами и голыми ветками — совсем близко — сквозит пустота следующего поля.

Так бежала впереди нас наша память, прокладывая дорогу ногам.

ДОМА И ПЕНЬКИ НИПОЧЕМ

Последние десятки метров — по совхозной улице, мимо нашей школы, мимо конторы, к дому — мы с Шуркой бежали так, что в самом деле не чувствовали земли под ногами. Будто одним сильным порывом бури несло нас к высокому, двухэтажному, большеоконному дому, окруженному важными тополями. Они простерли свои могучие ветви над домом, над дорогой и тропками, со всех сторон спешащими к нему. А теперь они тянулись к нам так же напряженно и страстно, как рвались навстречу им наши сердца.

Как только не сдвинулись с места эти деревья? Как не выскочило вон мое сердце? Вихрь по лестнице вверх! Рву дверь в темных сенях. Ничего не вижу в нашей темной, безоконной кухне. Но вот свет возник. Бабушка открывает дверь из комнаты. Я обхватываю ее обеими руками, зарываюсь лицом в нее и только чувствую родной запах, только слышу, как где-то между мною и ею колотится мое не выскочившее все-таки сердце: «Дома! Дома! Дома!!!» Я не помню, не знаю и знать не хочу, что только день быть мне здесь, только два вечера и две ночи. В это мгновение я дома. И навсегда. Я пришла, и все тут. Я вернулась к себе. Главное счастье даже не в том было, что здесь все родное, все насквозь знакомое, обжитое и свое: что хочешь бери, не думая, можно ли; что хочешь делай; беги куда вздумается, не опасаясь — вдруг встретишь недруга, злобу.

Главное счастье было в том, что здесь не надо было думать, что о тебе другие думают. Я здесь для всех и каждого — дома или на улице — была точно такой же, как и сама для себя. Даже и не догадывалась, что могло быть иначе, пока не попала в Пеньки, в школу и в дом к тете Ене. Это там дали мне почувствовать, что меня видят и понимают совсем не так, как надо, как есть на самом деле. И тетя Еня, и еще этот Лешка — «глядельщик»... Неизвестно, что он думает, известно только, что не так.

Сейчас, обнимая бабушку, скидывая пальто, приплясывая, подпрыгивая, вертясь по комнатам и кривляясь, хохоча и издавая радостные вопли, я понимала, ощущала, как слой за слоем сбрасывала с себя защитную броню. Будто были на мне тулуп, полушубок, ватные брюки, валенки выше колен, шаль, перехлестнутая крест-накрест через грудь и завязанная на спине, — наряд, в котором не шевельнешься, не согнешься.

И только сейчас, оставшись в одном тонком гибком платице, в теплой безопасной комнате, поняла я, какую броню таскала на себе в Пеньках, — и днем и ночью, изо дня в день!

Бабушка села на свою кровать и смотрела, как я беснуюсь, покачивая головой и улыбаясь, — я хоть и бесилась и вопила, но видела, что, несмотря на улыбку, лицо ее было грустным, а не веселым. Тогда я забралась к ней на кровать, прижалась к худенькому ее плечу щекой.

— Наскучалась? — спросила она.

— Ага!

— А мне без тебя плохо. То то надо, то другое — послать бы Дашеньку, ан нет ее. Теперь уж мама старается все с утра сделать. Или в обед — бегом-бегом.

— А Манька как? — спросила я о корове.

— За Манькой сама хожу, встречаю, когда мама занята.

— Сегодня я пойду, ладно?

— А не устала?

— Я-то? Да ты что! Я сейчас сто дел могу сделать!

— Ух ты! Расхорохорилась наша Дарья, что твоя Марья! Давай сначала поешь. Вчера муки получили, чисто пшеничной, целых два кило. Я завариху сделала. На молоке, в честь твоего приезда.

— Ой, бабуся! Вот здорово!

Чистую муку обычно берегли для подмеси в картофельное тесто, а тут завариха из муки, да еще на молоке!

Я старалась сначала только лизать ложку, обмакивая ее в сметанообразную массу, чтоб растянуть удовольствие, но скоро не выдержала, — уж лучше как следует почувствовать сладкий ее вкус. Наверное, потому, что уже давно, целую вечность — с тех пор как началась война, сахар стал редкостью для нас — язык научился отмечать и самую маленькую малость сладкого. Завариха — пшеничная мука, заваренная в молоке, — казалась сладковатой, а сливочный привкус молока — сдобный, тающе-неуловимый, сытный — дразнил и радовал; кремообразную нежную массу хотелось и подольше задержать во рту, на языке, и в то же время жадно глотать — глотать ее так легко! — чтоб насытиться.

— Удивляюсь, — сказала я бабушке, — зачем до войны, когда муки было сколько хочешь — ведь да? (Бабушка кивнула, соглашаясь.) — зачем тогда ты варила какие-то супы да котлеты еще делала. Надо было варить одну завариху! Вот кончится война, буду есть только

завариху! Из пшеничной муки на молоке! Целую кастрюлю — на завтрак, обед и ужин! И пусть всегда стоит кастрюля с теплой заварихой на плите; захотела — подбежала с ложкой: хватать-хватать! Здорово! Да ведь, бабуся?

Бабушка смеялась, будто она про меня что-то другое думала, чего еще я не знаю.

— Ой, посмотрю я на тебя после войны, как ты будешь одну завариху есть!

— И буду! Ты, наверное, думаешь, я про булочки, про пирожное забыла, да? Ничего я не забыла, а просто они в сравнении вот с такой заварешечкой — нца-нца! — никуда не годятся! Вот!

Я выскребла тарелку дочиста. Я бы съела еще три раза по столько да еще и четверть столько, но не просила добавки. Бабушка и сама знает, что я еще хочу; было б можно, сама бы налила, не спрашивая. Раз не дает, значит, больше нельзя.

— Спасибо, бабусь! Лучше торта!

И почему это так стало теперь? Только от обеда, а есть хочется почти так же, во всяком случае еще раз пообедать можно. То есть, если уж правду сказать, в любое время дня можно бы пообедать.

Особенно хочется есть сразу как поешь. Немного времени пройдет — и лучше. Знаешь это, а все равно свой живот не уговоришь: ему бы, животу, еще тарелочку... У-уу, жадина! Наверное, знает про это бабуся. Она ставит передо мной чашку с молоком и кладет свою знаменитую картофельную булочку. На вид она совсем настоящая, румяная, а внутри серовато-синеватая. Все равно вкусная, особенно с молоком.

Настоящий пир!

— Я сегодня все испекла, — говорит бабушка, — чтоб папа с мамой вечером свободны были от терки.

А я смотрю на нее — на темные ее глаза, седые пряди в темных волосах, гладко зачесанных надо лбом, чуть запавшие смуглые щеки, такие нежные, если их погладить, — и думаю, что лучше, чем моя, нет на свете бабушки.

Я хватаю ее руку — узловатые, но все равно тонкие пальцы, голубые пухлые вены худощавых запястий — и прижимаюсь к ним лицом.

«Если бы не мама, мы бы, наверное, теперь и жить не смогли» — так говорит о бабушке моя мама.

Уж что касается меня, так это точно: с кем бы я дружила? Ведь маму я почти не видела, даже когда дома жила, а не в Пеньках. Всюду и везде с бабушкой. И по хозяйству — бабушка мой главный командир и учитель; и в лес — бабушкино тихое восхищение всем вокруг, ее внимание к каждому цветку и козявке и меня настраивало. Так самая ранняя пичуга настраивает на песню птичий хор. Это тоже мне бабушка объяснила: какая птица раньше встает, та и песню начинает, а остальные подхватывают, спросонья им кажется, что песню они сами придумали. Так говорила мне бабушка, когда рано будила.

Рассказать бы ей сейчас, вот прямо в ее руки, не подымая головы, не открывая глаз, про все, что свалилось на меня в Пеньках, про Лешку-«глядельщика», про страх перед ним, про недреманное око Мелентия Фомича, про тетю Еню и Тоню Антипову. Но я почему-то не могла. То есть я могла, и я рассказывала, что есть у нас учитель, у которого глаза смотрят в разные стороны; есть совсем взрослая девушка в классе; мальчишки ужасно бешеные, носятся как угорелые кошки. Все, что я рассказывала, было так и не так. Совсем-совсем не так! Но по мере того как я говорила, то, что «не так» — мои собственные страхи, мое горе — куда-то отступало, уходило. Я уже не помнила о нем! Будто его и не существовало. Все было так и только так! И было весело!

— А ребят-то много? — спрашивала бабушка.

— Да! Только, знаешь, почти у всех мальчишек, кроме троих, одинаковые фамилии, четверо Домоседовых! И двое из них еще Сашки, Александры! Их только по отчеству и различают. Сначала так было смешно! Учителя еще не знают! Вот и вызывают:

«Домоседов Александр!»

А мы все хором: «Который?»

«Как который? Стало быть, Александр! Домоседов!»

«Их же двое!»

«Действительно, — учитель скажет, — два Александра Домоседова». А Мелентий Фомич еще и спросил:

«Может, и третий есть, сознавайтесь! Так уж сразу знаки различия придумаем!»

Вот и придумали: у всех в журнале фамилия и имя, а у Сашек Домоседовых еще и отчества!

Их теперь так только и зовем: «Николаич» да «Константиныч».

— А знаешь, бабусь, еще один мальчишка — Карпэй, его зовут Костька, — так он Сашку Константиныча величает «Костькин сын».

— Что за фамилия такая «Карпэй»? — бабушка спрашивает. — Не русский, что ли?

Я хохочу:

— Русский! Карпов он! Это у него прозвище такое «Карпэй».

— Ишь как, по-иностранному — «Карпэй». Нет чтоб «Карпей».

— Ну, бабусь, чего ж тут иностранного?

— Как чего? «Пэй»! — говорит бабушка. — По-русски же «пей»!

Мы хохочем, и Костька сейчас кажется мне смешным и добрым, а не таким, как в классе; когда он хватал кого-нибудь из мальчишек своими красными ручищами с черной каймой под ногтями, у меня сердце каждый раз замирало: вдруг покалечит?! Особенно страшно становилось, когда рядом с Карпэем не было Лешки. Лешка имел над ним какую-то странную власть: если Костька очень уж расходился, стоило Лешке крикнуть: «Да фиг с ним!» или просто: «Ну, будя, Карпэй!» — и тут же вся свирепость Карпэева кончалась. Будто его выключали. Правда, без Лешки Карпэй и в буйство не впадал. Он или как-то странно задумывался, или начинал оглядываться с тоской в глазах, будто не знал, что бы ему сделать, за что приняться. Вот тогда мне и становилось страшно: мало ли что придет в эту лохматую голову, а остановить некому.

Так они и ходили все время вместе. Был Карпэй при Лешке вроде дубинки, вроде собственных его кулаков. И тонкий, гибкий, бледнолицый Лешка, казавшийся рядом с Костькой особенно хрупким, вертел этой тяжелой дубинкой как хотел.

Сейчас с бабушкой я словно кино вспоминала, но в то же время с некоторым удивлением я призналась себе, что и в самом деле никому ничего плохого ни Костька, ни Лешка не сделали. Грохоту больше и возни. Тузят-тузят друг друга в свалке, а никто не плачет и не обижается.

А когда мы всем классом пилили и кололи дрова для школы — на зиму готовили, — так Карпэй брал себе самые сучковатые толстые плашки и так лихо, всадив в них колун, кидал через плечо, обрушивая обухом о колоду, что с одного раза рассаживал!

Еще Тоня Антипова здорово колола. Она не через плечо, и как-то вроде бы и неловко, над головой своей замахивала колун и с одного раза не расшибала тюльку, но зато и второй и третий раз

падал ее колун точно в первую насечку — и тюлька разваливалась, не брызнув ни одной щепкой.

Вспомнив про дрова, я сказала бабушке, что в понедельник после уроков у нас снова будет субботник — дрова — только для совхозных ребят, потому что пеньковские и из других деревень сегодня остались после уроков, а нас отпустили — нам ведь дальше всех домой.

— Да как же вы одни-то? У вас ведь одни девчонки? А колоть?

— Подумаешь, колоть! Мы и колоть умеем! Уж кололи. А что не сможем, мальчишки в другой раз расколют. Вот пойдем, пойдем, я тебе покажу, как я могу!

— А ну пойдем! — загорелась и бабушка.

Мы вышли с нею на двор, под темнеющее уже небо, в суховатый шорох тополевых листьев — жалобный, покорный голос осени. Сейчас, в ранние сумерки, особенно явственно ощущаешь: нет возврата к теплу и лету; впереди — слякоть и мокрый холод осени и долгая зима. И листья, даже еще не успевшие пожелтеть, обречены. Срываються и широкими кругами, раскачиваясь, как бы на невидимых нитях, скользят с яруса на ярус — ниже и ниже. Вот лист, гордо трепетавший в вышине над нами, уже на земле. Из голубизны и свежести — в пыль, потом в грязь.

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.

А я не топчу. Мне жалко их сейчас, когда вижу, как они падают. Мы постояли с бабушкой на нашей террасе, глядя на плачущий листьями тополь. На фоне тяжелого от туч, сизого, угрюмого неба желтизна листьев бледная, замученная. И мне захотелось, наперекор этой печали и угрюмству окружающей природы, двигаться резко, шуметь, чтобы доказать и себе, и этому тополю, и этому угрюмому небу, что я живу сама по себе, а им не подчиняюсь.

Я побежала вприпрыжку к сараю, где лежали наши дрова. Дрова были березовые.

— Вот, бабуса, смотри!

Я поставила круглую плашку, прислонив ее к толстому бревну, и, чувствуя себя сильной и ловкой, взметнула над головой легкий топор (жалко, не было у нас колуна) — острое лезвие впилося в белую



плотную древесину не посередке полена, а ближе к краю. Нажав на топорнице, я легко освободила лезвие, благо оно вошло неглубоко, и ударила снова. Удар пришелся почти в старый след, и от полена отскочила косая щепка. Ох уж эти березовые! Я не люблю, что они вот так колются — вкось. Сосна — та, где ее ни ударишь, раскалывается по прямой. Я присмотрелась к своей непокорной плашке, поставила ее так, как меня Тоня учила, чтоб удар пришелся вдоль сучков, а не поперек. Приладилась, прицелилась — и хряпнула прямо по сердцевинке! Топор теперь поглубже засел в полене, но оно не поддалось. Я попробовала поднять топор вместе с поленом на плечо, чтоб с плеча ударить обухом о бревно, так сил не хватило. И тут же я догадалась: если не могу ударить обухом, буду бить по обуху! Другим поленом!

«Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» — приговаривала я про себя, и на третье «вот тебе» распалось мое полено на две равных половинки.

Какая чистая — прямо светится! — древесина на расколе, словно сахарная, только с легкой желтизной!

— Правильно говорят,— сказала бабушка, будто прочитав мои мысли,— березовые дрова что сахарные: и белые, и звонкие.

...Половинки раскололись сразу, косой щепы больше у меня не было. Я еще рассадилась две плашки; лоб у меня покрылся испариной, щеки горели, ладони тоже.

Весело мне стало, жарко! Особенно весело оттого, что придумала, как мне самой, без помощи других, колоть неподдающиеся тюльки: засадить топор — и другим поленом по обуху!

Теперь на субботнике мы сами все расколем!

И еще мне было весело оттого, что бабуся на меня смотрела, а у меня получалось! И наплевать мне было теперь, что небо хмурится, что осень!

— Ну, хватит тебе! — сказала бабушка, когда я прикончила третью плашку. — Ну молодец! Вижу — можешь. Пойдем теперь!

Мы набрали с ней по охапке дров и пошли домой.

От угловатых, жестких поленьев с матовой, как бы меловой березовой корой, источался чистый, свежий, крепкий, казалось мне, имеющий розоватый оттенок, запах. Мне казалось, так пахнет в воздухе после первого снега.

ПО-РУССКИ, ПО-ТАТАРСКИ, ПО-НЕМЕЦКИ

А уже совсем стемнело. Маленькая печка-подтопка в нашей комнате, сложенная так хитро, что дров брала немного, а жару отдавала щедро,— уже прогорела. Бабушка затопила ее еще до моего прихода. И мы с ней и с моим пятилетним братиком Толиком сели перед ее раскрытой дверцей прямо на пол, согретый жаром, пышущим от углей. По их драгоценной зыбкой россыпи перебегали легкие огоньки, голубые и белые, но все реже; и сизая нежная поволока, реющая над грудой жара, то и дело прорываемая вспышками раскаленного добела даже и не огня, а как бы просто света, таящегося в сердцевине груды,— эта поволока все плотнее обволакивала жар, оседая на самых верхних, пока еще отдельных угольках холодноватым налетом пепла. Глаза трудно отвести от огненной красоты. Малиновые, светящиеся, и мрачно темнеющие густой багровой краснотой, и золотые, и сизые, и совсем белые угли лежали неподвижно, но, как в медленно вращающемся калейдоскопе, непрерывно менялся общий

вид огненной груды, и как ни ярились светящиеся белые и голубые, темно-красные и матово-сизые брали верх — в печи смеркалось, тускло, как при заходе солнца. Сама яростная куча углей приседала, уменьшалась. Рассыпались, потрескивая, крупные угли. Было жалко, что зрелище кончалось. Я взяла кочергу и, как в пасть злого зверя, вонзила ее в угли. Брызнули, взвились золотые и белые искры, ожила печь, но и это было не надолго.

— Ну, кончен бал! — сказала бабушка. Взяв из моих рук кочергу, она сгребла все угли в кучку, чуть прикрыла трубу — подвинула заслонку, и велела нам с Толиком закрыть дверцу, чтоб угар не нашел. — Вот совсем побелеют угли, перестанут по ним бегать огоньки, тогда и трубу закроем, — объяснила бабушка.

Но Толик не хотел уходить от печки.

— Пусть огонек смотрит в маленькое окошко, — просил он меня. И я чуть-чуть — узкой щелкой — приоткрыла дверцу.

Брат сидел, доверчиво прижавшись к моему боку головенкой, и я видела сверху сквозь его легкие белые волосики розово просвечивающую кожу, круглую, блестящую, как яблоко, щеку, разогретую печным жаром, маленький носишко и опущенное над щекой темное крылышко длинных ресниц.

«Ах ты мой братик, братец ты мой кролик! — говорила я про себя. — Наверное, тоже без меня скучает. Хоть и ходит в детский сад».

И подумала я со стыдом, что совсем мало играла раньше со своим братиком, почти ведь и не знаю его. О чем он думает? Вот огонь ему нравится. Смотрит пристально на огненную щелку.

— Мы завтра с тобой гулять пойдем, да? — спросила я брата.

— Ты же по-татарски не понимаешь, — сурово ответил он мне, — как ты будешь с нами гулять?

Бабушка засмеялась:

— Что, получила?

— А при чем тут татарский?

Я и в самом деле ничего не понимала. И заглянула братишке в лицо.

На меня смотрели ясные, светлые глазки, смотрели серьезно и немного грустно, будто жалели меня.

— Толичка, но ведь ты говоришь по-русски?

— Я-то говорю, — согласился снисходительно Толя, — да ребята не очень. Мы по-татарски...

— Ну да?! — удивилась я. — Ты прямо так и говоришь?! Ну-ка скажи что-нибудь!

В глазах Толика промелькнуло удивление.

— Ты же не понимаешь, зачем? — спросил он с упреком.

Я уж хотела рассердиться на его упрямство, но бабушка вступилась:

— Еще как говорит-то! Он теперь у меня переводчик: из татарских деревень придут женщины что-нибудь продать-купить, так удивляются: это, говорят, наверное, татар-малай (татарский мальчик)!.. А что особенного! — бабушка мне доказывает. — В детсаду больше татарские ребятишки, во дворе его ровесники тоже все татары. Это тебе не повезло — твои подружки-татарочки все по-русски говорят. А то бы и ты выучилась.

— Действительно! — протянула я. — Эх, Толька, повезло же тебе!

А Толька-то, Толик! Так важно, как взрослый, плечами только пожал.

Я вспомнила, что Толик наш вообще очень здорово приспособился к языку: не раз слышала, как, играя с мальчишками, он говорил точно как они, по-деревенски: «дожжык», «оттеда», «кури-са», «ишо», а дома, ни разу не ошибившись, произносил те же слова правильно: «дождик», «оттуда», «курица», «еще»...

Это, видно, и помогло ему татарский так быстро выучить. И потому я до сих пор и не могла заметить, что он знает татарский.

Теперь я смотрела на маленького своего братика уже не сверху вниз, а как бы наоборот: он умел то, что не умела я. Я только еще начала в школе учить немецкий язык и ничего не научилась говорить, кроме «Анна унд Марта баден» и «Вер ист хойте орднер?» («Кто сегодня дежурный?»).

Еще мы все, конечно, знали слова «Хенде хох!» («Руки вверх!»), но это уже не из уроков, а из газет, где описывались подвиги наших разведчиков. Когда берешь в плен «языка», надо немцам скомандовать: «Хенде хох!»

Вообще многие мальчишки считали, что ничего другого, кроме этих слов, из немецкого знать не следует. Этого вполне достаточно. А я думала, что даже очень бы надо. Ведь как здорово в разведке: сидишь, например, где-нибудь в засаде и слышишь, как немцы говорят. Можно же все сведения узнать! А если в тылу работать у немцев под видом, что ты за них, так вообще цены нет тебе, если ты все понимаешь по-ихнему. Ясное дело, что самой мне разведчицей

такой не быть и не бывать. Потому что, как говорит мама, у меня все на лице написано. А в разведку нужно непроницаемое и суровое лицо. Но вот в засаду — это бы можно...

Да-а, только когда начинаешь учить чужой язык, понимаешь, как много, какое бесконечное количество всяких слов придумано. Это ведь просто ужас! Даже если, например, дорогу объяснить: «Вот пройдите так, потом так, потом направо». Или, например, сказать как Александр Невский: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Даже если слова будешь знать, а как их составить? Всякие времена, спряжение, склонение, ударение...

Будешь говорить, как наш Нурулла Исмагилов в классе. Он слова все знает, а ударения никак ему не даются. Даже в стихах. Когда он стихи читает, можно умереть от страдания: очень смешно, а смеяться разве можно?! Нурулла тогда совсем замолчит! Да и жалко. Вот как он читает «Песнь о вещем Олеге»:

Как нынѣ сбѣрается вѣщій Олег
Отмстить нѣразумным хѣзарам...

Бедный, как же ему трудно стихи учить, ведь у него совсем нескладно получается!

Я ему говорила один раз: «Нурулла, ты послушай, стихи же гладко идут, как речка течет, а ты скачешь, как по кочкам».

«Что такуй — кочка?» — спросил меня Нурулла, опустив свои большие, ярко-голубые, как эмаль, глаза, и ярко-рыжие реснички заморгали, ожидая, что я отвечу.

У Нуруллы были бледные, в бледных же веснушках пухловатые щеки и толстые бледно-розовые губы. Из всех ребят самый тихий, робкий даже, несмелый, ростом он уступал, пожалуй, только Карпю, и руки у него были как у взрослого — кисти крупные, запястья широкие. Но словно мы, девочки, он в перемену не подымался со своего места в углу, на задней парте, не баловался с мальчишками.

Однажды, в первые дни, ребята стали было его дергать и «заводить», так он прилег на парту, спрятав лицо в скрещенные руки и только взглядывал иногда на обидчиков своими кроткими голубыми глазами да жалобно вскрикивал: «Уйди, шайтан! Уйди, шайтан!»

Ребята посмеялись и больше его не трогали, а потом прозвали «Вещий Олег». И даже просто Олег. «Нурулла, — кричат, — Олег!» А звали его главным образом для того, чтоб он объяснил задачу,

пример бы дал списать. Арифметику он здорово знал. Тут, наверное, ему слова не мешали. А вот что такое «кочка», он не знал. Я ему, конечно, объяснила... А Толечка наш тихо-тихо уже в пять лет выучил другой язык.

Пока я думала про все про это, братик мой заснул возле меня. И нам с бабусей пришлось его будить, раздевать, вести в постель. Он был тихий и кроткий и даже не капризничал. Тут же котенком свернулся в своей кроватке и продолжал спать.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: ДЕЛА И ПРОИСШЕСТВИЯ

А мама с папой так и не приходили.

И я увидела их только на следующий день.

Очнувшись после ночи в тепле и укрытости постели, еще не совсем понимая, что к чему, я, словно цыпленок в лапы коршуна, попала в плен ужасной мысли: «Надо собираться в Пеньки! Опять покидать дом!» Видно, эта мысль все время во мне таилась: пряталась днем, спала ночью, а проснулась, злая, раньше всех, чтобы подстеречь меня, беспомощную со сна.

Сердце противно зачастило, захотелось пропасть совсем, чтоб ничего не видеть и не знать больше. И я обреченно открыла глаза, чтоб прямо в глаза блеснуло нацеленное на меня стальное жало гильотины — необходимости.

Мутно светлели высокие окна. Темновато. Тепло. Просторно в комнате.

Я дома. Чьи-то шаги, удаляясь, звучали, хлопнула входная дверь, и все смолкло. Гильотины не было.

«Воскресенье! Ведь только вчера пришли! Значит, Пеньки только завтра! Урра!!!» — заорала я беззвучно и зарылась головой под подушку. Я взбрыкивала ногами, колотила кулаками подушку, оглушая себя. Какое счастье: Пеньки только завтра!! Будто завтра — через сто веков! Будто завтра — это никогда! И с этим удивительным блаженным сознанием я выпрыгнула из постели:

Ай-ля! Ай-ля-ля!
Фу-ты, ну-ты, тру-ля-ля!
Мы по бережку идем,
Песню солнышку поем!

Ой-ля! Тру-ля-ля!
Песню солнышку поем!
Выходи ко мне, коток,
Котик, серенький лобок!
Ай-ли, тру-ля-ли!
Котик, серенький лобок!

И тут, наверное, разбуженное моими легкомысленными выкриками, ожило радио: наш черный репродуктор захрипел, заурчал, и грянула непреклонная музыка! Требовательные мужские голоса обрушились на меня обвалом, лавиной:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С прокля-а-атою ордой!

Я замерла, устыженная, прижав к подбородку руки с простынкой, которую складывала, заправляя кровать. И так стояла, а песня вымывала из меня всю легкомысленную радость (Господи! Воскресенью обрадовалась!), все мои смешные, маленькие страхи, словно это был легкий, пустой мусор. Я чувствовала, что становлюсь такой же суровой и строгой, как эта песня, как ее слова и напев. И вот я уже сама подпевала, включаясь в новый день, не просто мой, а общий со всеми:

Пусть ярость благородная
Вскипа-а-ет, как волна!
Идет война народная,
Священная война!

Теперь я была готова ко всему, что принесет этот день и что настанет завтра. Я даже была готова хоть сейчас идти в Пеньки, так и не увидевшись с мамой и папой.

Но мама пришла к завтраку, успев наработаться, а папа, сказала она, поехал в дальнее отделение совхоза, там на ферме девчата-свинарки перессорились. Шаги, которые услышала я, проснувшись, — это папа уходил. Мама рассказала нам прекрасную новость: рабочий комитет совхоза решил тем ученикам, которые учатся вдали от дома, давать рабочие карточки на хлеб: то есть по 600 граммов на день, а не по 300, как полагалось иждивенцам.

«Вот здорово, теперь я буду брать с собой в школу только свой

хлеб, и мне будет как раз на неделю! И семью не обделю!» Все это я сразу сообразила, но теперь не стала шуметь своей радостью.

А мама, видно думая о том же, сказала:

— Главное, за Садова, за Иван Палыча, с души отлегло: они же Степану весь хлеб отдавали, сами на одной картошке сидели.

Я знала: родители у Степки были совсем уже пожилые, мать больная, не работала, только отец, плотник Иван Павлович, имел рабочую карточку — вот и все.

И цыганистый, черный Степка был длинный и худой, как жердина, а бледно-смуглые щеки его втянуты, запали. По одному его виду скажешь, что он все время есть хочет.

Знала я это все и видела, а порадовалась сначала за себя! И мне было стыдно теперь, будто мама, подумав о Садовых, уличила меня в эгоизме. Вот мама моя — не то что я!

Весь остаток этого дня мы выкапывали картошку на своем участке за оврагом, за тем самым, где врыты в его склон землянки-бани. Это сразу за нашим домом, позади сада. Обычно в деревнях садами называют участки с фруктовыми деревьями, а в нашем росли березы и несколько лип.

Тут, пока не училась в Пеньках, любила я играть, воображая этот сад и овраг то джунглями, то тайгой, где водятся уссурийские тигры и огромные питоны-удава.

Копать картошку в сухой прохладный день просто здорово! Каждый картофельный куст — состарившиеся, сморщенно-дряблые коричневатые стебли с пожухлыми, будто изжеванными листьями — как загадка: вводишь под рыхлый холмик земли, из которого он торчит, свою лопату или вилы, осторожно вводишь, чтоб не задеть клубней, — и не знаешь, что там тебя ждет: бодрые, самодовольные картошины-толстячки или дробная мелочь. Иной куст опрокинешь, а под ним словно клад, словно тайник картофельный: цельных полведра наберешь!

И как же оглушительно-смертельно вдруг раздается хруст: это твоя лопата врубилась в живой клубень! Со стоном боли рвала я лопату на себя, но поздно: насаженная на ее лезвие, как на великанский ножик, сидела неосторожная картофелина, обычно самая крупная, и земельная мелкая пыль, смоченная соком из пореза, чернела на лопате, будто темная кровь раненой картошки. Я снимала картофелину с лопаты, и если порез был глубок, совсем разламывала

клубень, чтоб еще раз подивиться, какой чистейшей сахаристой кремовостью наливается картошка в глубине черной земли. А ведь только тоненькая пленка кожуры хранит ее от грязи и микробов.

Хотелось лизнуть влажный, сверкающий разлом картофельного тела, и я лизала. И долго сплевывала сырой, крахмалистый, чуть едкий привкус, остающийся на языке.

«А есть люди,— припоминала я чьи-то рассказы,— которым нравится есть сырую картошку, не потому, что голодные, а просто картошка им словно яблоки. Такому человеку работать на картошке — равно что пир пировать. Как если б мне в яблонево́м саду. Хорошо бы, если б вдруг картошка — ну хоть под одним кустом! — превратилась в яблоки! Вот под этим! Ну, здесь нет, так под следующим! Ах, нет, тогда вот здесь!» Я поддевала лопатой куст за кустом, выбирала клубни в ведро, сносила в одну кучу.

Яблок не было, конечно. Я между тем думала, что если совсем нечего есть и костер нельзя развести — например, в партизанском отряде,— так и картошке сырой будешь рад.

Мы работали с мамой, а к вечеру должен был приехать отец, пригнать лошадь, чтоб свезти картошку.

Хорошо нам было, когда мы все выкопали, насыпали картошку в мешки и сели на них, чтоб подождать папу. Еще светло было, тихо.

Может, оттого, что сами мы устали, а теперь отдыхали, все вокруг казалось усталым и тихо отдыхающим. И кроткое осеннее небо с застывшими в неподвижности, вялыми какими-то облаками, и даль поля, и все растения вблизи нас: пушистые, все еще в цвете, заросли аптечной ромашки, сочный молочай и сухой голенастый осот, и проволочно-жесткие, встопорщенные кустики пастушьей сумки. Даже отжившая свое картофельная ботва, вырванная нами из земли, и та вроде прилегла отдохнуть, а не умереть на разрытых бороздах... Отдыхая, стояли деревья сада; отдыхая, шагала медленно лошадь, а рядом с ней женщина, держащая вожжи,— они приближались к совхозу от недале́ного леса. И тесно припали к земле постройки — дома, особенно фермы, длинные, низкие, они, кажется мне, так и растянулись на земле, расправив каждый деревянный суставчик долгого своего тела.

Мы сидели, прижавшись друг к другу. Я положила голову к маме на плечо; и она держала мою руку у себя на коленях. И я видела с гордостью, что наши руки стали похожи: одинаково задубевшие

от земли и картофельного сока, шершавые, горячие. Я глянула вверх, в лицо маме, и увидела ее глаза, кротко-голубые, как осеннее небо, большие на похудевшем, загорелом лице. Она смотрела на меня так ласково, что я от смущения стала бодать ее головой в бок, в плечо, приговаривая:

— Пришла коза рогатая, рогатая, бородатая...

— Ну, значит, отдохнула! — засмеялась мама. — Тогда подика сбегай домой, не приехал ли папа. Поторопи его!

— Да он сейчас сам приедет! — не хотелось мне уходить сейчас с поля. Да и подумалось: вдруг папы еще нет? Будет обидно: приду, а его нет. Но только подумала, и тут же мы увидели лошадь, вывернувшую из-за дома, и папу на телеге.

— Едет! — вскрикнула мама.

А я сорвалась с места, будто меня и не было на мешке возле нее. Я неслась навстречу папе, чувствуя, как повторяется миг, уже давно пережитый; как повторяется все во мне самой: будто я бегу спасти папу, будто от того, как быстро я достигну, достану до него руками, прижмусь к нему лицом и всем телом, зависит его спасение. Тогда он возвращался с войны, больной, после госпиталя. Больной, раненый, но живой. И возвращался к нам насовсем. И я бежала сейчас, как тогда: не дыша и ничего не ощущая, кроме жажды — добежать! Чтобы спастись возле папы. Да, теперь уже самой спастись от Пеньков, от чужого мира. Ведь только папу, придя домой, я еще и не видела. И, значит, для него я как бы еще не возвращалась, и теперь, при виде его, я и сама так чувствовала — и бежала, бежала, — возвращалась совсем!

Я налетела на папу вихрем, и он меня подхватил, теперь он мог это! А тогда, после госпиталя, был он так слаб и так бледен какой-то еще невиданной мною, тусклой, сероватой желтизной, что я невольно остановилась и побоялась обнять его крепко, — лишь обхватила его руку, а забравшись к нему в тарантас, прижалась к плечу, а потом зарылась головой под руку, под мышку, но осторожно, боясь резко толкнуть: я знала — у него была рана в живот и сложная операция...

Сейчас он меня подхватил и чуть приподнял, а потом отстранил, заглянул в лицо:

— Ну, как дела, студентка?

— Ой-е-ей! Студентка! Ха-ха-ха!

— Отчего же «ха-ха-ха»? Раз живешь ради ученья на стороне, значит, и есть студентка!

— А ты тогда кто? Где сам пропадаешь?

— М-м! Это целая история!

Мы уже подходили к маме, и она встала нам навстречу.

— Да, уж совсем заждались! — сказала она и приподнялась, маленькая, на цыпочки, чтоб поцеловать. — Ну, что там случилось на ферме?

— Такое случилось... — папа даже руками развел: дескать, просто уму непостижимо! — Целая трагедия. В двух действиях. Первое действие называется: «И выросла свекла большая-пребольшая...» А второе: «Преступление и наказание».

— Ну, папка, ну не тяни! — Знаю я этот его обычай: нет чтобы сразу сказать, долго будет подбираться!

— А вот погрузим мешки и расскажу!

И папа рассказал, что на свиноферме бригадир Гайша Сабирова побила молодую работницу за то, что та вырвала и искрошила на корм свиньям самую огромную свеклу с кормовой деланки при ферме. Эта свекла-гигант была гордостью свиначок, они хотели посмотреть, какой же она станет, если дать ей расти до самых заморозков. А новенькая этого не знала. И вырвала царь-свеклу. Такой пошел шум и крик на свиначнике, что работницы послали за папой: пусть он их рассудит.

— Ну и как ты их рассудил? — спросила я.

— А я спросил Гайшу:

«Вот если б я, главный зоотехник, вырвал твою прекрасную свеклу, ты бы стала меня бить?»

И все засмеялись, представив эту картину. Тогда Гайша опустила голову и сказала:

«Ты, Сергей Григорьевич, никогда бы не вырвал эту свеклу, никогда. Потому что ты понимаешь красоту. Потому тебя не надо было бы бить».

Сказала про красоту Гайша и заплакала. И сквозь слезы говорила, что только человек без души, человек-шайтан, которому дай солнце, он и солнце свиньям изрубит, — мог вырвать такую свеклу. Их общий праздник.

— Ой, так про свеклу?! — удивилась я.

— Так про свеклу. Тебе не понятно? — посмотрел на меня папа.

— Ну, что они гордятся ею, это понятно. Просто слова для свеклы удивительные!

— Про свои чувства она хорошо сказала, да вот про Назиму, ту девушку, не подумала. Я об этом ей и напомнил.

Раз она, Гайша, умеет сказать, значит, очень многое уже понимает, не просто чувствует. Значит, с нее и спрос большой, не даром же она — бригадир. Поэтому нельзя простить ей некрасивый поступок. Бить человека! Тем более, подчиненного тебе человека... Да это позор!..

Вот что было на ферме! Потому и папу мы столько прождали. Долго еще они сидели в красном уголке, разговаривали уже обо всем другом, рассказывали разные случаи, потом вместе чай пили. Не мог папа просто так сразу уйти. Но в конце концов Гайша погладила Назиму по голове и сказала: «Бедная, глупая девочка», — потатарски сказала.

— Ах ты мой миротворец! — проговорила мама ласково-ласково, и он замолчал и стал смотреть на маму. Он смотрел на нее сверху, а она — приподняв к нему лицо; они улыбались так, будто разговаривали оживленно, а не молчали, и не было на свете никого лучше их. Наконец папа сказал, все еще глядя на маму:

— А знаешь, я правда почувствовал себя счастливым, когда Гайша пожалела Назиму.

— Я рада за них, — отозвалась мама тихо.

И я поняла: она рада за них еще и потому, что с ними работает папа.

Наконец мы отправились домой. Медленно и торжественно шагали возле телеги, груженной мешками с картошкой.

И встречающиеся изредка женщины, ласково здороваясь с нами — с мамой и папой, непременно оглядывались, разминувшись, и смотрели нам вслед. Они смотрели нам вслед с каким-то совсем иным выражением, чем при встрече, с каким-то напряженным любопытством, будто хотели что-то понять или вспомнить. Так оглядывают чужака встречные на деревенской улице.

Я заметила это, случайно оглянувшись на одну из совхозных красавиц, Амину Садыкову, работавшую в конторе. У нее было лицо как у Земфиры в иллюстрациях к пушкинским поэмам. В черных спиральных кудрях, обрамлявших удивительно белое со впалыми щеками лицо, и темные, огромные глаза без блеска, — сказочное, прекрасное лицо. Только фигура ее портила: спина у нее была очень длинная, а ноги коротковатые и кривоватые. Меня как-то



болезненно задевало это несоответствие; каждый раз, встречаясь с ней, я надеялась, что это не так, что мне только кажется. И я оборачивалась, чтоб взглянуть на нее еще раз. А сейчас я увидела: она стоит и смотрит нам вслед с этим вот страшным напряжением в прекрасном лице.

И еще раз я оглянулась случайно, чтоб помахать рукой почтальону, тетке Анне, которая разминулась с нами, возвращаясь домой с пустой уже, худой своей сумкой. Лицо у нее было ясное, спокойное. Знать, сегодня не было «похоронок». Но, оглянувшись на нее, я опять увидела на ее лице это же усилие — понять, — что и на лице Амины.

А после я уже на каждую смотрела. И возле дома, дернув папу за руку, чтоб он отстал от мамы, спросила все-таки его:

— Почему они все так смотрят?

Папа ни разу не оглядывался, но словно знал заранее, о чем я. И ответил, не глядя мне в лицо:

— Вспоминают, как было до войны...

Я поняла его сразу. И досадовала на себя за то, что спросила... Сама бы могла догадаться. И больно стало моему сердцу. И отчего-то стыдно, и папу жалко, — я вдруг остро поняла, что он чувствует себя виноватым. Он вернулся, а их мужья — нет. И, может, не вернуться.

И что ж поделаешь, куда денешься, если все равно они одни, а мы идем втроем: мама, папа и дочка. Так было у всех до войны. Как просто. Прямо обыкновенно. А стало как чудо какое-то. Это ведь просто чудо, что наш папа с нами. И чудо, что он не погиб, когда был ранен. У папы и сейчас бывают страшные боли в желудке, тогда лицо его делается изжелта-серым, а губы вытягиваются в ниточку. Есть он может совсем помаленьку, а иногда его рвет. И все-таки он с нами!

Мама прямо из сил выбивалась, чтобы как-то получше кормить его. Да и нас всех. Время от времени она после работы хватала какую-нибудь вещь — платье свое, шаль или просто кусок ткани, пока не кончились эти довоенные ткани, и бежала в соседние деревни или к кому-нибудь в нашем же совхозе, кто держал много овец, — менять на мясо, на масло. Чтоб кормить всех нас.

И как всегда, когда думала я, отчего это сделалось, к сердцу будто кипяток приливал от гнева и кулаки сами собой сжимались так, что ногти впивались в ладони и глазам становилось горячо.

— У... гады... фашисты...

СОН И ЯВЬ

Ночью мне снилось, что я попала в плен к фашистам и меня будут пытаться.

Гестапо походило на зубо врачебный кабинет: бело, чисто, блестит стекло и никель инструментов: щипцы, иглы, кусачки; электроплитка раскалена добела. Это чтобы пытаться каленым железом.

Ужас сжимал мои внутренности в жесткий комок, было трудно дышать. А мысли металась: «Зачем фашист моет руки? Чтоб пытаться чистыми руками? Что за глупость!»

Но фашист, пожилой и лысый, спокойно тер рыжеватые, с веснушками руки щеткой, как это делают все врачи. На меня он и не смотрел. И кажется, меня никто не охранял. Во сне я не думала, о чем мне надо молчать, чего от меня будут допытываться, и вообще, какую тайну я знаю.

Все это было как будто и неважно: ведь ясно — я ничего не скажу. Одно было важно: не застонать и не закричать.

И вот что мучило меня: смогу ли не закричать? И еще: зачем фашист моет руки? Но я все же смалодушничала во сне, не дала себя пытаться: пока фашист мыл свои веснушчатые руки, я, пятясь и пятясь потихоньку к двери, надавила на нее спиной и выскользнула в коридор! И по длинному пустому коридору мчалась, бесшумно и невесомо, к далеко светлеющему окну. Прыжок в окно! По ржавым кочкам, сквозь осоку и камыши — к лесу! Погони за мной не было!

В лесу я проснулась. Меня будила мама.

Этот сон я видела в третий или в четвертый раз. Меня он мучил сомнением: выдержу ли я пытку? Но всякий раз я уходила от пытки! Так же, как сегодня ночью. Бывало и чуть иначе: на эту жуткую белую пыточную комнату падала бомба — и меня отшвыривало на мягкое болото, поросшее ржавой осокой и камышом.

А мне оставалось по-прежнему спрашивать себя: закричу или не закричу? Другого сомнения — выдам тайну или не выдам — не было.

Песенка испанских антифашистов, песенка, неизвестно откуда взявшаяся, — читала я где эти слова или слышала, не помню, просто знаю ее и будто всегда знала, сколько живу, — эта песенка не позволяла мне сомневаться. Пелась она негромко, задумчиво. И в середине

каждой строфы была пауза. Она словно давала время подумать самой: а что же будет дальше? И каждая строфа такая короткая, а словно отдельная история.

Жили три друга-товарища
В маленьком городе Эн.
Были три друга-товарища
Взяты фашистами в плен.

Стали допрашивать первого,
Долго пытали его...
Умер товарищ замученный
И не сказал ничего.

Стали второго допрашивать,
Пыток не вынес второй —
Умер, ни слова не вымолвив,
Как настоящий герой.

Третий товарищ не вытерпел,
Третий — язык развязал.
— Не о чем нам разговаривать! —
Он перед смертью сказал.

Их закопали за городом,
Возле разрушенных стен.
Вот как погибли товарищи
В маленьком городе Эн.

Все было не просто так в этой песне, как, может, кому покажется: и то, что трое их, товарищей, как бывает обычно в сказках — три брата, три дороги, три девицы, три богатыря; и то, что каждому из них досталась одна судьба; и то, что повторили друг друга первых двое, а третий... Вот сколько раз твердила я про себя песню, сколько уж я ее знаю — всю жизнь! — а каждый раз, как дохожу до слов: «третий язык развязал» — так будто в первый раз — сердце у меня замирает в жутком, постыдном подозрении: «Скажет... Неужели пощады попросит?..» «Постыдном» говорю потому, что, боясь за третьего, боясь его слабости, я чувствовала, что его слабость — мне поблажка, что мне может проститься, если что, моя слабость... Но тут кончалась пауза, делящая строфу пополам, и, очищая мою совесть, говорил палачам третий: «Не о чем нам разговаривать...»

Он устало это говорил, он умирал... Даже на презрение не оставалось у него сил. Но то, что он все-таки выговорил, было как месть за двух его товарищей. И за меня тоже. Вот так и будет. И больше никак. Мы с ним были заодно. И я была им. Третьим товарищем.

Ведь песня не называла имен. И город не называла. «Эн» — ведь не название, а вместо названия. И это тоже было — я знала — не даром.

Песня зазвучала в моей голове, как только меня разбудила мама и сказала, что пора собираться. Скоро подойдет лошадь. Мне хотелось заплакать, но я слышала негромкую песню и сдержалась. Надо — значит, надо. Пусть на сердце тяжело. И плакать хочется от предчувствия всяческих бед, которые, конечно же, свалятся на меня в Пеньках.

Одно пока хорошо с этими Пеньками: дорога. В совхоз идешь — приметы отмечаешь, а в Пеньки зато на лошади. Где поедешь, где побежишь, чтоб лошадка отдохнула. Девчата сразу песни завели. Поёшь — и все забывается: зачем, куда, на сколько собрались. Дрожки на кочках поскакивают, голоса подпрыгивают, прерываются.

Лена много песен знает, каких я раньше не слыхивала. Например: «Вдыхая розы аромат...» Прислушавшись, я поняла, что надо не «Вдыхаяро», а «Вдыхая розы аромат...».

Песня была очень красивая — грустная, напевная, даже не просто грустная, а жалобная.

Как человек вспоминает про свою любовь, вдыхая этой розы аромат. Особенно конец хороший — гордый:

Вам возвращая ваш портрет,
Я о любви вас не молю.
В моем письме упрека нет,
Я вас по-прежнему люблю.

Хорошо бы так кому-нибудь... И все, и конец. Я эту песню с одного раза запомнила.

А свою песню про трех товарищей я ни за что бы не запела при всех. Я ее только в голове своей пела или когда знала, что совсем-совсем одна и ни одна живая душа меня не слышит.

Из военных песен девчата тоже больше про любовь пели:

Ночь коротка,
Спят облака...

И «На позицию девушка провожала бойца...», и «Темную ночь...»
Так с песнями ехали, но в школу опоздали.

ВОТ ТАК НАКАЗАНИЕ!

— Ой, да не бойтесь! Мы каждый понедельник опаздываем! —
учила нас Лена, когда подошли мы ко враждебно молчащей школе. —
Поругают, конечно, а что делать?! Если б сразу с подводы в школу...

Да, правда, надо же было продукты развезти по домам и сгрузить. Да идти еще сколько опять до школы.

И пожалуйста вам: на перемене созывает Мелентий Фомич всех на построение и приказ читает с высокого крыльца: «За опоздание в школу целой группы учащихся из совхоза такого-то — всех виновных наказать нарядом на распиловку и поколку дров: по одному кубометру на человека».

— И чтоб на этой неделе было сделано! — грозно закончил Мелентий Фомич и сверкнул своим недреманным оком.

— Ур-ра! — вдруг заорал длинный Степка Садов, правый фланг всей школы.

И какие-то девчонки, не разобравшись, подхватили тонкими голосами:

— Урря-я! — думали, так надо. Но вид у директора недовольный, кричавшие поняли: «ура» ему ни к чему, и примолкли.

Тогда в тишине Мелентий добавил зловеще:

— А Садову — два кубометра.

Степка больше не орал, но смолчать все-таки не смог и стал, как у нас говорят, «вяньгать» — жалобно канючить:

— Ла-ад-но, ла-адно, Мелентий Фомич! Пожалеете еще Садова... Вишь какие строгости...

— А строгости обычные, Степан, военные, — отрезал Мелентий каким-то не своим, отрывистым голосом, очень значительным. И добавил: — А вы, совхозские, завсегда распускаетесь.

— Так ведь впервой ныне-то! — не унимался Степка.

— А летось, Садов? Как оно было?

— Так ведь я-то у вас летось не учился! Вон оно! Садов за летошний год в ответчиках!

Мелентий Фомич, увлекшись диспутом, и еще бы чего-нибудь возразил, и уж было рот открыл, но тут из рядов вырвался звонкий и резкий голос Лешки Никонова.

— Держись, Сте-па! Еще манень-ко! — выкрикнул он, издевательски отчеканивая последние слоги, и тем дал понять директору, как неуместна затеянная с учеником перепалка на виду всей школы.

— Ну, хватит, поговорили! — с сердцем сказал директор. — Разойдись!

И ряды смешались, окружая попавших в наряд совхозских.

— Эка! — басил Карпэй. — Что в наряде, что так, все равно дрова-то надо пилить!

— И правда! — обрадовалась я. — Уже ведь и пилили, но на субботнике, а теперь — наряд... А сколько это — кубометр? — спросила я Тоню Антипову. — На субботнике мы не считали же сколько, пилили — да и все.

— Пойдем прикинем.

Мы пошли с ней за школу, где у безоконной ее стенки были свалены дрова — осиновые, березовые и сосновые бревна.

— Ну вот, гляди. Сколько у этой кучи высота будет? Метр, да ведь? Да в глубину не меньше двух. Так? А длина... — Тоня широко зашагала вдоль лежащего на земле, откатившегося бревна. — Раз, два, три!

— Значит, здесь шесть кубометров! — сосчитала я. — А как увидеть из этого одну шестую? Чтоб знать, сколько мне одной пилить и колоть. Нас ведь шестеро!

— А чего ее видеть? — удивилась Тоня. — Что, ты отдельно, что ли, будешь, сама с собой пилить? Все равно всем вместе делать все шесть шестых.

И я вдруг поняла ужасно простую и удивительно важную вещь: мы же все вместе будем работать! И то обидное, что сказал директор: «На каждого по кубометру!» — потому и было обидно, что разделяло нас на отдельных людей со своим кубометром в охапке. Попробуй-ка потяни одна! Но дело-то в том, что мы не врозь, а вместе! Значит, никакой обиды и нет! И не выделишь тут отдельную работу на одного человека, как невозможно выложить из этой длинной и высокой кучи бревен ровненький куб: метр в длину, метр в вышину и метр в глубину. Вот какая интересная арифметика получалась: когда шесть

не делилось никак на шесть, а одна целая работа шестерым поддавалась!

— И правда твоя, Тоня! — сказала я. — Что я, сама с собой, что ли, буду пилу тягать? Все тут мое — все шесть кубометров! Да еще где-то Степкин один заваялся, седьмой!

— И Степкин здесь! — ворчливо сказала Тоня. И я поняла, что она на Мелентия сердится. — Я же не точно вымеряла: тут и в высоту повыше метра, и в глубину побольше двух. Как раз и набежит Степкин второй кубометр!

Но прошло целых полторы недели, прежде чем нам удалось расплатиться за опоздание: школьную сараюшку под дрова занимала пока колхозная картошка — колотые дрова некуда было класть. Наконец мы получили команду: в среду после уроков!

Нам тетя Еня доверила свою пилу. Как и все в ее хозяйстве, была эта пила в лучшем виде: гибкая, отливающая у спинки вороненой синевой, светлеющая ближе к зубьям, жалеюще-острым и словно раскаленным добела, словно нарочно начищенным.

— У-у! Щука, а не пила! — сказал Степка, со знанием дела выгибая пилу туда и сюда, и она правда казалась в его руках живым, гибким хищником.

И пошла работа!

Удобно пилить на хороших, устойчивых козлах! Когда бревно лежит не шелохнется, а отпиливаемый конец, свободно нависая, собственной тяжестью разводит щель распила, не зажимая пилы, а помогая пыльщикам. И в конце — хрясь! — не выдерживают последние под пилой один-два сантиметра древесины, и, оставляя торчащую занозистую щепу, тюлька летит наземь.

И еще на метр продвигается бревно на козлах, чтоб свободно повис его конец. И снова визгливо-звонко начинается новый рез: вз-з-з! — в одну сторону, зж-жж-а! — в другую. Выскочит пила в неумелых руках из неглубокой первой бороздки, даст косой след рядом, вскудрявливая мелко бело-розовую кожуцу березы, и работники более твердо перехватывают ручки пилы, более мягко, без нажима посылают ее взад-вперед!

Вз-з-з! — в одну сторону.

Зж-жжа! — в другую.

Брызжет чистейшая крупка опилок.

— Вот бы кашу сварить! Белая будет! — мечтает кто-то.

— А давай! Тут каши, знаешь, все Пеньки накормим!

— Нам бы волшебный горшок. Насыпал опилок: «Горшочек, вари!» И варил бы горшок сладкую, белую кашу на все село!

— Эй, кончайте душу травить! — Это Степка распрямился, возмущается, сверкает яркими белками, как конь. — Жрать и так охота!

— Потерпи, Степочка! — Это Шурка поет тоненько. — Вот кончим, пойдем все к нам, картошек сварим.

— Ко-ончим! — Энгелька тоже спину распрямил. — Когда это нам кончить!

И словно только этих слов дожидались, вышли из-за угла школы Лешка Никонов со своим верным Карпэем. И с пилой на плече. А у Карпэя-то, как у заправского лесоруба, топор за поясом заткнут!

— У-рра! Второй фронт открылся!

— Союзникам — урра! — заорали все.

А я так обрадовалась и так удивилась, что не могла и рта раскрыть. Как здорово, что вот эти самые вредные ребята и пришли! Что из нашего класса ребята пришли! Не из Лениного, седьмого, не из Энгелькиного, шестого, а наши, из пятого!

Но когда все покричали, вдруг Вера Зозуля — и сама ведь радовалась — задумчиво так проговорила:

— А може, воны нам на горе?

— Как это на горе?!

— Ты что — того? — враз все зашумели.

— А так! — повысила голос Вера. — Директор скажет: «То не совхозские зробыли!» И еще добавит по кубометру!

— Да пусть попробует твой директор! — взметнулся резкий Лешкин голос, а сам он уже стоял на козлах, широко расставив ноги в разбитых башмаках — то ли сапоги с отрезанными голенищами, то ли ботинки без шнуровки.

Я уж заметила: когда Лешка злится, все норовит повыше забраться: в классе — так на парту; так же вот, расставив ноги, и нависает коршуном над врагом, того и гляди вцепится, налетев сверху.

— «Твой»! — передразнила его Вера. — Це зовсим твий, а не мий директор! Пеньковский! А мий далече, тебе такого, як мий, не бачить! — Она сердилась и говорила свои украинские слова.

И не знаю, что бы тут началось, может, «союзники» превратились бы в свирепых врагов — «пеньковских», «совхозских» да еще и «горловских», пожалуй (Вера Зозуля была из Горловки), а может, и не

случилось бы прямого боя,— теперь уж этого не узнать, если б не вмешались в спор сверхъестественные силы. Мирно разговаривая, к нам подходили сам Мелентий Фомич и Мария Степановна.

Первым их увидел Лешка, стоявший на козлах.

— А он и тут как тут,— процедил Лешка сквозь зубы, ничуть не смутившись, спрыгнул и чуть отошел в сторону: мол, я тут ни при чем, просто смотрю.

В общем, получилось как на сцене, когда все в разных позах застыли: мы с Леной за пилу держимся, рядом стоим; Энгелька на бревно присел; Вера, обиженная, губы, и без того толстые, надула и Энгельсу в плечи вцепилась, когда Мелентия увидела; Шурка топор в руках держит — и ногу вперед, как партизанка. А Степка, наоборот, голову в плечи вобрал, будто удара ждет. Карпэй и Лешка в сторонке. Ни при чем.

А Мелентий как ни в чем не бывало своим дребезжащим, вредным голоском приветствует:

— Ну, бог на помочь! Как дела-то идут? — И к Лешке повернулся: — И Никонов здесь! Ну, вот это молодец! И нас с Марией Степановной опередил. Мы с ней только собрались на помочь, а он уж тут с верным Карповым!

И как мы услышали про «верного Карпова», так не выдержали — прыснули от хохота. И уж посмеялись, дали себе волю.

Мелентий, наверное, сначала подумал, что ловко пошутил, потом, пожалуй, уж и засомневался: не над ним ли хохочут ребята?

А мы заодно надо всем: и над Лешкой, и над Вериной подозрительностью, и над собой, что почти ей поверили, а главное, от радости, что Мелентий Фомич не такой злодей оказался, еще и помогать пришел.

И как же мы быстро одолели эти дрова! И не устали.

А потом, когда все сложили в поленницы возле школьной стены и присели на козлы, увидели, что вокруг — ночь, а над нами — чистые звезды. Чистые, холодноватые, спокойные. И мы, запыхавшиеся, горячие, потные, радостные, увидев их, вдруг притихли.

Наверное, все, как и я, враз почувствовали это небо, его отдаленность от нас и его тишину, и глаза всех так и замерли там, в высоте. А мне было интересно посмотреть на лица.

Наша учительница Мария Степановна стала похожа на девочку тем задумчивым и кротким выражением, какое появилось сейчас

в ее запрокинутом к небу лице. «Какая чудесная наша учительница! Вот как мне повезло!» — подумала я и увидела, как на лицо учительницы легла тень от облака. Нет, не от облака! Сегодня они легкие и прозрачные, как папиросный дым, сизые облачка на предночном, черно-синем — нет, все-таки больше синем, — небе. И редко-редко они. Не тень, догадалась я, о войне она подумала. Ведь я и сама, еще не понимая этого, уже подумала про войну, как только увидела тихое небо, и звезды, и облака. Могу поклясться, что и другие ребята тоже. Ведь все смотрели на небо, а оно было и там, над войной. Это же все время в тебе сидит: здесь тихо, а там — война. И чем прекраснее и тише вокруг, тем больнее душе, или сердцу, или чему там, что у человека в середине груди, что не спит, не дремлет, а все видит и замечает и не дает соврать или сделать несправедливость. А если совершишь или поступишь несправедливо, будет точить и мучить и не даст совсем покою.

Вот сейчас нам хорошо, мы вместе, мы свободны, в нас не стреляют. А там — стреляют, там кто-то сейчас умирает, и не один — много; кто-то кричит от ран, а кого-то пытаются, казнят.

Как раз в эти дни пришла газета «Правда» за 15 сентября, где писатель Фадеев рассказывал о комсомольцах из Краснодона. Там были их фотографии. И когда я читала, как мучили ребят, а ведь Сережа Тюленин был совсем мальчишка — всего на четыре года старше меня, — я все смотрела на их лица, хотела понять, увидеть в них: они другие, чем мы, или такие же? И видела, что такие же, и все равно сомневалась, искала. Но только, пожалуй, Уля Громова была особенная. Чем? Может, это от не очень ясного снимка, но казалось мне, глаза ее словно бы видели только мечту, а не саму жизнь. Глаза как на иконе тети Ениной божницы. А может, так казалось оттого, что я прочитала про Улю в газете: она «не сыпала проклятий по адресу истязателей». Вот что меня поразило. И хоть Фадеев не объяснял почему, я поняла: настолько Уля чувствовала себя выше всех этих фашистов, которые терзали ее так, что только представишь, и тошнота подступает к горлу, — настолько она была выше, что и слов на них тратить не хотела. И она думала только, как помочь своим товарищам, чтобы укрепить их. И читала им стихи. Лермонтова читала. «Демона». Да, Уля была особенная, и это было видно даже на газетной фотографии. Все другие были совсем обыкновенные. А Сережа Тюленин и вовсе пацан, припухлое детское лицо. Люба же —

такая озорная, лукавая девчонка! И они все, как Ульяна, никого не выдали. А Любка еще и пела.

Мы только сейчас про них читаем, а они уже погибли. В прошлом еще году. А ведь дышали, как и мы, думали, видели землю вокруг, на небо смотрели и удивлялись, какое всегда прекрасное небо!

И я стиснула зубы, и проглотила комок, вставший в горле, и сказала себе стихи, которые Уля читала своим подругам в тюрьме, чтоб внушить им силу, когда к ним в камеру доносились крики истязуемых:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..

Мне очень хотелось прочитать их вслух прямо сейчас, но я стеснялась просто так произносить слова, сказанные Улей.

— Ну вот, — сказала Мария Степановна, вздохнув, и провела рукой по лбу и глазам своим, будто освобождаясь от какой-то мысли или видения, — вот и сделали мы хорошее дело.

Наверное, и она, как и все, уже позабыла, что это мы, «совхозские», наказание отбывали. Наказание за опоздание. Да и впрямь, какое ж наказание, если сам директор школы с нами работал?

Мы пошли по домам. Почти всем нам было по дороге. Только Мелентий Фомич и Степка жили в другом, противоположном, чем все, конце села.

Мы тихо разговаривали, и я все время чувствовала, что рядом Лешка. Однако сейчас это не вызывало во мне того опасливого беспокойства, какое бывает, когда близко вьется и зудит оса и ты поневоле напрягаешься, как бы не ткнула в нос или глаз. Лешка, который шел сзади, а ведь это особенно опасно, когда враг сзади, — был мирным и кротким. Не пойму, откуда я это знала, но знала. Как было бы хорошо, если б он все время оставался таким вот тихим. Не зудел осой.

Но Лешкиной тихости хватило не надолго. Когда мы все подходили уже к нашему дому, он заорал сзади:

— Эй, совхозники! Завтра чтоб не опаздывать! А то — по два кыбымы! — И захохотал издевательски.

Лена откликнулась добродушно:

— Тебе, Никонов, директором быть! Построже Мелентия.

— А как же! — хвастливо согласился Лешка таким противным, самодовольным голосом, что мне скучно стало. Я понимала: он дурачится, но все равно обидно было, что так глупо. Мог бы что-нибудь поумнее придумать. Да куда ему!

МЕЛЕНТИЙ ФОМИЧ

После этой истории с дровами мне легче стало жить в школе. Быстрее побежали недели. Не так горько стало уезжать из дому. Директор Мелентий Фомич уже не пугал. Я перестала видеть его «недреманное око». Конечно, оно было на месте и, как всегда, глядело на класс не мигая, но это было уже не странно и не страшно, а обыкновенно. Как полагается. Вроде ты его уж и не замечаешь. Не видишь.

И грозные речи Мелентия Фомича, и обещания жестоких кар не сбывались никогда, а если сбывались, то вот так, как было с дровами: сам пришел помогать. И потому никто его особо-то и не боялся, так, делали вид, что слушаемся, из уважения к директорскому его положению, а каждый с ним переругивался и пререкался, как тогда Степка Садов.

И мне даже казалось, что самое большое удовольствие получает при этом как раз сам Мелентий Фомич.

— Ты, Домоседов, — говорил, например, директор на своем уроке Сашке Николаевичу, — того: не разбирался, видать, долго с правилом. Прочитал раз, да и того... ужинать, поди, поспешил. Верно я говорю? — вытягивал он к Сашке тонкую морщинистую шейку. — Покушать захотел. Чай, блины мать-то пекла?

— Картофельные, — покаянно соглашается наш Николаевич. И вдруг спохватывается: — А што? И ужинать, што ли, нельзя теперь?

— Ну-ну, как можно без ужина? — серьезно говорит директор.

И все в классе покатываются от хохота, а лицо Сашки Николаевича, и без того красное, принимает аж свекольный оттенок.

— Ну и вот! — говорит он с вызовом, почти грубо.

— И я про то же. — Тонкий голос Мелентия успокоителен. — Я, Домоседов, про то же! Только, Домоседов, на свой ус, которого у тебя еще нет, но будет, — поднял вверх Мелентий Фомич темный

пророческий палец, — на этот свой ус намотай: правила лучше учить на голодный желудок. Да с той же охоткой, как ужинаешь. Понял, нет? — уже резко, директорским голосом спрашивает он и смотрит поверх Сашкиной головы одним глазом — значит, это наставление не одному Сашке, а всему классу.

Мелентий Фомич проговаривал слова очень быстро, отрывисто, зато паузы были у него продолжительнее, чем у всех других людей. Где другой ставит запятую, наш учитель — многоточие. Он говорил, будто пристреливался короткими очередями. Я подумала, что это от привычки диктовать диктанты, показывая голосом, где ставить знак препинания. А может, и просто так, такая его особенность. Вообще как-то не по-учительски разговаривал Мелентий Фомич, интереснее: над его словами можно было раздумывать. То ли он шутит, то ли всерьез; вроде бы и в шутку правду говорит, а в то же время и обидно.

Вот как с Сашкой Николаевичем: ну при чем тут ужин, если человек правило не выучил?

Вообще Мелентий Фомич, я замечала, очень любит поговорить про еду. Даже и не придумаешь, как незаметно с любой темы он перебирается на свою излюбленную.

Например, ставил за ответ Степке Садову пятерку и приговаривал:

— А совхозским по-другому и нельзя. Они, чай, не на одной картошке... Государственный хлеб едят...

Это правда. Настоящий рабочий хлеб, конечно, надо было как следует отрабатывать. Но все-таки и какая-то ужасная неправда задевала меня в словах учителя. Чего же нас хлебом попрекать? И потом, обидно за ребят из колхозов, у которых хлеба вообще не было. И почему-то стыдно перед ними. Будто это мы, совхозные, виноваты, что у них хлеба нет.

Мне было боязно взглянуть на Тоню при этих словах Мелентия Фомича. И за него стыдно — учитель же!

А Тоня, будто она понимала, про что я думаю, толкнула меня легонько локтем и шепнула, глянув на Мелентия:

— Воспитывает...

Дескать, не обращай внимания, это все слова одни, воспитание — так поняла я Тоню.

В тот день, когда я узнала про нашего директора нечто очень важное для себя, он спрашивал у доски Душку Домушкину. Наверное, ее надо бы звать Дуся, но все пеньковские говорили «Душка», и она совсем не сердилась. Когда я поначалу назвала ее Дусей, так сама не рада была — такой подняли хохот мальчишки: «Дуся-медуся!.. Дуся-пуся!.. Дуся-бабуся!.. Да она у нас «Ду-у-уся!..»

Тогда я объяснила себе, что Душка — это ласкательное от слова «душа», и стала тоже так ее называть.

Душка была длинненькая, вся вытянутая, с лицом серовато-бледным и усыпанным крупными веснушками. Глаза сидели глубоко, но были яркими, блестящими и из-за коротких черных ресничек казались подведенными.

Мелентий диктовал, и она, переступая у доски тонкими ногами в непомерно широких валенках, писала предложение из «Капитанской дочки»: «Лошади шли шагом и скоро стали». И пока она писала, стуча мелом, выводя слабой рукой тонкие, еле видные буквы, Мелентий заметил как бы про себя, себе под нос:

— Видать, не кормили. Не покормишь — не поедешь.

Сначала я удивилась: он прекрасно знал, почему стали лошади попавшего в буран Гринёва. Верно, директор наш думал о чем-то своем и, как говорится, прицепился к слову.

О чем он думал? О чем он думал, сидя ссутулившись, вполоборота к классу, поглядывая на Душку и ее писание? Я вдруг словно впервой увидела, какие впалые щеки у Мелентия Фомича, какая желтая, нездоровая кожа, как туго обтянут ею лоб. И впадины на висках. А губы темные, лилового оттенка, а руки зябко прячутся в рукава потертого, белесого во швах пальтишка. И весь-то он маленький, согнутый, ссохшийся. Трудно даже сказать, сколько ему лет. Может, много — например, семьдесят. А может, совсем мало, — волосы-то у него черные, без седины.

И Душка, стоящая у доски, под стать ему: бледная, тощая, руки, как прутики, выглядывают из рукавов телогрейки. С началом зимних холодов у нас все сидят в верхней одежде: дров хоть и напасли и печки топят, но школьный дом такой старый и худой, что, топлённые с утра, печи быстро остывают и без пальто уроки не просидишь.

Глядя сейчас на Мелентия Фомича, я точно наяву увидела доща-

тый стол и черный чугунок «с картошками» на нем и поняла: это все, что ест Мелентий Фомич. Вот отчего и все его разговоры о еде... Не знаю, был ли на самом деле скобленный стол и черный чугунок. Но уже много времени спустя Мария Степановна рассказывала мне, как трудно жил Мелентий Фомич. Кроме своих троих детей, он воспитывал еще четверых своего погибшего младшего брата. У этих его племянников и матери не было, умерла вскоре, как отплакала по «похоронке».

«Корову держать Мелентий Фомич не мог: сено трудно было запасти для коровы. Держал кур, коз да овец. А зарплата директорская...— Мария Степановна на этом месте осеклась, посмотрела на меня, как бы примериваясь, пойму ли я, и договорила: — Да что сейчас стоят деньги?»

Меня тогда поразило само выражение «деньги стоят». Однако суть я поняла, вспомнив, как мама ходит в соседние деревни доставать продукты не на деньги, а в обмен за вещи.

О чем же думал Мелентий Фомич, когда сказал про гриневских лошадей «не покормишь — не поедешь»? Может, про своих детей: чем их кормить. Может, про нас, учеников своих. Про что-нибудь такое думал. И видно, придумал. Потому что в конце этой недели произошло общее собрание всех старших классов — пятых, sixth и седьмых, — где сказал нам директор две новости: в школе у нас будут горячие обеды, готовить которые станем мы сами, дежуря по очереди на кухне. И еще — у нас начнутся уроки военного дела — наконец нашли военрука: вернулся один пеньковский воин в чине старшины, его роно признал годным вести у нас военные занятия.

Для горячих обедов дали продуктов пеньковский колхоз и отчасти наш совхоз: картошка, овощи и даже немного муки и крупы — пшенки. Но повара держать школа не могла, так что перед нами встала задача.

— «А», — сказал директор. — Оперативно научиться варить хлебку. И «б»: оперативно заготовить в лесу сучков и хворосту и вывезти все своим ходом, на ручных санках. Пустить под котел дрова, предназначенные для отопления классов, мы не можем. Да ими и неловко топить под котлом: пока-а разгорятся! А как разгорятся, так не остановишь, навар сбежит, — пошутил директор и добавил: — Так что, любишь кататься, люби... что? — возвысил он голос.

— Саночки возить! — грянуло дружно собрание.

И Мелентий Фомич заежил губами, стараясь сдержать довольную улыбку. А потом не выдержал и засмеялся мелко-мелко, козликом:

— Хе-хе-хе-хе!

И собрание радостно загоготало:

— Хо! Хо! Хо-хо-о!

ВОЕНРУК

Его звали Силантий Михайлович. Он был ранен на фронте; говорят, очень тяжело, но с виду не было заметно. Руки-ноги целы, и даже пальцы все на месте. Ходил он в шинели чуть не до пят и туго подпоясывался широким желтым ремнем. Мальчишки говорили — немецким. Он, дескать, только пряжку нашу приделал, а была немецко-фашистская, со свастикой. Откуда они это взяли, раз никогда той пряжки не видели! Придумали, наверное. Но все равно, все теперь присматривались к ремню военрука, стараясь разглядеть следы переделки. Но ничего не могли, конечно, увидеть. Пряжка как пряжка, с нашей звездой.

Первый урок военного дела начался как обычный урок — в классе. Силантий Михайлович всех отметил по журналу, но потом велел выйти во двор и построиться по росту перед крыльцом школы, лицом к крыльцу. А сам ушел в учительскую. Мы старательно выстроились, как могли. Ждем. А военрука все нет. Мы уж начали толкаться, перебегать с места на место, как вдруг школьная дверь резко распахнулась и на крыльцо стремительно вышел военрук. Пока он был в учительской, он переменился, будто переоделся, хотя остался все в той же шинели с желтым ремнем. Подтянутый, стройный, он как-то особенно нес теперь голову: горделиво — вверх и чуть в сторону, приподняв подбородок. Замерев на верхней ступеньке, военрук отрывисто скомандовал:

— Смир-рно! Слушай мою команду! Подравняйсь! Ка-ак надо равняться?! Не знаем, — с удовлетворением отметил военрук. — Послушаем! — предложил он бодро. — Значит, та-ак: выпрямили спину, животы подобрали. Теперь смотрим все направо! На-пра-во, не налево, понял? Направо, чтоб было видно грудь четвертого человека. Так, та-ак, так. Справились... Теперь носочки. Носки, говорю, проверьте — на лапти поглядим, чтоб в одну ниточку шли носочки. От

так. Ну, теперь по чистой: поод... — тянул он долго «о» и рывкнул: — Ррывняйсь!.. Молодцы! — похвалил. — Теперь: сми-ир-но! — Военрук сделал паузу и крикнул: — Здравствуйте, товарищи бойцы!

Мы вразнобой — очень удивились: ведь уже здоровались! — ответили кто как:

— Здравствуйте...

— Да, не умеем приветствовать командира... Ну да научимся...

И Силантий Михайлович стал сбегать с крыльца, как-то удивительно картинно выбрасывая в стороны колени, расталкивая ими длинные полы шинели, — они так красиво разлетались! И наш военрук, грациозно оттопырив локоть, правой рукой чуть попридерживал отлетающую левую полу.

Мы с восхищением и удивлением, замерев, смотрели на Силантия Михайловича: в этот момент он походил на артиста, изображавшего какого-то героя гражданской войны, какого-то кавалерийского командира. Здорово!

И вот он спустился к нам на землю и начал нас учить.

Резко вбивая каблуки в утоптаный снег, Силантий Михайлович, прохаживаясь перед строем, во-первых, научил нас здороваться. Оказывается, по-военному нужно так: на слова командира «Здравствуйте, товарищи бойцы!» просто отвечать: «З-дра!» Но только громко, дружно, враз и коротко. Этому мы быстро научились.

Но то, что он сказал во-вторых, нас озадачило. Он сказал, что военные люди должны быть подтянутыми, а мы выглядим как пугала огородные. Мы застыдились и потупились, глядя кто на свои валенки подшитые и неподшитые, а кто и на лапти. И одеты мы были не лучше, чем обуты, — кто во что: тут и телогрейки, и полушубки, и материны старые плюшевые жакеты, переделанные на скорую руку для дочки.

Только одна Галия Сабирова из той же татарской деревни Салагыш, что и наш Нурулла, была одета как красноармеец — в бушлат цвета хаки, ничего, что сильно выгоревший, зато с военными пуговицами. Но все вместе не походили мы на военных, хоть плачь! Прав был Силантий Михайлович, что обижался на нас.

— А может, нам форму дадут? — тоненько пропищала Вера Матвеева, самая маленькая ростом, самый наш левый фланг. Мы насто-рожились: как всегда, не понять ее сразу — всерьез она или в насмешку. Я подозреваю, что в насмешку. Она была умная и тихо

насмешливая, приметливая. Ты и мимо пройдешь, а она зацепит. Потом, она не очень-то стеснялась учителей — может, потому, что ее родная сестра, Анастасия Ивановна, нас учила немецкому и арифметике, а старших — еще и алгебре, геометрии и физике.

Но Силантий Михайлович ей в ответ только одну бровь приподнял. Зато кто-то из ребят догадался и радостно заорал:

— Эй! Верка! Мы будем как партизаны!

И все захохотали облегченно: ведь и партизаны бьют врага, да еще как!

— Отставить смех! — нахмурился военрук. Мы сразу же отставили. — Мы не партизаны, а регулярные войска, курсанты, ну, в общем, учащиеся, — объяснил он. — У нас здесь своя страна, а не оккупированная временно территория. Ясно?

Мне показалось, что в его словах «оккупированная временно территория» просквозило какое-то легкое презрение, будто что-то неприличное было в этом понятии. Но, может, это мне показалось. Потому что для меня самое больное и горькое было думать об этой нашей родной территории, о том, каково там людям под фашистами. И люди, которые там боролись с ними, как вот в Краснодаре, по мне были самыми героическими героями. Героями из героев. Потому-то меня и задели слова нашего военрука, и я не ответила вместе со всеми «Ясно!» на его «Ясно?».

А он продолжал:

— Однако форма нам не положена. Но мы выйдем из положения и займем подтянутый и опрятный вид. Как полагается бойцам.

Мы насторожились: интересно, как же?

— Ремни! — отрезал военрук. И пояснил: — Расхлябанность достигается распояской. Ежели человека подпоясать, взять живот под ремень, он уже имеет свой вид. Вы увидите. К следующему уроку воендела явиться под ремнем. Всем. Кто явится без ремня — ставлю двойку.

ИСТОРИЯ С РЕМЕШКОМ

Вот ужас-то! Следующий урок через день, а где мне взять ремень, пока не попаду домой? У тети Ени никогда никаких мужчин не велось, откуда быть ремню?



Да, испортили нам жизнь эти ремни! На следующий урок больше половины класса пришли без ремней. И военрук послал всех по соседним классам — попросить только на урок хоть тесемочку, хоть лычко.

— Да если б знать, что можно тесемку али веревочку, мы б сами принесли, а то велите «ремень, ремень», а сами за тесемкой шлете! — ныли наши девчонки.

Так под лычко да тесемочку собрав, как сноп под вязкой, свои разнокалиберные одежки, мы опять выстроились перед крыльцом. Ну и смешные же все были! Особенно кто ростом поменьше, Вера Матвеева например. Хоть и был у нее настоящий ремешок поперек пальтишка.

У меня тоже был ремешок. Мне дал надеть его Энгелька. Хороший ремешок. Светлая пряжка с такой хитроумной застежкой. Она запиралась зубчатой колодкой. Сдвинешь колодку ко внешнему краю пряжки — запрется ремень. Оттянешь ее назад — скользит ремень под зубчиками свободно. Ремень этими зубчиками был уже истерт:



таким бархатистым, вроде замшевым, сделался один его конец, но держался еще хорошо.

На том уроке мы учились перестраиваться в шеренгу по два и в колонну по два и по четыре. Учились поворачиваться направо-налево и через левое плечо кругом. Незаметно урок прошел. И только мы выстроились в шеренгу по два, чтоб проститься с военруком, как меня сзади что-то сильно дернуло за ремень, я рванулась вперед и чуть не полетела носом в снег, потому что ремень лопнул! Нет, не расстегнулся! Когда дергаешь ремень с такой пряжкой, она только крепче затягивается. И я подхватила руками уже не ремень, а ни на что не годящуюся лямку. Лопнул он по тому замшевому потертому месту... Обернулась я в гневе и горе, а там Лешка зубы скалит, перебегают на свое место. Это он дернул меня! Воспользовался тем, что попал во вторую шеренгу, и прокрался, прячась от военрука за ребятами. Опять он, «глядельщик» ненавистный! Вот когда я позавидовала московским девчонкам: там, в Москве, с этого года девчат и мальчишек разделили по разным школам. Стали там, как в пре-

жные времена: отдельно мужские школы, отдельно женские. Эх, спокойно-то там девчонкам! А что я теперь Энгельке скажу? Стою как дурочка, придерживаю ремень — ни побежать, ни ударить Лешку, урок ведь! Но тут уж и звонок грянул. И я кинулась на Лешку с ремнем в руке. А он будто только этого и ждал: отбегает, за деревья прячется, и я только по дереву луплю, а Лешка рожи строит, бесом передо мной крутится, кривляется, хохочет, то за кого-нибудь из ребят кинется, то за угол школы метнется. Будто хочет, чтоб я за ним туда побежала, будто заманивает, напрашивается. Я так его поняла и не стала за ним бегать. Только сделала вид, что бросилась за ним, угрожая поднятым ремнем; он — раз! — в сторону за крыльцо, а я — рраз! — прямо в двери, в школу, в свой класс! Дождись, так я за тобой и побежала!

«Бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре...» — говорила я про себя. — Ишь какой умный! Не хватало, чтоб гонялась я за «глядельщиком».

«Там верстою небывалой он торчал передо мной; там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой...» Хоть бы пропал он малой искрой, исчез бы... Что я сейчас Энгельке скажу? — думала я, разглядывая обрывки ремня.

— Лешка, да? — спросила меня Тоня и взяла из моих рук обрывки, помяла их. — Да он ветхий совсем в этом месте. Это все надо срезать, а по крепкому месту скрепить сыромятным тонким ремешком. Даже красиво будет. Только промерить и отрезать так, чтоб это сшитое место под колодочку не попадало. А то не пролезет под нее, не запрется.

Меня поразило, что про Лешку спросила она так, мимоходом, словно бы он не человек был вредный и злой, испортивший хорошую да еще и чужую вещь, а какой-то гвоздь, сучок, крючок или там град, снег, дождь — одним словом, что-то не живое, не одушевленное, что может нанести человеку урон как раз по неосмотрительности самого человека.

И правильно! Ведь и сама я только что думала про Лешку, как про беса. И не побежала за ним. Сначала-то побегала все-таки, чего уж там...

И правда, надо обходить его стороной, как злой гвоздь, чтоб не ободраться об него невзначай. А ремень починить — и все! Не жаловаться же учителям: «Он мне ремень порвал!» Это будет к тому же

все равно что пожаловаться на крапиву, о которую ожегся. Крапива от этого не перестанет жечься. «Да! — возразила я себе же. — Зато крапива не побежит за тобой, чтоб хлестать по ногам... А дождик вот может. И ветер. И метель...»

Так и шла я домой с разорванным Энгелькиным ремешком и растрепанными мыслями.

Но больше, чем все, меня удивил Энгелька. Сначала, когда только увидел две половинки, спросил мирно: «Лопнул?» Но стоило мне сказать, что это Лешка дернул меня, как наш «тихий» Энгельс вскочил будто ужаленный, весь покраснел и заорал, сжимая кулаки:

— Козел проклятый! Лешак недорезанный! Лезет и лезет, ко всем лезет, тарантул, морда! Да я его, только встретиться он мне один на один, через коленку поломаю!

Энгелька кричал и грозил, а я и бабушка с удивлением на него смотрели. И мне было очень стыдно, будто это он меня честил-костерил. А бабушка даже спросила:

— Это почто Англеюшко-то воюет? — так бабушка выговаривала непонятное ей «бусурманское» имя Энгельки; мне ужасно нравилось, здорово она его переделала — Англей! — Уж не тебя ли, Дашенька-дочушка?

И тут Энгельс замолчал и бросился вон из избы. Наверное, стыдно стало.

Я кинулась за ним: может, еще Лешку побежал бить. Но ведь он ни за что не справится с ним: Энгелька — длинный, да слабый, неловкий, а Лешка хоть тоже тощий, да зато быстрый, как вьюн!

Но с крыльца я увидела, что Энгелька-Англей пробежал под поветь и остатками ремня стал хлестать столб, поддерживающий кровлю. И по-моему, он матерился.

Я опрометью бросилась назад — стыд-то какой! — и с порога крикнула бабушке, тревожно вытянувшей мне навстречу свою сухонькую шейку:

— Бабушка, это он не меня, а одного мальчишку!

— А гдей-то он? Мальчишка тот? — забеспокоилась бабушка и, шире, чем всегда, раскрыв глаза, заозиралась.

— Да нигде, не здесь — дома у себя!

— Ишь какой горячий Англей-то наш! Ты погляди: супостат его дома, а он тут ярится. Ох ты, ох ты, грех-то какой!

И бабушка прикрыла глаза, видно утомившись от своего волнения

и столь длинного разговора. Покачивалась еле заметно ее голова, и вот зашевелились губы, дрогнули пальцы, двинулись четки — наверное, бабушка завела молитву против Энгелькиного гнева.

Я тоже не могла понять, чего так взбесило Энгельса. Конечно, Лешка — гад и ремень жалко... Но что-то такое было в Энгелькином гневе, что и меня делало виноватой, как-то оказывалась я заодно с Лешкой против Энгелькиного ремня и самого Энгельки. Хотя меня он ни единым словом не попрекнул и вообще так себя стал вести, лишь только услышал про Лешку, будто меня тут и не было. Вот это то как раз его и выдавало, что он меня винит. Понимает, что я ни при чем, а все-таки сердится.

«Тут из-за этого Лешки со всеми перессоришься, — с досадой думала я. — Вот теперь Энгелька злится. Прямо хоть беги из этих Пеньков!»

ЭНГЕЛЬКИНА ТАЙНА

Лена сразу увидела, что у нас что-то произошло.

— Дрались, что ли? Что щеки красные? — спросила она брата.

— Да не-е... — вяло протянул Энгелька, из которого уже вышел весь боевой дух.

— Это из-за меня, — сказала я и остановилась, растерявшись: с чего бы начать рассказывать — с решения военрука о ремнях, с самого ли ремня, с Лешки ли. Да чего там думать! — Вон, — кивнула на разорванный ремешок на лавке. — Я разорвала.

— Да не она! Не она! — опять заорал Энгелька — видно, передохнул и опять набрался боевого духа. — Это Никонов к ней лезет! Он разорвал!

— А-а-а, братишечка-а! — протянула вдруг Лена ехиднейшим голоском. — Во-он в чем дело! — И захохотала обидно для нас, как бы объединяя всех нас троих — брата, меня и Лешку.

Я удивилась так, что не успела обидеться, а уже завопил боевой Энгелька:

— А! И ты, и ты! Замолчи лучше! Замолчи! — И он смешно замахал на сестру худыми руками, чем-то похожими на щенячьи нескладные лапы: кисти большие, разлапистые, а руки тоненькие, нежные.

Она его толкнула в грудь, он отлетел к порогу и, сев там, вдруг заплакал, уткнувшись головой в коленки.

— Только бы драться! А еще сестра...— приговаривал он, всхлипывая, как маленький.— Вот встану — как дам! Ленка-коленка!..

И на самом деле он свирепо вскочил и со свирепым лицом кинулся... в двери! Вон из избы! Лена растерялась, взглянула на меня, как может посмотреть виноватая маленькая девочка на строгую старшую сестру. Я и правда уже зло глядела: что за намеки, непонятные, но противные, она себе позволяет?! Что она Энгельку дразнит?!

И вдруг Лена прыснула от смеха, хотела сдержаться, но не смогла и вовсе расхохоталась, рассыпалась, залилась, упала черно-лаковой, туго стянутой косами головой на стол.

— Ой, не могу! Всех малышей распугала! Ой-е-ей! Все малыши перевлюблялись! Ты, Даша, просто ничего не понимаешь! Ну подожди, не сердись, я сейчас...— Она перевела дух, взглянула на меня и снова не могла сдержаться — прыснула, рассыпалась.— Ой! Дашка, у тебя лицо как в самоваре: то так...— Лена вытянула лицо, оттянув вниз подбородок и глупо вытаращив глаза, — то так... — И она надула щеки, глянув исподлобья.

— Ты бы, чем смеяться, объяснила...— хмуро сказала я.— А то Энгелька бесится, она хохочет, а я как дурочка: ничего не понимаю.

— Да господи! Просто я знаю, что у нашего Энгельки Лешка Никонов какую-то девчонку отбил.

Я оторопела:

— Как отбил?

— Ну чего, не знаешь как? Она Энгельке нравится, а ей — Лешка. Вот и все.

— А ты откуда знаешь, кто Энгельке нравится?

— А я тебе не говорила — кто! — вдруг строго сказала Лена.

И я вспыхнула, поняв, что разговор наш постыдно некрасив. Так же некрасив, как Ленины насмешки над бедным младшим братом. Я бы так никогда над Толей нашим не посмеялась. Да и спросила — то я у Лены совсем не про то, о чем она подумала, — не об имени! Меня удивило, что Лена знает все. Неужели ей Энгелька говорит про такое? Вот о чем спросила я, а Лена как повернула! Будто я сплетни собираю.

— Вот как ты...— сказала я горько, и слезы невольно выжались из глаз, хоть я их изо всех сил не пускала.

— Ой, да что ты! Да я-то что наделала! — наконец опомнилась

Лена. — Сама не знаю, что болтаю! Ах вы мои малыши... — Она хотела обнять меня, но я вздернула плечо, отстраняя ее и отворачиваясь. — Даша, ну поверь! — опустила она руки, но не отходила от меня. — Не хотела я вас обижать! Просто мне смешно стало над Энгелькой. Он же только длинный, а сам маленький и смешной, ты же сама видишь. А сердится как смешно!

И она замахала руками, как кошка лапами. Наконец-то мне стало смешно: так напомнила Лена неуклюжего Энгельку — и свирепо-обиженной гримаской, и этими движениями, при этом так от него отличаясь своим изяществом.

Мне еще хотелось пообижаться на Лену, и я фыркнула, как на уроке, когда смеяться нельзя, но очень хочется.

А потом Лена еще мне объяснила:

— Ты же сама хотела знать, почему Энгельс на Лешку из-за ремня озлился. Только поэтому я сказала тебе про девчонку.

Тогда мне стали понятны Энгелькины слова о Лешке: «Лезет и лезет! Ко всем лезет!» И от всей души я простила Лену.

Но теперь появилась загадка: кто же нравится Энгельсу? Я гнала от себя это недостойное любопытство. Но поневоле приглядывалась. Видимо, Энгельс потерял всякую надежду: время после школы он проводил с нами.

А что было у них в классе, я не знала — я в шестой не заглядывала.

...В тот злосчастный день он вернулся скоро. Проплакался на повети (тетя Еня слышала там его) и вернулся. Умываться и чай пить.

МОРОЖЕНАЯ КАРТОШКА

Из-за этого ремня, из-за Энгелькиной злой вспышки всякая моя надежда на то, что и к Лешке я привыкну, как привыкла к Мелентию Фомичу и его недреманному оку, — вся моя надежда рухнула. А затеплилась было во время пилки дров. Теперь же я стала бояться не столько Лешкиных приставаний, сколько коварства. Боялась, что учинит он какой-нибудь мне подвох.

Поэтому, когда в школе стали создавать маленькие отряды для заготовки хвороста и Лешка вдруг заявил на весь класс, что в его отряде будут Карпэй и Плетнева, я аж подскочила на парте.

— А ты меня спрашивал?! — заорала я прямо неприлично, на весь класс, так что Мария Степановна мне замечание сделала:

— Плетнева, Плетнева, что с тобой? Почему так невежливо?

— Мария Степановна, мы же давно договорились с Антиповой и с Галией!

— Вообще-то лучше, если есть в отряде кто-то из мальчиков, — говорит Мария Степановна. — Никонов, если тебе перейти в отряд к Антиповой? А Галия пойдет с Карповым и еще к ним кого-нибудь.

Я замерла: вот если Лешка согласится, значит, он ничего плохого не затевает.

— Ну уж не-ет, Мария Степановна! Я без Карпова ничего не могу. Друзей не разлучают!

Так я и знала! Хочет меня в лес заманить и там поколотить, поиздеваться. А я еще думала, что он похож чем-то на Сережу Тюленина. Одна только мысль, что я могу оказаться одна с Лешкой и Карпэем в лесу или даже просто в поле, внушала мне ужас.

— Ну ладно, — сказала Мария Степановна, — договаривайтесь сами, а к концу уроков сдайте мне списки отрядов.

И в перемену Лешка стал меня осаждать. Подпрыгивая, приплясывая, отбегая и подбегая, все время перемещаясь перед моей партой, он канючил:

— Ну, Плетнева! Айда с нами! Коська знаешь какой сильный! Хворосту на нем увезем целый воз! Больше всех! Айда! Мы тебя до лесу на санках повезем! — И Лешка хохотал, как леший, и глаза его были очень веселые. — Ну, Плетнева! Ну, айда!

— Не запряг, не понукивай! — сказала я Лешке сердито.

— Да мы ж Карпэя запряжем! Скажи, Коська! — подсказывал Лешка к задней парте, где, привалясь к стенке, жмурился на редкое зимой солнышко Карпэй.

Но Коська лишь улыбался, показывая свои красные выпуклые десны над мелкими зубами, и ничего не отвечал.

— Во, видала, что он говорит! — ликовал Лешка, и все вокруг смеялись, и я смеялась, не могла удержаться, а Карпэй улыбался безмятежно.

И на следующей перемене, и после уроков, когда шли домой, Никонов все не отставал от меня со своим хворостом, хотя уже знал, что записалась я в тройку с Тоней и Душкой Домушкиной; Галия

сказала, что им вдвоем с Тоней делать нечего. «Мы с тобой за мужиков сойдем, не то что за мальчиков», — добродушно пояснила Галия.

Она, правда, была такая же высокая, как Тоня, только не полная, а очень крепкая, широкоплечая и резковатая. Она к нам пришла уже где-то после Октябрьских праздников, со второй четверти. Им бы с Нуруллой не мешало поменяться: ему стать девочкой, а Галие — парнем. Она так и говорила про него: «Моя подружка, кызым. Никому не дам в обиду!»

Мы шли домой как всегда: девчата по правой стороне дороги, а мальчишки — по левой. И Лешка время от времени выкрикивал:

— Не пойдешь с нами, да? С Тонькой пойдешь? Да что вы там нарубите, одни девчата!

— Никонов, сказано тебе, отстань. Знаешь ведь — с тобой не пойду. Никуда и никогда, — добавила я, и совсем напрасно.

— Боишься меня? — вдруг застыл Лешка в догадке. И тут же вытаращил глаза как только мог, и зубы оскалил, и пошел на меня, растопырив пятерни возле лица и хищно скрючив пальцы. — Ар-р! Ур-р-р! — зарычал Лешка, а мы с девчатами стали кидать в него снегом, но снег был морозный, сухой, не слипался в снежки.

Небо стояло ясное, голубое, на редкость чистое. Погода не для снежков, а то бы завязалась баталия.

Никонов метался среди девчат и мальчишек и вдруг скинул валенки. Он подхватил их под мышку, прыгнул с дороги на снежную целину, и узкие хрупкие ступни замелькали передо мной, засверкали розовые с черной каемочкой грязи пятки.

Правда, что ли, сумасшедший? Было, как во сне, жутковато: в снежной морозной пыли, обнаженные, мелькают ступни, тянется по снегу цепочка узких, не человеческих и не звериных, следов. Такие не увидишь зимой.

А в ушах моих стоит высоким звоном резкий Лешкин голос:

— Плетнева-а! Смотри, как я могу-у-у!

Судя по длине оставленного следа, он не долго бежал. А мне казалось — целую вечность, сто километров.

Никонов впрыгнул в свои валенки на дороге, впереди нас, и понесся дальше, не оглядываясь, к своему дому в наш переулок, гогоча и выкрикивая победно.

Мы с девчатами постояли, поглядели ему вслед, и Галия покру-

тила пальцем у виска: мол, того, парень, не в себе. И я пошла к своему дому налево, а Тоня и Галия — прямо, в свои деревни.

Если Лешка хотел, чтобы я пожалела, что не пошла с ним в лес, то он ничего не достиг. Но если хотел удивить меня, то это ему удалось. «Наверное, он бы мог быть храбрым разведчиком, — думала я. — Может притвориться кем хочет. И не боится босиком по снегу. А носков-то на нем нет, — вспомнила я, — валенки на босу ногу, вот пятки-то и с полоской. Эх, лучше б он не бегал по снегу и ко мне не приста-вал», — с тоской подумала я. И здесь покривила душой: все-таки мне было приятно. Это ж он мне кричал: «Плетнева-а! Гляди...»

* * *

За хворостом нам, девочкам, так и не пришлось поехать. Учителя решили, что это дело чисто мужское. Ребята гордились и хвастались, как им было весело. Как они друг друга на санях возили по очереди, да на раскатах вываливались, в снегу валялись, топор в снегу утопили, искали его, вымокли все, потом костер запалили, сушились. Так что, выйдя в лес затемно, в семь утра, потемну и домой вернулись. Хворосту хорошего привезли: сухого и довольно-таки крупного.

Мы слушали и завидовали.

Но зато нам, девочкам, достались дежурства на кухне — поварская доля.

Если б не холод... На школьном дворе стояла небольшая избушка. Как-то раньше мы ее и не замечали. И вдруг она обнаружилась! Может, поповская летняя кухня или каморка церковного сторожа. Там выложили плиту, вмазали в нее котел ведра на три. Под маленьким единственным оконцем сколотили широкую полку от стенки до стенки — разделывательный стол. Вот и кухня готова. Или, как говорил военрук, «котлопункт». Но холодно здесь было как-то особен-но. Даже когда плита топилась вовсю. Может, так было потому, что овощи, то есть картошка, были мороженые. Почему она была непре-менно мороженая? То ли хранить ее было негде, то ли по дороге с колхозного склада замораживали, но из мешка с картошкой, кото-рый стоял в холодной школьной кладовой, сыпались в ведро дежур-ного словно бы стальные, гремящие кругляшки, а не живые карто-фелины. И что было с ней делать? Она обжигала пальцы, нож с нее срывался. Придумали мы с Тоней так: дождались, пока вода

в котле как следует согрелась, начерпали в ведро и обдали замороженную картошку. Теперь шкурка с нее сползала, как с молодой, даже еще лучше.

Правда, руки сначала обжигало, в избушке пар ходил пластами, как в бане, картошка едко пахла, так что в носу свербило и мы чихали, но дело пошло.

Очищенную картошку мы промывали еще раз, а потом ее надо было резать, хотя бы пополам. И тут снова мученье: картофелины сверху были склизкие, как только что выуженный ерш. Сверху склизь, а под ней — ледяная твердость. Картошки выпрыгивали из-под пальцев, словно живые, нож выворачивался под рукой. Среди щепок и хвороста на грязном полу мы настигали беглянок, полоскали их опять в двух водах, — жалко было терять картошку! Кончики пальцев уже онемели: хоть держи в кипятке — ничего не почувствуют, а вода в котле от мороженой картошки перестала кипеть. А время шло, уже кончался второй урок, и мы с ужасом видели, что не успеем сварить суп к большой перемене.

Мы поглядели с Тоней друг на друга, на кучку еще не изрезанной картошки, и Тоня сказала:

— Ладно. Что ж делать. Ведь не сидели сложа руки. Пусть большую перемену перенесут за четвертый урок.

И я побежала в учительскую — сказать. Дежурил по школе в тот день военрук.

— Как так, Плетнева, — сказал он, подымаясь из-за стола и расправляя шинель под ремнем, — как так не успеваем?!

Я стояла перед ним несчастная и виноватая. В пальцах будто мелкие паучки ворошились, косточки мозжило. Глазами я упиралась прямо в знаменитую пряжку военрука, ярко блестящую на желтом ремне, видела ворсинки его шинели — серые и белые, серебристые, ощущала крепкий запах махорочного перегара (от папы он приятный, а тут просто гадость!), и злость во мне подымалась на непонятливость этого человека.

— Как не успеваем? Вода не кипит! Не кипит, и все! Мороженная она, — сказала я, не подымая головы и не разжимая стиснутых зубов.

— Это вода-то? — усмехнулся военрук. — Ну пойдем, — сказал он и тронул меня за плечо.

Я резко повела плечом и побежала бегом к Тоне.

— Эй-э! Да тут и Антипова! — удивленно протянул Силантий

Михайлович. — Что ж ты, Антипова, панику порешь? Добро бы, Плетнева, она дома не хозяйка, а ты-то печь умеешь обрядить.

— Так у нас, Силантий Михайлович, мороженой картошки, слава богу, еще не бывало, — с достоинством ответила Тоня. — Не знаю, как она варится.

— Вот теперь знай. Мороженая, почитай, — наполовину сваренная. Мороз ее уже заварил. Долго не закипает, а закипит — так уже тут тебе и готова. Давайте сейчас побольше огня, чтоб гудело.

И военрук принялся сам ломать мелкий хворост. Да быстро, споро. Большие руки его с прокуреными до темной желтизны ногтями так и мелькали.

И я тоже бросилась подбирать щепки потоньше и бросать в топку. А Тоня принялась промывать серое мелкое пшено для засыпки, чтоб сразу, как закипит вода, бросить его в котел.

Силантий Михайлович так искусно заправил плиту мелким хворостом, что она и впрямь загудела, как огромная самоварная труба под хорошей тягой.

Я опустила руки, завороченно слушая это гуденье, ощущая, как все предметы вдруг стали на свое место, подчиненные человеку: картошка доспевает, огонь в плите гудит, вода в котле кипит. Кипит ли?

Я заглянула в котел, но плотный пар, словно туча, не давал увидеть, что там делается.

— А ты, Плетнева, лучше плиту подкармливай. А будешь долго на воду глядеть, она назло не закипит, — поймал меня на безделье военрук.

И я взялась за хворост. «Эх, зря мы напугались, что не успеем, — думала теперь я. — Получается, будто сами не смогли. А ведь сделали самое трудное — картошку такую начистили и нарезали, воду нагрели. А получилось, что нас военрук выручил».

Вода скоро закипела. И глядеть на нее не надо было, чтоб это понять: сквозь натужное сипенье пара все слышали ровное, низкое бормотанье самой воды. Закипела, матушка! Заклокотала!

— Ну вот, — удовлетворенно сказал военрук. — Порядок. Я пошел.

И он ушел. А я запрыгала вокруг Тони и заорала:

— Котлы кипят кипучие! Пары парят паручие! Супы сипят сипучие! Урра!

Тоня засмеялась, не раскрывая губ. Потом она, отворачиваясь,

уберегая лицо от пара, засыпала в котел пшено, бросила пригоршню соли. Вот и заправили суп. Теперь пятнадцать минут — и готово.

Когда зазвонили на большую перемену, мы начерпывали в два ведра суп большим черпаком на длинной палке. И вот уже, блестя глазами от любопытства и нетерпения, в дверь кухни заглядывают дежурные по классам. Наши — Нурулла и Галия.

— Давай обед! — кричит Галия. — Нам сверху давай, пожирнее, раз свои повара!

— Ишь какие хитрые, — обижается девчонка из шестого, сразу попадая в Галиин капкан.

— Ой, а ты жирное любишь? — подняв высоко свои тонкие брови, искусно разыгрывая удивление, смотрит на нее Галия. — Ну тогда, конечно, первое ведро — тебе! Тебе, тебе, и не спорь теперь!

И, взяв девчонку за руку, подтаскивает ее к наполненному синеватой жидкостью ведру. А та застыдилась, не ожидая, что ей так сразу уступят, упирается:

— Да ладно уж! Я так!

— Нет, нет, бери это, кызым, бери, дочка!

Но тут вмешивается пара из седьмого класса. На правах старших и главных в школе мальчишка, не разобравшись, в чем дело, грубо бросил:

— Что за шум, а драки нет?

И тут же схватился за дужку ведра, приказав девчонке:

— Давай, Лариска, взялись, а то остынет.

И они утаскивают первое ведро, не обращая внимания на нас. А мы с Тоней и Галией корчимся от смеха, и Галия говорит что-то складное по-татарски, а нам переводит:

— На дворе у соседа и курица кажется гусем, а гусь — индейкой. Это у нас поговорка есть такая. Ты что, не знаешь, что жир от картошки и сверху и снизу одинаковый? — подталкивает она локтем шестиклассницу, и они уносят ведра с нашим супом.

Мы спешим за ними следом, чтоб увидеть, как наши едят, что говорят. Да и нам есть уже хочется.

Как смешно в классе! На учительском столе дымится ведро с супом. Перед каждым на парте миска. Накануне всем велели приносить с собой миску и ложку. Все по очереди, начиная с последних парт, подходят к столу, и Галия, каждый раз аккуратно взболтнув черпаком со дна, чтоб гуща шла равномерно, наливает в подстав-

ленную миску. А суп — горячий! Уж чего-чего, а этого у нашего обеда не отнять.

Конечно, ни миски, ни ложки не принес один Никонов. Теперь он ждал, когда поест Карпэй, и издевался над ним:

— Ты, Кось, смотри ложку не проглоти — мне нечем будет хлебать! — И заглядывал ему в плошку.

— Эй, поварихи! А чегой-то там такое синенькое-голубенькое? Это, поди, Плетнева цветочков-василечков наготовила?

— Поглядим, что ты наготовишь, — мрачно пообещала я ему.

— Уж я вам наготовлю! Я вам курицу разварю, вот только бы ворону поймать!

Мы с Тоней тоже получили по порции, и я поняла, отчего Лешка Никонов плел про цветочки-василечки. Мороженная картошка выглядела грязно-голубоватой, стеклянистой, полупрозрачной. А уж вкус... Суп был сладковатый. Скрашивало дело пшено. Оно делало похлебку мучнистой, а потому вроде бы сытной.

— Ребята, а у меня молоко есть. Кому забелить? — сказал кто-то из Домоседовых.

И пошло!.. Ребята и раньше приносили с собой чего-нибудь поесть-перекусить, особенно те, кто из других деревень приходил. Кто пару картофелин, кто лепешек из лебеды — черных, как вар. Молоко же многие прихватывали в небольших аптечных пузырьках или четвертинках.

С молоком и вовсе похлебка наладилась. Тут уж и лакомства пошли на всех: кто-то жареным горохом наделял, кто-то конопляное семя сыпал в подставленные горсти. Помаленьку, а все равно здорово. Конопля жареная — это же прелесть: аромат густой, вкус сдобный, маслянистый, так и похрустывают на зубах прожаренные тонкие оболочки круглых коноплюшек.

Одним словом, таковой пошел пир — на весь мир. Еле-еле в большую перемену уложились. Дружно стало в классе, хорошо, тепло. Все разрумянились, глаза блестят. То-то я радовалась, что мы с Тоней были первыми поварихами. А все тягости с коченеющими руками, скользкой, мокро-ледяной картошкой забылись, будто этого ничего и не было.

ГРАНАТЫ

Да, в большую перемену мы походили на дружную семью, собравшуюся на обед, где все общее: каждая корочка хлеба, пузырек молока, горсть конопли. И много их минуло — больших перемен. Уже и весь наш класс отдежурил. Некоторые девчонки вместе с мальчишками работали на кухне, и никто никого не обижал. Но это только за работой да во время обеда. А так все равно незримая граница делила класс на девчат и мальчишек, и переменами (кроме большой) владели мальчишки. Мы были как два разных народа, говорящих на разных языках и не понимающих друг друга. Я иногда думала, что это только мне мешает, что только мне хочется, чтобы все играли вместе, без дерганья за косы, без озорства и насмешек. Думала так потому, что наши девчонки, казалось, презирали ребят глубоко и искренне.

— Ты что как мальчишка? — Это было самое оскорбительное, что могла одна девчонка сказать другой.

Так говорили, когда хотели упрекнуть друг друга в каком-либо неумении, неловкости, несообразительности. При этом девчонки нимало не горевали, если не умели что-то такое, что хорошо делали мальчишки. Например, кидать гранату на военном деле. Правда, многие умели. Особенно здорово получалось у Галии. А вот у Тони — у Тони, которая все могла и умела — не получалось! Замах у нее был такой неловкий, прямо-таки совсем уж девчачий. Как-то из-за спины, нелепо выворачивая локоть. И ее граната летела больше вверх, чем вперед, и падала чуть не перед носом у нее.

Военрук сердился, говорил, что будь у Тони боевая граната, она, Тоня, давно была бы на том свете. Силантий Михайлович аж кричал, краснея лицом и шеей, показывая, как надо ставить ноги, как отводить плечо вместе с откинутой рукой, вместе со всей рукой, а не от локтя.

Но у Тони не получалось. Так же, как и у меня. Но я стыдилась и мучилась, что не могу как надо. А Тоня с достоинством говорила:

— Не мальчишка же я, Силантий Михайлович!

— А Галия! — кричал военрук. — Она девушка тоже, не хуже тебя! А бросает как! Снайпер!

— Ну так что ж, что Галия. У нее, значит, такая способность, —

отвечала Тоня. И по всему было видно, что мальчишеские ухватки Галии ей и даром не нужны.

А я мечтала о таких способностях страстно! Моя правая рука болела и в плече, и в локте, и в кисти. Больно было писать, а я все бросала разные предметы — училась. Бросала снежки, палки, осколки кирпича. Вроде уже и замах был у меня как надо, а граната все летела недалеко, не сильно.

Другие наши девочки — Душка, Вера, Нина Иванова, — как и Тоня, не переживали свое неумение. Правда, Верочка как-то вдруг обучилась. И сама над собой посмеивалась:

— А Матвеева-то — как мальчишка!

Силантий Михайлович ставил нам тройки за метание гранаты. При этом пояснял: «Только за старание, а так вы и двойки не стоите». И мы уж и не чаяли, когда минует этот раздел нашего военного обучения. Тем более все говорило о том, что, может, идет последняя военная зима. Летом наши так наступали — что ни день, то город! Прямо привыкли к этому. Невидимая рука, которая сжимала тебе горло постоянно, с тех пор как началась война, ослабила хватку. Как раз то обстоятельство, что дышать стало легче, вольнее, просторнее, и давало понять, как душила нас всех та невидимая, страшная рука. Но хоть война явно повернула к победе, кто ж его знает, вдруг да понадобится нам всем завтра идти на фронт! И вот где пригодится девчонкам умение метать гранаты. Вина моя, мое неумение мучили меня и во сне.

Однажды мне приснилось, будто я сижу одна в маленьком окопчике. А на мой окопчик идут шеренгой немцы. Все в сверкающих новых сапогах. Я именно это хорошо запомнила: при каждом дружном взмахе их ног на голенищах так же дружно, разом, вспыхивали ослепительные зайчики. Немцы не стреляли, шли прямо, во весь рост. Похоже, что я видела во сне психическую атаку из кинокартины «Чапаев». А на бруствере окопчика передо мной аккуратно, как банки на полке в магазине, стояли гранаты рукоятками вверх. Точно такие, как на наших военных уроках: гладко выточенные из сливочно-кремового липового дерева. Но во сне я знала, что это боевые гранаты. И я хватала их одну за другой и швыряла в немцев. С ужасом чувствовала при этом, какая вялая, бессильная моя рука: граната не летела во врагов, а просто падала сразу за окопчиком. И не рвалась! Ни одна! А немцы все ближе...

Ах, какое это было счастье — проснуться! Я поняла, что нет немцев, нет гранат, что все это — сон. А я лежу на своем соломенном матрасе под фикусом, лапчатым фикусом тети Ени. Вокруг тишина и мирная темнота, а за окном зима, снег чуть не до крыши. И даже близко нет никаких фашистов. И мало того, что близко нет, гонят их наши там, на фронте. И гранаты не вырываются из крепких рук бойцов, а все летят во врагов, и враги не шагают, нагло сверкая сапогами, а бегут, закутавшись кто во что, а на ногах у них не сапоги, а соломенные эрзац-боты, как рисуют на карикатурах в газете «Правда».

«А вот если б я, — думаю я, пережив счастье пробуждения, — была там, на фронте, и если б все наши девчонки-неумехи были со мной в одном отряде, тогда бы что? Не удержали б мы свою позицию, перебили бы нас фрицы как хотели! И сами пошли бы вперед...»

Кое-как я заснула. Но прежний сон вернулся. Только теперь немцев не было видно. Однако я знала: они где-то здесь. Притаились. И надо их забросать гранатами. Я беру гранату, и снова рука моя бессильна. Но все равно летят какие-то гранаты далеко вперед, свистит воздух надо мной... Значит, кто-то кидает их из-за моей спины?! Я оглядываюсь и вижу, что сзади — то один, то другой — поднимаются наши мальчишки: и Костька, и оба Домоседовых, и Нурулла, и все-все! И они здорово — резко и сильно, с плеча — размахиваются, и, со свистом всверливаясь в воздух, граната несется! Летит низко, по-над землей, как учит Силантий Михайлович, вперед, во врага! Жалко только, что я не слышу и не вижу, рвутся ли они там среди ненавистных фрицев...

Потом утром, в подробностях вспоминая сон, никак не могла вспомнить, был ли среди ребят Лешка Никонов. Нет, не видела я его. А ведь он, пожалуй, лучше всех бросал гранату в цель. Наверное, решила я, оттого не увидела его, что он мне и так, в жизни, надоел хуже горькой редьки. Так сказала я себе, хоть стало мне жалко, что не видела я Лешки в таком хорошем сне. Вот какая я мстительная! А он еще босиком по снегу бегал, кричал мне: «Плетнева-а! Гляди, как я могу-у!»

И тут пришло мне в голову соображение: пожалуй, когда я жалею, что мы в классе не дружим с мальчишками, больше, чем о других, думаю я о Никонове. Так я себя подловила. Но в

то же время это и понятно. Он больше всех мне и досаждал. И не поймешь его: то, Плетнева, гляди, он подвиг совершает. То, Плетнева, берегись: он все мои учебники исписал своими инициалами «АИН», что значило: Алексей Иванович Никонов. И не углядишь за ним: уж и звонок прозвенит, все за парты сели, и Лешка тоже, но только вытащу я учебник, как — ф-р-р! Ястребом налетает Лешка откуда-то сзади, и — р-раз! — его кривляющийся «АИН» красуется на моем учебнике.

Кривые, острые буквы, рвущие бумагу. Рвет бумагу, конечно, перо, которым Лешка ставит свое клеймо, но мне кажется, что это они сами — ехидные, остроугольные буквы. Ну, вот как можно дружить с такими иродами?

— Каин ты! — кричу я Лешке после очередного его набега. — Каин, а не АИН, вражина!

А он доволен и хохочет.

— Я тебе все странички изрисую, Плетниха! — глумится он.

Хорошо еще, не липнут ко мне его словечки: «Плетниха», например.

Но вот большая перемена. Дежурные вносят ведро с дымящимся синеватым супом. Звенят миски, глухо постукивают деревянные ложки. Идет по кругу чья-то бутылочка с молоком. Мир на военной тропе индейцев!

Больше всех радуют наши обеды, конечно, директора. Если его урок сразу после большой перемены, он настроен особенно благодушно. Сразу начинает шутить, по своему обыкновению что-нибудь насчет еды или нашего сытого-довольного вида.

— Да-а,— ехидничает он,— теперь вам разве до русского языка! Подремать бы теперь с часок, а?

И мы охотно его поддерживаем:

— Ой, Мелентий Фомич! Вот бы! — Это Нина Иванова.

— Да на печку б, а, Мелентий Фомич? — ввертывается резкий Лешкин голос.

— Это да-а! Поспать — оно хорошо! А ежели не спится, это не годится,— солидно басит Домоседов, Константинович.

Мелентий Фомич косится на него, морща губы, с таким насмешливым видом, что мы все заерзали, предвкушая очередной «диспут».

И Мелентий Фомич начинает:

— Уж ты, Константинович, скажешь, как припечатаешь. И ни-

куда тут не деться. Поди-ка к доске, парень, да напиши, что сказал: «Ежели не спится, это не годится».

— Всегда вы так: как Константиныч, так сразу и к доске,— ворчал Шурка, неспешно выгребаясь из тесной для его солидного полушубка парты; он выкидывал в проход сначала ноги в толстых и высоких, за колена, добротных валенках, а потом в несколько приемов, дернувшись сначала одним, потом другим плечом, помогая себе руками, подтягиваясь и натужно отталкиваясь от парты, будто он был там приклеен, оказывался наконец на ногах.

— Полушубок-то надо потолще надеть на себя,— с интересом наблюдая за действиями Константиновича, говорил учитель.— Тогда и вовсе будем тебя домкратом из парты вызволять.

И опять все рады поохотать.

Наконец Александр у доски и, царапая ее мутную поверхность тощим, похожим скорее на камень-известняк мелом, выводит: «Ежели не спится, это не годится». И пишет оба глагола с мягким знаком.

— Ну-ну,— говорит одобрительно коварный Мелентий Фомич, и кое-кто из сообразительных учеников уже пофыркивает, догадываясь, как попался Шурка, как подорвется он сейчас на мягких знаках в глаголах.

— А что, Домоседов,— спрашивает Мелентий Фомич,— ты это определенно так думаешь или того... не очень?

— Ну! — четко отвечает Домоседов.

— Что «ну»? «Ну» — определенно или «ну» — неопределенно?

— Определенно!

— Так, так... Плохи твои дела: значит, определенно — сопьешься. Домоседов таращит глаза, ничего не понимая. И за спиной Мелентия крутит пальцем у виска: дескать, того... А класс уже шумит, как кусты под набегающим вкрадчиво ветром. Но еще не все догадались, и нужен какой-то сигнал, подсказка, тогда догадка станет общей и смеху не миновать.

Сигнал дает Лешка. Ведь ничего не учит, а приметливый!

— Вона-а! — протянул Лешка во весь голос.— И правда фокус! Домоседушко, ты спиться наладился? Смотряй, по миру пойдешь!

Когда мы отсмеялись, Мелентий Фомич, очень довольный, пояснил:

— Вишь, что значит... Мягкий знак, всего знак один, а слово-то вышло совсем другое. И наклепал ученик на себя, чего и в уме-то не держал. Эхма! Думал про «спать», а вышло про «пить». Вот

оно что такое малограмотность... Что это у нас за форма глагола получилась на доске? — обратился он к Шурке.

Тот что-то промычал себе под нос и стал стирать мягкий знак.

— Да ты не стирай! С мягким знаком какая у нас форма? «Пить», «спать», «ехать», «умываться»... Ну?

Класс тянул руки. Шурка молчал.

— Иванова!

— Ставим вопрос к глаголу: «пить» — что делать? Раз можно поставить такой вопрос, значит, это неопределенная форма глагола, — очень счастливая, что знает, ответила Нина.

— Видишь, что! — с укоризной сказал учитель Шурке. — Ты поставил мягкий знак и получил неопределенную форму: что сделать? «Спиться». Пить, пить — и спиться. А должен был написать: «спиться», то есть от глагола «спать» — в безличной форме. «Ему спится, им спится». Запомните: в глаголах безличной формы, когда обозначено одно действие и нет никакого действующего лица, мягкий знак не пишем! Поэтому в слове «хочется» этот знак не бывает никогда! «Мне хочется», «ему хочется». Вот так. Или «смеркается». Видите, эта форма совпадает с формой третьего лица единственного числа в настоящем времени: «Он умывается», «на улице смеркается».

И Мелентий Фомич, ничего не поставив в журнал Домоседову, вызвал к доске Карпэя писать очень длинную фразу:

— «Спится мне, младшеньке, дремлет, клонит мою голову на подушечку».

Никонов, конечно же, зафыркал:

— Карпэй-то наш! Младшенька!

Ясно дело, что за Карпэем к доске вызвали Никонова.

— Пиши: «Не смеяться бы вам, сударь, а плакать горькими слезами». «Сударь» возьми запятыми. Это обращение, мы еще не проходили.

Лешка все это выслушал и стоял, не начиная писать. Стоял, по своему обычаю, слегка закинув голову, отчего вид у него был отважный и даже немного надменный.

Я подумала: если б надеть на него латы и шлем, получился бы стройный рыцарь. А если б гимнастерку и пилотку со звездой — тоже было б хорошо. Когда он не кривлялся, лицо у него было ничего себе, не противное.

Мелентий, не слыша стука мела за своей спиной, обернулся к доске:

— Чего не пишешь?

— А чё писать? Я и так знаю: «смеяться» — что делать? — с мягким знаком.

— Правильно. Вот и пиши.

— Не успею.

— Что не успеешь? — очень удивился директор.

— Счас звонок, — нагло ответил Лешка.

— А ну давай пиши! — вдруг рассердился Мелентий Фомич. — Ишь обнаглел ты как, Никонов! Пререкаешься!

— Мне-то что! — пожал узкими плечами Лешка и еще выше вздернул подбородок. — Все равно счас звонок. Ну да ладно... — И, привстав на цыпочки в своих широких валенках (валенки при этом стоят как стояли), вытянувшись как можно выше, Лешка принялся выводить от самого верхнего угла доски свои острые, злые буквы.

Он успел написать лишь «Не смеяться», как за дверью захохотал, залился поповский колокольчик. Не знаю уж, правду ли, но говорили, что наш медный колокольчик остался еще от церковноприходской школы.

Лешка все-таки до чего же вредный! Наверное, учителю все настроение испортил: поспорил и оказался прав. А Мелентий Фомич так увлекся уроком, не заметил, как время прошло. Просто замечательный человек Мелентий Фомич!

СУМЕРКИ

В зимний день сумерки скорые. Только из школы придешь, поешь, только сядешь за уроки — глядь, уж и плохо видно. Тем более, тетрадей настоящих, белых, у нас не было. Такие держали только для контрольных. А для домашних и классных работ шло что только ни попало, лишь бы можно было писать да потом буквы-цифры различать. У меня, например, старые мамины книги, разграфленные на клетки и линейки для учета племенных свиней (мама у меня зоотехник-животновод). В этих книгах листы заполнялись лишь с правой стороны, а на левой вполне можно писать. Только бумага была синеватая или сероватая, поэтому, чуть потемнеет за окном, и писать становится трудно. Но я успевала почти все засветло. Иногда выходила на улицу, но что одной делать? У Лены в седьмом классе



уроков было больше, идти к Шуре Омелиной не хотелось — что-то нам с ней становилось теперь скучно. Она больше с Верой Зозулей шепталась и хихикала. Я выходила за ворота. Сумерки...

Нет ничего печальнее, чем деревенская улица в зимние сумерки, когда еще не совсем темно и потому огня не зажигают, экономя керосин. Темные избы нахохлились под снежными козырьками-нахлобучками, уткнулись в сугробные палисадники. Все неподвижно, застыло. И трубы не курятся — с утра протоплены все печи, разве кто разожжет печку-подтопку для тепла. И один или два сиротливых, слабеньких дымка, еле различимых на сизоватом угрюмом небе, только усугубляют мертвенную неподвижность села. Кажется, что в избах никто не живет, что там все выстыло и мороз такой же, как на улице. А еще хуже, если покажется, что под каждой крышей в угрюмом молчании сидят кругом стола люди, сцепив замком руки под подбородком, склонив головы и не глядя друг на друга. О чем они молчат? О ком? О своих убитых? О своих погибших?

Лиловые тени густели, хотя, собственно, теней не было: в эти часы

не могло быть теней без луны и без солнца, без источника света. Но лиловым угрюмым цветом наливался снег, только чернели глазницы окон, пятна ворот, полосы заборов. И не было сил шевельнуться, шагнуть, пойти. Коченела возле ворот, заколдованная сумерками. Представляла себе, сколько снежного холодного пространства между мной и домом в совхозе.

Набегал ветер, лубенели под его дыханием щеки, губы. Березы, хрупкие от мороза, поднимали жалобный зябкий шумок, снег, срываясь с верхушек сугробов, издавал слабый посвист, морозный шорох. Ветер — это все-таки движение, жизнь.

Я возвращалась в избу. Там Лена из последних сил вглядывается в учебник, держа его наклонно к окну, чтоб улавливать бледный отблеск, идущий то ли от снега, то ли от неба.

— Лена, ты что, даже смотреть на тебя страшно, еще ослепнешь, — говорю я ей.

— Да ничего, — отзывается она безжизненно, равнодушно.

Я сажусь против нее, мы молчим, слушаем, как на дворе усиливается ветер. Мы смотрим в окно. Это самое светлое пятно в доме. Углы комнаты заполнила тьма.

Из тоски и молчания в голове моей складываются строчки. Они родятся сами собой, без моих усилий:

В комнате копятся сумерки,
Сверчок за печкой трещит.
Ветер злится на улице,
В трубе завывает, гудит.
Роем снежинки кружатся
За темным нашим окном,
Жалуются березы
Ветру все об одном.

Я совсем замерла у окна, боясь спугнуть слова, которые сами пришли ко мне. Мне хотелось, чтобы они не кончались, — так хоть что-то происходило, хоть что-то шло... Но больше слова сами не приходили. Пришлось мне придумывать. О чем жалуются ветру березы? Что им холодно, что им хочется тепла и весны? Что им надоела зима? Конечно, об этом. О чем же еще? Но стихи не складывались. Я твердила про себя:

«Ветер. Ветер...» В конце концов вышло вот что:

«Ветер! Когда перестанешь
Нас до земли сгибать?
Скоро ли ты устанешь
Веточки с нас ломать?»

Ужасно жалкие, беспомощные слова! Глупость одна. Но надо же было чем-то кончать! И я сложила про себя все, что на самом деле произошло дальше:

Пришла со двора тетя Еня,
В лампе огонь зажгла.
На табуретку села,
Веретено взяла.

Тут я сама себя развеселила, подумав: знал бы папа об этих моих упражнениях, он бы сказал: «Ну, не даром же ты чуть-чуть не родилась в Киргизии: ведь настоящий киргиз поет обо всем, что видит вокруг!»

А дальше я сочинила тоже почти что правдиво:

«Что приуныли, девоньки? —
Тихо спросила нас, —
Или плохие вести
Из дому пришли вчерась?»

Почти что, говорю я, потому что тетя Еня никогда не сказала бы «вчерась». А потом, никаких вестей мы вообще из дому не получали. Сами же мы туда ездили и ходили каждую субботу! Но никому, кроме меня самой, не суждено было услышать эти сумеречные стихи, а тем более прочесть. Я не собиралась их записывать. Понимала, что стыдно рифмовать «сумерки» и «улице», хоть и получилось это помимо моей воли.

Но вот приходится о них говорить, потому что они оказались пророческими. Та самая неправда о плохих вестях сбылась на следующий же день.

КНИГА

Это случилось на завтра. А сейчас продолжался скучный вечер. Дальше ничего не сочинялось. Да и лампу зажгли.

Я, отвернувшись от света к темному холодному окну и чуть

приоткрыв занавеску, смотрела, как отражается в черной полоске стекла красно-золотой зрачок лампы, и про себя повторяла стих, чтоб не забылся.

И вдруг каким-то странным голосом, будто сдавленным, глухим, заговорила тетя Еня, медленно, словно через силу произнося слова:

Воет ветер,
Светит месяц:
Девушка плачет —
Милый в чужбину скачет...

У меня мурашки побежали вдоль спины; думаю, если б на мне была шерсть, как на звере, то, наверное, сейчас она стала бы дыбом от ужаса: тетя Еня читает мои мысли! Вдруг заговорила про ветер! Я уставилась на тетю Еню, и Лена оторвалась от своей истории и тоже глядит на нее. И молчание нависло над нами. Я с ужасом, Лена с любопытством ждали: что это? Что дальше будет? А хозяйка, взглянув на нас, усмехнулась, довольная нашим вниманием, и наконец пояснила:

— На Дашу глянула, как она у окна тоскует да ветер слушает, и вспомнилось...

Значит, правда читает мои мысли! Оказывается, это может быть! Оказывается, это страшно...

— А что это? Песня? — Лена спрашивает, у меня же язык онемел.

— Песня... — многозначительно, важно кивнула тетя Еня. — Только ни разу не пришлось мне слышать, как ее поют... — Опять помолчала. И, понизив голос, поведала, как тайну: — Из книжки песня... Али не знаете? Да где ж... Книга редкая...

— А что за книга? — Это опять Лена.

А я чувствую себя, как во сне наяву. Будто они — Лена и тетя Еня — специально для меня завели разговор, чтобы дать мне знать о чем-то страшном, тайном и таком важном, что, узнав, я вдруг пойму неведомое, жуткое. (То-то Лена сразу встрепенулась, как тетя Еня заговорила, а то молчала.)

— Там и дальше есть слова, — не отвечая Лене, молвила тетя Еня и тем снова подтвердила мою догадку, что они сговорились и нарочно затеяли для меня этот разговор. Будто хозяйка подсказывает Лене, что не тот она вопрос задала. И намекает, про что теперь надо спрашивать. И Лена слушается.

— Какие еще?

— А вот какие, — опять понизив голос, говорит хозяйка и, помолчав, рассказывает:

Ни дева, ни ветер
Не замолкнут:
Месяц погаснет,
Милый изменит!

— Как наговор! — восклицает Лена звонко, ничуть не страшась страшного.

— Рассказывают вам — песня! Никакой не наговор. В книге той так и написано: «Песня»!

Опять подсказывает Лене: мол, вот теперь спрашивай про книгу! Мне так и кажется, что слово «Книга» у тети Ени прямо с большой буквы идет... Что для нее — это книга всем книгам... Но Лена уже задает нужный теперь хозяйке вопрос:

— Книга-то какая?

— Книга-то такая, каких больше нет. Не пишут таких-то больше... — И молчит.

Но, стиснув зубы, я терплю все, жду, хотя уже дрожь пронизывает меня, пробирается, кажется, в самые кости.

— Мне эту книгу-то вроде судьба послала. Ночевал как-то у меня проезжий человек. Стал расплачиваться — ан денег у него и нет! То ли, говорит, на прежней квартире где обронил, то ли что. Винится передо мной и говорит: «Оставляю я тебе книгу свою любимую. Не пожалеешь. Не вместо денег — из благодарности». Такой-то вежливый человек. Что ж с ним поделать! Проводила его с богом. Лежит его книжка, на вид немудрящая, месяц, второй. Читать-то больно некогда. Но как-то взялась. Да и поняла: не зря говорил тот человек. Не зря и ко мне без денег завернул. Чтобы, значит, книгу ко мне занести.

Так говорила хозяйка, никогда при нас ни разу не перекрестившаяся, будто в вере своей признавалась, будто в этой книге для нее все и открылось...

Что же? Что, наконец?!

— Да-а-а... Читаю я, не вам чета, не шибко. Зато каждое слово так на душу и пало.

(Так все и не говорит, что же за книга.)

— Да вы, может, больше-то и не читали, других-то? — засомневалась Лена.

— Как же! Я и в ваши заглядываю книжки. Вот вы тут из рук друг у дружки тягали... эти мушки-терки! — засмеялась вдруг она легонько своей шутке.

— «Три мушкетера», что ли? Надо же — мушки-терки! — расхохоталась Лена.

— Она самая! Так и что? Сказки, придумки. Легкая книжка, хоть и толстая. И, правду сказать, занятная.

— Тетя Ень! Да ваша-то что за книжка? — взмолилась уже замученная Лена. (А я-то, мне-то каково!) — Как называется?

— А нету ей названия. Только обозначено, про кого. И то в скобочках. Про Вадима, — произнесла наконец хозяйка, выговорив простое это имя с великой бережностью. — А написал Лермонтов. — Как странно было слышать фамилию поэта, привычно обыкновенную, по-свойски школьную, от этой женщины за прялкой, произнесшей каждый ее слог с ударением, отдельно, будто неловка, невыговорима для ее губ и языка известная фамилия, как для иностранки.

Меня отпустил тайный ужас. Вставшая дыбом шерсть на загривке опустилась, улеглась. Лермонтов! Не какая-нибудь страшная, древняя книга. Правда, про Вадима я не читала. И еще не слышала и даже сомневалась теперь — может, тетя Еня чего-то путает?

— А нам можно почитать? — разлепила я наконец губы, а голос получился хриплый. Оттого, что молчала долго.

— Даже интересно мне — дать вам почитать.

И опять сидит — ни с места! Прядет!

Я вскочила:

— Ну, тетя Еня! Скажите где, я сама возьму! Вы сидите, не вставайте.

— Что, не терпится? То-то же! — с какой-то даже угрозой сказала хозяйка, и глаза ее блеснули гордо.

Она встала, на верхней полке своего резного буфетика, где стояли разноцветные толстенькие рюмки, нашарила ключ и неторопливо прошла к сундуку. Двумя оборотами, медленно отомкнула и, приподняв крышку, сунула руку внутрь. Постояла, согнувшись. Видно, искала, перебирала рукой. И — наконец-то! — извлекла завернутый в белый головной платок сверток — книжку. Я боялась, что сначала

она даст ее Лене, как старшей. Но, видно, она все же читала мои мысли и положила небольшую темно-зеленую и будто выгоревшую, слегка порыжевшую книжку передо мной:

— Читай, Даша.

Правду сказала тетя Еня: на корочке были оттиснуты темные буквы: «М. Лермонтов». А на первом листе прямо над текстом стояло: «Вадим».

Я тут же принялась читать. Понятно, что начала как бы сразу за двоих — за себя и за тетю Еню. Потому что хотелось мне проникнуть в ее мысли и понятия. Но скоро увлеклась. И забыла про все. Это была книжка для меня. Потому что она рассказывала про красоту и любовь. Про волю. Про ненависть к угнетателям. Про страшную месть врагам. Про верность, которой не страшны ни муки, ни пытки.

Я читала в этой книге слова, будто сказанные сегодня, сказанные с мыслью о войне, которая идет, и обращенные ко мне, чтобы поддержать мою веру в себя:

«В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра героизма, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он совершает дела, о которых до сего ему не случалось и грезить...»

Я не могла оторваться от книги, пока не прочла ее всю. И была потрясена ее концом; нет, даже не страшной сценой пытки крестьянки-матери, а тем, что у книги не было конца! Обрывалась на полуслове, как раз когда все герои находились в самом неопределенном положении: что будет с красавицей Ольгой, и с Вадимом, и казнят ли мерзкого помещика Палицына... Словно подвешено все на тонком волоске над пропастью — и что будет теперь?! Я сидела, бессмысленно глядя на белую, не занятую шрифтом половинку страницы... На этот внезапный обрыв, за которым ничего нет и уже никогда не будет. «Но почему?! Почему?!» — кричала я безмолвно, глядя в белую пустоту и чувствуя себя страшно и несправедливо обманутой...

Подняв наконец голову, увидела, что прислоненная к печи стоит пустая прялка. И Лена уже в постели. И мой матрац приготовлен для меня под фикусом. Как побитая, измученная и без силы приплелась я к фикусу, не раздеваясь бросилась на матрац. Хорошо, что хоть ничего не надо говорить про книжку, что все уже спят. Но пришлось еще встать, задуть лампу. И только тогда, в кромешной тьме и

тишине, стала я думать, что значит эта книжка для тети Ени. Как она сказала про судьбу — вроде судьба послала ей эту книгу... Почему ей так нравится «Вадим»? Ведь все, про что там написано, совсем не похоже на здешнюю тихую жизнь... Там — борьба, страсти, страшные клятвы и месть... И измена... Ненависть Вадима... Любовь Ольги... Все забыла Ольга: свое унижение у Палицыных, свою клятву мстить и ненавидеть, судьбу отца, горе брата... У меня сердце замирало, когда я пыталась хоть вообразить: какой же должна быть любовь, чтобы пересилить все это... Непонятно. И страшно, если это в самом деле так. Сердце замирало перед неизведанным. Но может, и для тети Ени так?! И она примеривалась к этой книге: ведь в ней все, чего не было в жизни тети Ени, но могло быть! Могло! Потому и пришелся ей по душе Вадим, как свой.

Вот даже песню наизусть выучила, вспомнила я. И будто увидела, лежа с закрытыми глазами, как ходит по избе и по двору тетя Еня, спокойная, чуть медлительная, горделивая. Никогда не засуетится, не уронит достоинства, что бы ни делала.

А что за дела ее? Кормит свою небольшую скотину — кур да овечек, ухаживает за бабушкой, топит печь. Прядет да вяжет. Дела простые. Но что-то знает она про себя... Что-то знает... Потому и носит так гордо свою голову. И смотрит так...

Подумала, что тетя Еня могла бы быть и Ольгой, и той крестьянкой, не изменившей своему слову. Только этого с ней не случилось.

Когда утром я сказала ей, что про нее подумала, шепотом, в чулане, у печки, чтоб никто больше не слышал, она, переставляя ухватом кипящий ключом чугунок с картошкой подальше от жару, озаренная розовыми бликами огня из печи, сказала сердито, не отвечая прямо на мои слова:

— Эта-то! С сыном! У нас ить на Руси дураков не сеют, не жнут. Они сами растут. Экую муку принять за ирода-помещика! — И опершись на ухват, как на копье, добавила, весело глядя на меня сверху вниз: — Нет, Даша, я за Вадима!

Я засмеялась, — вышло у нее как в споре у ребят: я за того! А я за этого!

Но тетя Еня и еще сказала:

— Конечно, то была ее вера и ее слово, это ты правильно оценила. Это по-человечески она, по-крестьянски. Не ветродуем-пустословом. Другое дело, что вера ее глупая...

Я потом эту книгу сколько раз читала. В сундук ее больше не закладывали. А слова про волю выписала к себе в тетрадку:

«Что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу; хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, — жить, одним словом...»

ПЛОХИЕ ВЕСТИ

В школе обрушились на нас те самые плохие вести, которые я своими вчерашними стихами накликала.

Прямо в школу на уроки нам доставили из сельсовета телефонограмму о том, чтобы мы в эту субботу оставались на месте. Не ждали бы лошадь. Не будет лошади. А продукты нам подкинут на неделю.

Само собой разумелось, что идти пешком после уроков нельзя. Строго воспрещается. В конце января, так же как и в декабре, день смеркается рано. В пять часов уже как ночью. А за время войны развелось много волков. Ружья-то у охотников отобрали. А кроме того, что своих прибавилось, появились волки пришлые. Звери ведь тоже спасались от войны. В нашей местности никогда не водились лоси. Никто их не видел, не слышал. А тут они даже в маленькие деревни стали заходить, к стожкам — покормиться сеном. Наверное, и другого зверья прибавилось. Лис, так это точно. Всякий раз в дороге мы видели на снежной целине играющую огненную лиску. «Лиса мышкует», — говорил Степка Садов: играет над мышьиной норкой, а то уже поймала и играет, как кошка.

Зайцев было много. Опушка леса просто истоптана зайцами. Ну, это все хорошо. А вот волки... Они наводили ужас на пастухов. Нападали на одиноких путников и даже на подводы. Заходили и в села.

Моя мама, возвращаясь как-то из конторы поздно ночью, пошла проведать корову. И, подходя к хлевушку, увидела, что на крыше его сидит на корточках человек. Мама окликнула: «Эй, кто это там? Что сидит на корточках человек. Мама окликнула: «Эй, кто это там? Что вы делаете?» Тогда человек поднял опущенную низко голову, и мама увидела, что это волк. Наверное, он хотел разгрести кровлю хлева, как это делал уже, по-видимому, и раньше. Но у нас крыша была не соломенная, дощатая. Волк не знал еще. Мама закричала на него: «Пошел вон! Уходи, волчище!» И стала кидать в него щепками,

комьями снега. И только тогда, и то нехотя, помедлив и подумав, волк прыгнул с крыши по ту сторону хлева. Волки не боялись теперь и взрослых людей.

Рассказывали страшные вещи: как пришло однажды стадо без пастуха, недосчитались и многих овец и нескольких телок. Это прошлой весной. Пошли искать пропавших. И нашли пастуха мертвого и совсем голого, растерзанные клочки одежды валялись тут же. На теле же человека не было ни одной царапины, ни укуса. И не задушен он был: умер от разрыва сердца, когда его одёжу драли волки. А пропавших овец и телок не нашли. Потом только, летом уже, в лесу обнаружили возле покинутого логова обглоданные крупные кости.

Вот почему нам не велено было идти домой после уроков пешком. И почему мы не смели даже отпроситься из школы пораньше: нас все равно не отпустили бы.

Я с тоской смотрела в окно, улавливая в длинных холодных тенях на снегу приметку близких сумерек. Еще было совсем светло, но тени ползли, удлинялись; тень нашей школы заползла уже дальше середины двора. Это значит, шел последний урок.

Вдруг меня резко толкнули в спину. Я вздрогнула, обернулась было, но тут достиг моих ушей сердитый оклик учительницы:

— Плетнева, а Плетнева!

На меня смотрели в упор красивые карие глаза Анастасии Ивановны, она, видно, не первый раз окликала меня и теперь сердилась: вздрагивали тяжелые стреловидные ресницы. Я поднялась, и на меня громом, лавиной обрушился учительский гнев:

— Плетнева, а Плетнева! Долго мне тебя звать? Десять минут невозможно ее докричаться!

Я медленно встала и, возвращаясь из забытья, сказала, о чем думала:

— Темнеет. Мы нынче без лошади...

И в ужасе, что теперь все погибло и нас не пустят, села, не дожидаясь позволения. Щеки мои наливались жаром. Я боялась оглянуться на своих и обреченно смотрела в красивое, злое лицо учительницы, невольно замечая, что ее портит гневный прищур, — лицо, искажаясь, делается старше, жестче.

Однако мои слова вызвали сочувствие в классе: в субботу каждому хочется попасть пораньше домой, бани же топят и вообще... Со всех

сторон понеслись длинные вздохи. Но недаром в школе боялись красивой Анастасии.

— Обезлошадели, совхозные аристократы? — осведомилась она, светлея насмешливым взором из-под ресниц. — Ничего-о! Веселее побежите в сумерки. Они зимой длинные. А то разбаловались лошадыми... Небось вон Антипова да Галиева на своих двоих добираются каждый день.

Она будто и знать не хотела, что Тоне и Галие по три километра надо пройти, а нам — около двенадцати.

И я увидела, как сидящая впереди меня маленькая Вера опустила низко голову, сжала плечи: ей было стыдно за старшую сестру, за ее несправедливость.

Вот интересно, ругаются они дома из-за нас? Вряд ли с Анастасией долго поругаешься. Да и ростом она большая, а Вера — крошечная. Хорошенькая и маленькая, как Дюймовочка. Глаза у нее, как и у сестры, большие, прозрачно-карие, цвета крепкого чая, когда он налит в папин хрустальный стакан. И пухлые, капризные губки, и чистый широкий и высокий лоб. Только сама маленькая. А Анастасия — высока, длиннонога. Смотрит на всех сверху вниз. Я еще не видела женщин красивее, чем она. И руки у нее были прекрасные, лучше, чем у Марии Степановны. Такие руки я видела лишь на старинных портретах у знатных дам в старых бабушкиных журналах «Нива».

Не хрупкие и не маленькие, кисти ее рук были ей по росту, под стать. Удлиненные пальцы округлы, с продолговатыми нежно-розовыми ногтями, украшенными четкими белыми лунками.

Что бы ни делала Анастасия Ивановна, меня завораживали движения ее рук. Брала ли она ручку сложенными в щепоть пальцами, и тогда рука напоминала изящный и сильный хищный тропический цветок, виденный мной где-то на картинке. Опирались ли пальцами о стол, рассказывая нам урок, и тогда кисти рук нежно прогибались, обнаруживая мягкие ямочки у каждого сустава. Писала ли она что-нибудь в журнал, и левая рука празднично покоилась на грубо окрашенном столе, будто внезапно застигнутая сном, и в полусогнутой, притененной ладони тепло, розовато темнела таинственная глубина.

Я могла целый урок созерцать эти руки, удивляясь и восхищаясь ими, как совсем самостоятельными, отдельно от учительницы живущими существами. Теперь я знала, какими были те «барственные

холеные руки», о которых читала в книгах. А ведь Анастасия и Вера были из обычной крестьянской семьи. Их было четверо сестер и трое братьев. Братья сейчас на фронте, две старших сестры, замужние, жили своими домами. Со старыми родителями оставались только Вера и Анастасия. Я никогда не бывала у них, но наши девчата — рядом с Верой жила Душка — говорили, что у них в избе такая небывалая чистота, какую нельзя себе и представить. Что они-де и в коровнике моют полы. А уж в избе — стены светло-желтые, скобленные, как из свежего дерева, и все ухватя, и кочерга начищены, а черенки их выскоблены. И кругом белые кружевные накидки и шторы, даже над печным зевом повешена белая шитая задержушка.

Я вспоминала эти рассказы, глядя на холеные руки Анастасии. Правда, ладошки ее были не мягкие, а, напротив, жестковатые. Однажды было такое: она шла между рядов в классе и дружелюбно похлопала меня по руке за хорошо написанное домашнее задание по арифметике. Загадочной была для меня Анастасия Ивановна. Я восхищалась ею, но не любила. Верку мы никогда не расспрашивали про сестру, неудобно же. Единственное, что мы говорили ей: «Ну и сестра у тебя, Верка, лютая!» А Вера в ответ только посмеивалась. Иногда лишь кричала очередному неудачнику, получившему двойку от безжалостной Анастасии: «А ты учись лучше!»

А сейчас вот Вере было стыдно. Но не Анастасии Ивановне. Она отпустила нас точно по звонку. И мы пошагали. На улице оказалось посветлей, чем виделось из класса, повеселей. И вообще, когда двигаешься, все иначе выглядит. А мы не просто двигались — шли домой. Как только там, дома, могли подумать, что мы останемся, послушаемся! Да одного вчерашнего вечера хватило, чтоб никакие волки, ни метели, ни морозы не могли меня остановить.

СЛЕД В СЛЕД

Ах, сердце билось радостно! Мороз был, день простоял яркий. Сейчас он угасал, но отблеск его еще держался в воздухе той особой прозрачностью, когда все предметы — ближние и дальние — видятся одинаково четко на фоне предвечернего, ставшего матовым, снега и налитого белым, матовым же, светом неба.

Какая-нибудь палка, торчащая над заснеженным коньком крыши

в дальнем конце деревни, охапка соломы, засунутая в верхнее звено лестницы, приставленной к сеновалу, и все ступеньки этой лестницы, и ворона на голой толстой ветке дерева, стоящего уже за околицей, и прясла, окружившие три стога за последней избой,— все будто выписано тонким и точным пером. А в охапке соломы можно даже сосчитать торчащие соломины.

И вот уже и три стога остались у нас за спиной. Ноздри при дыхании слегка слипались. Это признак, что мороз перевалил за двадцать градусов. Но, видать, перевалил немного, потому что скоро уже и дышалось нормально, и лицо согрелось и не чувствовало мороза. Казалось, что щек твоих касается не колючий воздух декабря, а мягкая ладошка апреля. Я скинула варежки, Степа и Энгельс развязали уши у своих шапок.

— Ну что,— говорил довольно Степа,— раз тепло, жить можно.

— А встретим, так нас много! Закричим, засвистим — небось не сунутся! — Энгелька обрадовался, что кто-то первым заговорил, и выдал свой тайный страх.

Все сразу поняли, про кого он. Переглянулись, засмеялись. Энгельс невольно выдал общую тайную мысль: «А если волки?»

И поняла я, что все мы сейчас как один человек: все одинаково видим и понимаем, одинаково чувствуем и об одном думаем. И тогда будто обострилось мое зрение в шесть раз, и насторожился в шесть раз сильнее слух, и дрогнули ноздри, глубже втягивая воздух, и словно невидимые крылья подняли меня шестикратно увеличившиеся силы, понесли над дорогой, и я увидела с высоты всех нас, всех шестерых, и удивилась, какие мы маленькие на распахнутой от неба до неба снежной скатерти. Скатерть поля не гладкая, смятая в складки ложков и логов и справа и слева. И впереди. Впереди наш Куриный. Он мелкий, но тянется издалека. Лога и ложки синели, углублялись сумерками, и дорога, чуть приподнятая в поле над общим снежным уровнем, выделялась на нём жестким рубцом. А снег уже стал совсем тусклый, а не просто матовый, как недавно, когда мы вышли. Снег к вечеру словно умерший — немой, незрячий.

Скорей бы лес пройти. Вон он щетинится впереди. Наша дорога, взрытая копытами лошадей, не очень-то позволяет спешить. Стараясь ступать на гладкую полосу, оставленную полозьями, но нога часто оскользается в раскопыченную рыхлость. Она гасит упругость шага. Гуськом идут ребята, стараются ступать шаг в шаг. И опять

спохватываешься: «Ну как волки?!» И невольно взгляд отыскивает еще одну, похожую на нашу, темную цепочку, вытягивающуюся из какого-нибудь ложка. Морды опущены книзу, хвосты меж задних лап. Рыхлость снега им не помеха. Но чиста смятая в синие складки скатерть. Напряжение отпускает меня. Я больше не парю над дорогой.

Уже и лес перед нами. Зимой мы ходим не опушкой, а напрямик. В лесу всегда теплее. Ветер не любит сюда забираться. Нет ему тут воли. Днем очень приятно идти по лесу — красиво! Особенно в молодых посадках, которыми он начинается. Молоденькие сосенки держат на каждой мутовке по белому шарiku, насадив его на длинные иглы. Пестро вокруг от темных веток и этих белых «зайчиков». А между рядья — взбитые, чистейшей белизны пуховики. Снег здесь ложится так тихо и плавно, что узорчатые колесики снежинок не ломаются. Приглядишься к поверхности снега и увидишь, разглядишь каждую снежинку в отдельности. Конечно, под силой собственной тяжести снег внизу уплотняется, лопаются копы и зубчики, шестеренки снежинок, превращаясь в мелкое, как манка, сухое от мороза зерно. Но сверху всегда воздушно-взвешенный пуховый покров, выстилающий, тщательно сглаживающий все неровности, бугры и ямы, сучки и колоды, старые пни и валежины. Мне казалось, что это зима плавно повела белой рукавичкой; не касаясь ни разу ни ветки, ни пня, ни кочки, обвела их мягким контуром, и так и лег снег, повторяя послушно, выказывая всем невидимое, тайное скольжение над землей белой рукавички.

В старом лесу совсем иначе, чем в посадках. Там темнее, таинственнее. Сумрачными, нахохленными чудовищами выглядывают из чащи, из-за ближних стволов снеговики, вылепленные тихими лесными снегопадами из невысоких елок, пеньков и просто из сплетений кустов и низко опущенных лап старых елей. Лучше не всматриваться в чащу. «Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой... Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит... Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...»

Да, дорожек напутано по лесу видимо-невидимо! Легких, едва написанных по снегу крестиками птичьих воздушных лапок или тонкими мышинными цепочками, и тяжеловесно протоптанных то ли лошадью, то ли коровой. Но за лошадью тянулся бы санный след, а что корове понадобится в зимнем лесу?

Плутали по полянам, огибали стволы и кусты многочисленные

заячьи — лихие, с росчерками от задних лап — петли и стежки, и прямыми, уверенными тропами записывали свой след волки. Наверное, волки. Кто же еще мог отпечатать эти широкие, пятипалые оттиски — вроде бы собачьи, но крупнее, лапа за лапой, в ниточку.

Следов много, но это еще не значит, что звери вот только что свернули в чащу и оттуда смотрят на нас. Снегу давно — так дня три — не выпадало. Вчера мело, но для леса такая метель — не метель. Стало быть, тут самое меньшее дня три записано.

Степка наклонился над обочиной, где выходил, пересекая дорогу, «собачий» след.

— Не-е, ребята! Это давнишний! — сообщил он. — Обмохрился уже по краям!

— Вот, Степа, молодец ты! — воскликнула Лена. — Догадался поглядеть.

И вдруг Энгелька, шедший впереди всех и чуть оторвавшийся уже от нас, остановился и махнул нам назад рукой, не оглядываясь, тревожно всматриваясь в глубину большой поляны справа от дороги. Мы остановились, тараща глаза в синеватую мглу поляны. И увидели...

— Лошадь! — с восторгом выдохнула Шурка Омелина.

— Фиг тебе лошадь, — прошептал Степка.

— Лось! — в один голос закончили все мы шепотным хором.

Заколдованные безмолвным лесным видением, никто из нас не крикнул. И наше шепотное «Лось!» прошелестело в лесу, как один из его собственных голосов — шорох осыпавшегося с ели снега, не больше.

Горбоносая огромная голова, вынырнувшая из чащи за поляной, так же, как и мы, застыла, не шевелилась. Но мы оказались терпеливее. Или лось решил, что маленькие, черненькие комочки на человеческой тропе не опасны для его семейства. И вовсе без шума, словно призрак, он весь вымахнул из кустов на поляну, отделив себя от сумеречной, скрадывающей его темное тело лесной гущины. Движения длинных ног лося напоминали работу какого-то механизма — так четко складывались и разгибались рычаги его суставов. Какой же он был большой! Жалко, уже мало света, не различить цвета его шкуры, видно лишь светлую подкладку низа — брюха и ляжек. И сразу, только весь зверь стал нам виден, за его крупом показалась еще одна голова, поменьше. Лосиный теленок — наверное, легкий, как балерина! — выскочил за отцом. А за ним еще один, его брат или

сестренка, и, наконец, — снова великан, но по морде видно, что лосиха. Не с таким страшным загибом носа, как у первого... Это я рассказываю долго, а прошли они перед нами хоть и не спеша, но за одно мгновение. Не потревожа тишины, не сбив с кустов ни одной снежной шапки. Были — и нет. Только глубоко пропахала поляну еще одна дорожка. Теперь-то ведомая нам. Вот вам и лошадь. И корова.

Мы перевели дух. С восхищением переглянулись: никто из нас до сих пор не видел лосей. Даже и не думали о них. Хотя слышали, что появились они в наших местах. В представлении каждого из нас этот зверь такой был нездешний, такой весь из книжек, с картинок, — все равно что слон или жираф.

— Видали? Вот это да!.. Ай да мы! Ай да лоси!.. Вот так увидели!.. Расскажем — еще и не поверят!.. — такой мы устроили хор и перекличку.

Побежали сгоряча по лосиному следу, но где там! Ноги у нас раза в три короче, а снег глубокий. Тогда мы понеслись по дороге, забыв про усталость, про страх, про волков. Скорей, скорей в совхоз, чтобы хоть кому-нибудь рассказать! Нас было шестеро, но это все равно как один человек. А известно, как хочется поделиться новостью, которую знаешь ты один, еще хоть с одним человеком! Мы так бегом и вывалились из леса в поле. Наше, уже совхозное, поле. И даже немного опешили: обычно выходишь из леса — и сразу свету больше. А тут будто и потемнее стало. Конечно, не было темнее, чем в лесу, просто не сбылось то, что ожидалось. И мы поняли: стемнело. Совсем стемнело. Небо и снег уже серые.

— Ребята, раз лоси так тихо шли, значит, волков близко нет, — сказала Шура.

— Точно! — обрадовалась я. Но тут же подумала о другом: раз лоси куда-то пошли, даже слыша, что на дороге люди, — может быть вполне, что их кто-то спугнул. Но я об этом не сказала.

Теперь дальние кусты и деревья на поле, на межах казались тенями волков. Только то, что я знала здесь каждый куст и каждое дерево, выручало меня.

Но вот — о радость! — послышался явственный стук копыт, пофыркивание лошади. Кто-то едет нам навстречу! Ездок остановил лошадь довольно далеко от нас. Подождал чего-то, потом снова лошадь пошла.

— Э-э! Школьники! — воскликнул радостно путник. — Я издали, с поворота, вас увидал... Ну, думаю, стая! Другая, что ль? Одно-то я точно видал во-он там, — привстал он в санях, кнутовищем указывая на взгорок слева от нашего пути в совхоз. — Бежали по гребню: на небе-то их видно хорошо, — семеро. Но туда бежали, к деревне, к Иванникам, прочь от дороги. А тут опять, гляжу, идут, теперь встречу! Однако смотрю, лошадь моя ничего, спокойна. Ну, мол, порядок, не они... Ну, того, прощайте, боюсь, как бы не встретить. И вы поглядывайте!

И мужик ударил вожжами, прикрикнул на лошадь и нам вдогонку прокричал — видно, чтоб мы за него не волновались:

— А я недалеко! В лесничество! Доеду!

Мы еще посмеялись над разговорчивым мужиком: ишь, успокоил нас: он доедет! А мы иди навстречу волкам? Но делать нечего: идти надо, хочешь не хочешь!

Хоть бы не было его, этого незнакомого мужика! Взялся на нашу голову! Он, видите ли, доедет!

Но, пожалуй, ругайся теперь... «Хорошенько смотрите, о волки!» — пришел в голову клич Акелы, старого вожака волков из «Маугли», любимой моей книги. Да, то книга. А то жизнь. Здесь не те благородные, мудрые звери, что вскормили Маугли. Те ненавидели людоеда Шер-Хана — тигра, похожего на фашистов. А здешние-то волки сами как фашисты и порождение фашистов, наславших сюда этих зверей.

Может, там, на войне, они отведали человечины и теперь не боятся людей.

Где-то в ночи, среди снега таились они, стая из семерых, темень и время разделили их и нас. В складках снегов, в одной из лощин, за одним из кустов скользил легкий шаг гуськом, морда к хвосту впереди идущего, — созревала угроза и могла сбыться, если время наше и их совпадет в какой-то точке пространства. Если их тропа пересечет нашу дорогу в тот самый миг, когда и мы...

И мы увидели их. Гораздо дальше от того бугра, где они показались мужику на лошади. Гораздо ближе к совхозу. Уже замигал впереди темно-красный огонек в крайнем доме. И ночь от этого сразу сделалась своей: домашней, безопасной.

Как вдруг от более густой полосы тьмы, что слева от дороги (узкий перелесок, тянувшийся вдоль дороги и справа, как и слева),



отделилась столь же плотная тень. За ней обозначилась на фоне снега вторая... третья...

«Нет! Нет! — кричало все во мне. — Это кажется только! Это просто так!»

Но неумолимо, тень за тенью, как в связке, вытягивало за собой первое, отделившееся от леса пятно... Мы уже различали собачий профиль первой тени: морду, опущенную книзу; обрывисто резко кончавшийся круп: хвост прижат, опущен к ногам. Казалось, что стае не будет конца. Но семеро их вышло, как и говорил мужик.

Волки прошли впереди нас, пересекая нам путь слева направо. Прошли так, как представлялось: след в след, гуськом, морда к хвосту впереди идущего. Они показались огромными — с доброго теленка. Ужас стоял над полем, пока они шли бесконечной цепью. Молчаливый, беззвучный ужас сковал тучи на небе, звезды за тучами, луну, снег на поле и озимь под снегом; скрутил руки деревьев узлами; сгустил воздух; остановил дыхание у шестерых на дороге. Все ждало: быть крови и крикам или уйдет мгновение и канет в прежней

тишине. И ушло. Неслышным волчьим шагом. Мы даже не увидели волчьих огней, волчьих лунных глаз, которые, говорят, лишают воли их жертвы. Наверное, стая имела цель, а не просто рыскала в поисках чего попадется. Там, за правым перелеском, была совхозная свиноферма. Видимо, туда волки правили свой бег. А может, они не осмелились напасть на нашу стаю. Тоже немало — шестеро, тоже гуськом, да тем более вблизи жилья и огня. Так, словно возвращаясь из обморока, оживали наши мысли.

Как странно: когда появились волки, никто из нас не вскрикнул. Только впереди идущий Степа попятился назад, а те, кто был сзади, подались вперед, и все мы оказались сбитыми в тесную кучку. И все-таки я ощущала себя одной-одинешенькой в поле и — нагой.

Мы пришли домой в шесть часов вечера. А мне показалось, что прошла целая жизнь.

— Ну, а если б вы знали, что все это вам предстоит пережить, — спросили меня дома, после того как отругали за самовольство, — пошли бы вы тогда?

— Еще бы! Если б знали, что все так кончится, тем более пошли бы! Самое-то страшное, когда не знаешь, что будет. Встретишь — не встретишь. Нападут — не нападут...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НА ХОЛМЕ СРЕДЬ ЖЕЛТОЙ НИВЫ...

Я на той же дороге, что и год назад, что и в тот зимний вечер, когда мы встретили лосей, а потом волков. Та же дорога, да я уже не та. В том сентябре ехала со страхом и грустью. А сейчас, пожалуй, с нетерпением больше, чем с грустью.

А страха и вовсе нет. Только любопытство: как-то все будет?

Наша легкая телега с поклажей мягко постукивает, погромыхи-вадет; мерно, как заведенная, перебирает ногами неутомимая Пчелка. Мы пятеро — четверо девчат и один мальчишка — обсели телегу по краям, свесив ноги. Лены и Энгельса с нами нет. Летом они переехали в другой совхоз, куда еще зимой отправился их отец. А к нам

в совхоз прибыл новый директор, но у него детей не было. Зато с нами теперь едет Зульфия, моя старая подруга.

Завтра — в школу. После лета, после каникул. Ребята наговорились, теперь все молчат. А я встречаю своих знакомых: две березы, что вдали от дороги. Они одни в чистом поле, на самом высоком холме окрест, за Глубоким оврагом.

— Ау-у! Березы! Прямая и кривая! Привет вам! Мы едем!

Березы тонкие, еще не застарелые. Одна — прямая, повыше, с нежно-струистыми ветвями-прядами. Вторая — кривая, изогнутая. Ствол ее дал петлю вбок, будто ринулась она в сторону, да передумала и потянулась обратно к сестре-соседке. И когда пошла березка снова вверх, то уже не прямо, а клонясь к сестре, будто ища у нее опоры.

В прошлом году, когда заметила их впервые, они были просто березы, просто деревья.

Потом к ним привыкла. А теперь, спустя лето, в последний день августа, увидев их знакомые силуэты, поняла вдруг: они мне родные. И не то чтоб подумала, а скорей почувствовала, что, будь они обе прямоствольные, не такой показалась бы и вся картина вокруг: полого поднимающиеся и плавно нисходящие увалы, то серовато-золотистые — жнивье, то вспаханные под зябь — влажно-черные или бурые, а больше зольно-серые в рыжеватых подпалинах, кое-где как ржавчиной-медянкой тронутые пятнами всходящей озими.

Я как-то вдруг очень остро поняла: не будь здесь моих двух берез или будь они обыкновенными, эти места сделались бы неразличимыми, не моими; и небо осталось бы без того особенного выражения, которое есть у него только здесь, только над здешними полями. Что бы тут в этом небе ни творилось: громоздились ли башни кучевых облаков или тянулись длинные «кошачьи хвосты», подзолоченные закатом; стояло ли лазурное «ведро» или серыми плетями хлестал поля дождь из низких распухших туч, — неизменным знаком родства метили небо мои березы.

Они были главной приметой над моей дорогой, как раз на полпути от дома до школы. От школы до дома.

Березы вдали от дороги. Далековато. Но кажется мне, что я вижу, как раскачиваются гибкие пряди, как поворачиваются на четырехгранных гибких черешках сердцевидные, зазубренные листочки; вижу крохотные почки, притаившиеся до будущей весны. Вот интересно:

ато
ри-
зы,
ме
с
ая.
ду-
ка
ее
то
нь
е.
бе
т:
о-
и
е-
и.
з
-
,
о
к
е

весь год они живут, листья лета, которого еще нет. Сидят за пазухой у нынешних листочков, в основании их черешков, почти что и не заметны. Как сжатые, спрессованные пружинки, они терпеливо ждут своего часа, набираясь сил, чтоб враз распрямиться, брызнуть зелеными каплями, превращая и саму березу-мать и все вокруг в зеленый праздник, в летнюю красу.

— Здравствуйте, березы! Мы едем!

Десять километров дороги от совхоза, где мой дом, до села Пеньки, где я учусь, как коромысло, соединяющее два полных, равных по тяжести ведра. И березы в вершине коромысла.

Если б кто мне сказал год назад, что я так буду говорить о Пеньках! Уравняю их по важности с домом! Я б хохотала над тем человеком, как над круглым балбесом.

А нынче — хороший начинается год! Все больше людей возвращается с войны (конечно, раненых). Вернулся и отец Зульфий, дядя Фаттых. У него одна нога стала покороче другой и совсем не сгибается в колене. Это оттого, что он вернулся, мы будем жить вместе с Зульфией. Прошлую зиму она училась далеко от дома, в поселке, где жили ее родственники. И даже на воскресенье не могла приезжать домой.

А дядя Фаттых захотел, чтоб теперь вся семья была в сборе, он один наскучался и очень любил Зульфию, хотел, чтоб она хоть по воскресеньям бывала дома. И еще он знал, что нам вдвоем с Зульфией будет хорошо.

«Друг, — говорил он, — половина твоей души. А может, и больше».

Сейчас половина моей души сидела рядом со мной на телеге и болтала маленькими ножками, посматривала черненькими, умными глазками. Слушала, как девчата поют любимую песню Лены Ахтямовой:

Вдыхая розы аромат,
Тенистый вспоминаю сад
И слово нежное «люблю»,
Что вы сказали мне тогда...

Лены нет, а ее песня осталась. Я вслушиваюсь в знакомые слова: это странное слово «любовь»... Я чувствую, оно стало больше моим, чем Ленкиным, и больше моим, чем песенным. Оно (наверное, вместе с мелодией) почему-то рождает тоску в моем сердце, тоску и сожаление неизвестно о чем. И это оно — или вся песня? — соединяет

сейчас меня со всем, что только вижу я вокруг, — от высокого купола неба до мелькающих перед глазами копыт Пчелки и дорожной пыли, оседающей на бурьяне. И оттого, что так много обнимает глаз и слышишь сразу так много — и песню рядом, и тишину вдали, и говор ребят, тележный стук и дыхание лошади, пофыркивание ее, и чувствуешь запахи — от леса, от пыли, сена, колесной мази, и дегтя, и лошадиного пота, — и осенний пресный запах поля: земли и словно бы раздавленной травы, — оттого, что так много всего соединяется с песней и со словом «любовь», что и не вместишь в одно-то свое сердце, в одну себя, — оттого, кажется мне, так трудно моему сердцу терпеть нежность ко всему сразу. Ведь огромный простор вокруг! И одно есть средство как-то заглушить в себе это непонятное сожаление обо всем, и тоску, и нежность — запеть вместе со всеми и тем самым присоединить себя и к полю, и к небу, и к лесу, и к ребятам. Заглушить, но не избавить...

Вам возвращая ваш портрет,
Я о любви вас не молю,
В моем письме упрека нет,
Я вас по-прежнему люблю...

В том-то и дело, что я никого не люблю... Но это неправда! Я чувствую любовь! Чувствую, что она просто не вмещается в моем сердце — так велика... Но она — ни к кому. Просто так. Ко всему... Это все нынешнее лето виновато.

ЗИНКА И ЛЮБОВЬ

Мы приехали летом в Пеньки с Зульфией и ее отцом, чтоб попросить тетю Еню взять на квартиру Зульфию. Вошли в дом, а бабушкина кровать стоит пышно убранная, пустая. Дыбятся взбитые белые, с прошвами подушки. Страшно стало от этой пустынной кровати. Правда, в самый первый свой приезд к тете Ене я тоже сначала не заметила бабушку — так, мельком, подумала, что кто-то днем спит. Сейчас никто не спал. Пусто. И все-таки я попыталась еще отодвинуть страшную догадку и спросила:

— Тетя Ень, а бабушку вынесли на воздух?

Тетя Еня ответила:

— Умерла мама. Нет у нас больше бабушки. Будто дожидалась, когда разъедутся ученики, чтоб не побеспокоить кого своей смертью.

Тетя Еня не заплакала. Терпела, наверное, свое горе. И говорила сдержанно. Словно держит что-то про себя, что боится ненароком обронить, проговориться.

— Эхма! — сказал неловко дядя Фаттых и сдернул кепку.

А мы с Зульфией схватились за руки, словно бы нас кто-то мог растащить, разлучить. Я ничего не могла сказать тете Ене. И мучилась. У меня в голове стучало: «Бабушка! Бабушка! Я же тебя любила. И ты меня. Как же ты умерла!» Но не скажешь ведь этого. При чем тут моя любовь! И что жалко ее, тоже не скажешь. Понятно же, что жалко.

Тетя Еня сама нас выручила всех: сказала, чтоб нам не так было трудно молчать: «Не мучилась мама. Нисколько. Пригасла. Как сухой лист с ветки отлётывает... Не стало, и все. Нам бы так-то». И пошла в чулан, на ходу говоря о другом: «Самовар сейчас вздую».

И мы все хором вздохнули. Дух перевели. Так не стало бабушки...

Я хорошо запомнила тот день — солнечный, но не очень жаркий, с ветерком. Тихо, безлюдно, зелено в знакомом переулке.

Когда подъезжали к дому, он показался мне меньше, чем был зимой, и сердце сжалось, как бывает, когда видишь, что изменился, постарел дорогой тебе человек. Но приглядевшись, я поняла: дом кажется меньше потому, что его отодвинула, заслонила буйная зелень палисадника. Через его заборчик перекипают, не умещаясь в нем, кусты сирени, бурьян, мальвы. А березы качают ветки уже на уровне конька нашей избы, совсем занавесили ее — так загустели: не сквозные, как зимой, не прозрачно-нежные, как даже еще в конце мая, а полные темной крепкой листвы, шумливой, балованной ветром и солнцем. При виде всего этого немного странно я себя почувствовала: будто меня свои признать не хотят.

Мельком, бегло глянула я вверх по переулку, где стоят дома Лешки и Карпэя. И там было пустынно и зелено, и березы шумели. Но стоило толкнуть знакомую калитку — встретил меня прежний двор, весь выбитый до земли, лишь по краям чуть кудрявится трава. Двор не изменился с весны. Только обдал меня необычным для весны или осени душным, застоявшимся теплом, настоящим на запах пыльного старого дерева, разогретого солнцем куриного пера, прошлогодней соломы, истомившейся под крышей в духоте повети.

Этот запах не был неприятен: пахло летом, теплом, благополучием.

Тети Енины куры, разбежавшиеся с надрывными воплями при шуме и громе открывающихся ворот и въезжавшей во двор телеги с возом дров, при виде огромной, наверное, на их взгляд, и страшной лошади, быстро обтерпелись, освоились с новыми предметами и начали собираться у крыльца со своим осторожно-вопросительным «Ко-о...ко-ко?». Все старые мои знакомцы! И петух с золотой кованой грудью, и пара старых белых кур, и несколько обычных пеструшек-молодок. Только прибавились цыплята, уже, видно, брошенные матерью, смешные голенастые подростки, с тонкими шеями и младенческим пухом, оставшимся кое-где на спинках между крыльями.

Все уже свое. здесь во дворе, почти родное... Ага, крыльцо! Белое с черной кинжальной щелью... Оно самое! Сени... Стоп! Как невидимый страж стал на пути знакомый чужой запах: острый, сладковатый — запах разлуки и тоски. Он будто напомнил: «Свое-то, свое, да не забывайся!» Я посмотрела на Зульфию: она почувствовала запах? Поняла? Но Зульфия была такая сосредоточенная, собранная. На ее лице прямо-таки была написана непреклонность: «Ничего, я все стерплю». Я вспомнила, как плакала прошлой осенью.

— Нам с тобой хорошо будет, мы же вместе, — сказала я ей.

И мы вошли в избу. И увидели эту пустую, без бабушки, кровать...

Когда попили чаю с вкуснейшими пирогами из картофеля, с луком-яйцами, я вышла на улицу, чтоб не мешать дяде Фаттыху и Зульфие договариваться о квартирных делах.

Облокотившись о штакетник палисадника, рассматривала я такие разные травы и листья и думала о бабушке, о том, как же приходит смерть? С чего начинается? Бабушка старая была, но ведь сердце в ней билось, мозг работал, она многое понимала. И никто ее не убивал, не бил, на работе она не надрывалась. А сердце все же остановилось. «Почему? Как? И как это будет со мной? Трудно представить, что тебя нигде не будет. Но умирают все, кто родился. Умрешь и ты. Разве только придумают ученые какое-нибудь средство от смерти. Прививку, как от оспы».

Но если изобретут такую прививку, чтобы жить, просто жить, еще и не захочешь вот так, как наша бабушка, жить, лежа пятьдесят лет. Нет, уж лучше сразу умереть. А вот она жила. Привыкла, значит. А сначала, наверное, плакала.

Я пошла вдоль палисадника, к главной улице, с отрадой ощущая

тепло солнца на лице, на руках, как вдруг кто-то сверху окликнул меня:

— Зайди к нам, Даша!

Я вздрогнула, глянула вверх. Из окна косинского дома выглядывала Зина Косина, по прозвищу Коса. У них дом был как бы в два яруса: передняя часть, смотрящая на улицу, стояла на подклети и была выше дома тети Ени. А задняя часть обычной высоты, с нашим домом вровень.

Вот и получалось, что Зинка смотрела на меня сверху, с высоты. Удивилась я: ни разу еще не была в соседнем доме, у Зинки были свои подружки. Мы с ней и говорили-то раза два, по пути из школы домой.

Зина меня прямо в сенях встретила, за руку взяла, потянула за собой как-то быстро, с порывом. Я и вокруг себя ничего не успела заметить. Поняла только, что дома никого нет. Привела она меня в маленькую чистую горенку в задней низкой половине избы. Горенка выходила окном как раз на дом тети Ени в узенький проулок, где вытянулись в ряд несколько больших уже берез. И видно из Зинкиной горенки глухую бревенчатую стену без окон да белый березовый ствол, пересекающий эту стену.

Лишь иногда заносило ветром к окну зеленую длинную плеть березы. Я потому так помню, что стояла лицом к окну, а Зинка — у окна, и то, что она мне говорила, так вместе с этим окном и впечаталось мне в память.

— Даша, — быстро-быстро, чуть задыхаясь, заговорила Зина, — зачем он тебе... Ты не наша, не здешняя... все равно в город уедешь, в институт... Оставь его... Лешку оставь... Мы всегда с ним играли... А теперь он и на улицу не выходит... лето идет... А он за тобой избегался... Скажи ему... Я никого не прошу... Тебя одну...

Что она говорит? О ком? Об этом Лешке? О Никонове? Обо мне? Я-то при чем? Я несколько раз открывала рот, воздуху набирала, чтоб крикнуть: «Ты что, Зинка, ты с ума сошла?!» Но Зинкино сумасшествие, видно, и на меня перекинулось. Ведь я понимала, как нелепо-смешно все, что шепотно выкрикивала Коса: как это можно избегаться за кем-то, когда этот человек за десять верст? Как можно кому-то кого-то оставить, если кто-то кого-то и не видит уже сто лет?! Да и вообще — и всегда и везде — избегал изо всех своих сил?! Смех один! Да, смеха одного стоили Зинкины безумные слова. А мне было вовсе не смешно. Зинкин шепот и весь ее вид кричали о том, как ей

нестерпимо больно. Обычно горделиво расправленные пряменькие плечики Зинки сейчас сведены так, что выщелкнулись тонкие ключицы, запали под ними у шеи темные ямки, руки стиснуты на груди — кисть в кисть, даже пальцы побелели, и губы сжаты до белизны. Мне даже казалось, что она и говорит, не разжимая губ. И наконец до меня дошло, что это меня винит Зинка в своей боли! Из-за меня ей больно! Она об этом и говорит! Вот почему мне страшно, а не смешно... Но при чем тут я?! Как она может так про меня и Лешку!

— Зинка! — наконец крикнула я. — Ты что, роль играешь? Ты чего выдумала? Нужен мне он, твой Лешка! Хоть бы его не было совсем!

Зина остановилась. Перевела дух. Жарко в горенке. Стена напротив близко. Ветерок не попадает в открытое окно. Стоим мы друг против друга, дышим тяжело.

— Вот и отстань, — выговорила Зина. — Раз не нужен. Мы с ним всегда дружили. Поняла?

— Чего ты от меня хочешь, Зина? Я, что ли, сумасшедшая? Разве могу я от него отстать, если не пристала? Как еще мне отстать от него? Как?!

— Не знаю как, — горько сказала Зина. Так горько, что мне плакать захотелось. — Ладно, иди...

И я пошла, ничего не видя. Не помню, как вышла, не помню, как забралась к себе на поветь. Там солома старая. Села там. «Вот те и на!» — только и подумала. И никак не совладаю с мыслями. Вдруг мелькнуло в уме: «Ага! Вот кто нравится Энгельке! Зинка! Надо же...»

И тут же забыла про это. До Энгельки ли теперь... Какие-то картины мелькают перед глазами. Отрывки. Но так они вспоминаются, будто нанизываются на одну нить, выстраиваются. А эта нить — то, что я сейчас услышала. И пустячные сцены, слова, разговоры вдруг оказываются полными значения, тайны. Зинкиной тайны. А может, и Лешкиной.

Ведь Зинка и Лешка похожи чем-то. Очень даже похожи! Зина среди девчат такая же легкая, стремительная, как Лешка среди пацанов. У Зины небольшая головка на высокой шее, круглое задорное лицо, рот маленький, с надменно и весело приподнятыми уголками губ, короткий нос в мелких веснушках и отчаянные, дерзкие глаза, как лесные орешки. И стройная она, легконогая. А любое свое,

хоть и ветхое, платишко Зина всегда щегольски туго подхватывает в талии пояском. Я ее заметила в первый же день в Пеньках. Ведь это она бегала с Лешкой на школьном дворе тогда, первого сентября... И по-новому вспомнила я теперь, как она оглядывалась на него, как глядела, как смеялась...

Вспомнила и другое: Зина меня спрашивала однажды по дороге из школы, пристаёт ли ко мне Лешка... Так участливо спрашивала...

А потом, когда все собирались по хворост, опять любопытствовала, как бы между прочим, с кем я пойду. И очень уж горячо принялась меня хвалить, когда я сказала, что с Тоней. Она слышала, говорила Зина, что меня Никонов звал, и боялась, вдруг я пойду с ним, потому что я еще, наверное, не знаю, какой он вредный.

А я, как дурочка, — нет чтоб спросить, чем же он вредный, — сама стала ее уверять, что да, знаю я, он ужасно вредный, и я с ним ни за что не пойду.

Потом память приоткрыла мне еще одну страничку, которую я уж совсем было позабыла.

Это случилось, наверное, в первую или одну из первых недель сентября, — вместо уроков вся школа работала на колхозном току. Одни перелопачивали зерно, другие ведрами по цепочке подавали его на веялку, третьи подгребали, скучивали только что намолоченное и еще не веянное, укрывали эти кучи соломой — крыша была не над всем током. А мальчишки возили с поля солому.

Жарко было. Работали в одних ситцевых платьях. Я помню: откуда-то с поля, от лошади бежит Лешка, и я боюсь, что он к нам. Но с противоположной от нас стороны тока на высокой куче зерна вся в золотой соломе показалась девчонка — линялое красное платье, лихие косички, дерзкое лицо — и закричала что-то удалое: то ли «о-го-го!», то ли «эй-ля-ля!». И я узнала в ней ту, бегавшую на школьном дворе... И Лешка вдруг остановился, будто споткнулся, потом дернулся бежать — все-таки в нашу сторону, потом опять скакнул к той куче, где плясала девчонка. Снова рванулся к нам. «Ой, неужели к нам?! — У меня прямо сердце от страха упало, но он все же с криком «Осса!» побежал туда, дернул девчонку за ноги, и она, хохоча, съехала в ворохе соломы вниз. Теперь я догадалась, что он кричал не «Осса!», а «Коса!». И этот забытый день словно воскрес в моей памяти: душная, пыльная жара, запахи свежего зерна, соломы, пота от работавших вместе с нами колхозниц и это ощущение

опасности от бегущего по полю мальчишки. А еще смутное понимание прельстительности, призыва красного пляшущего платья, задевшего чем-то и меня, а не только мальчишку.

Тогда, я помню, была страшно рада, что Никонов отвлекся и так и остался возле той кучи зерна. Они там все время то гонялись друг за другом с девчонкой в красном платье, то кидались зерном и на них покрикивали женщины.

Как было б хорошо и справедливо, если б Никонов так и продолжал бы «бегать» за Косиной! Всем было б хорошо. И больше всего — мне. И почему так получилось, что он стал «бегать» за мной, как сказала Зина.

Я ненавидела то, что, знала, стоит за этими словами. Видела на деревенской улице и только нынче летом прочитала в «Тихом Доне» Шолохова. И для меня после этой книги многое непонятное раньше стало очевидным. Но не примирило с тем, что я поняла. «Бегают» — это когда парень пристаёт к девушке, задевает ее, хватает, а она вырывается и визжит, как поросенок, и тут же хохочет. Я думала сначала, что парни обижают девушек, ведь девчатам с парнями не сладить, силы не те. Но с чего бы тогда девчатам хохотать, и почему они не убегают?

Если я хочу от кого-то убежать, так будьте покойны: меня и на страусе верхом не догонишь! Если я не хотела, чтоб меня трогали, так я все перемены с парты не вставала. Меня и пальцем не задели. А это что? Зину тогда, на току, за ноги сдернули с соломенной кучи, а она рада! Да если б меня так, я бы умерла от презрения к самой себе. И это называется «он за ней бегают». Иначе говоря — «он в нее влюблен». Ничего себе любовь! Прекрасная тайна. Я была глубоко убеждена, что девушка, вызывающая такую влюбленность, тем самым уже оскорблена и унижена. И страдала от того, что и я была девочка, — значит, девушка скоро, — когда видела, как унижаются наши здоровые, крепкие, полногрудые совхозные девчата, стараясь своим визгом и хохотом «завлечь» парней. Парней — это только говорится так. А на самом-то деле — мальчишек, года на три постарше меня. Да и по виду вроде семиклассников.

Яркая женственность взрослых девушек вызывала во мне отвращение к самой себе, к изменениям, начавшимся в моей фигуре. Я горбилась и сутулила плечи, чтоб ничего не было заметно. Ходила в баню после всех, одна, и мылась в полной темноте, не зажигая

лампешку-коптилку, чтоб ненароком самой не увидеть, как набухают бугорки на месте, еще недавно отрадно плоском. Я боялась проводить мочалкой по своей груди, чтоб нечаянно не дотронуться рукой, — это было бы так же противно, как прикоснуться к живому мышонку. Грудь выдавала во мне существо, такое же, как все эти девчата. Я же не хотела быть такой!

А теперь Лешкино «беганье»... Если правда то, что сказала Зина... Будто назло, насильно навязывают мне ненавидимую мною, общую для всех девиц участь.

Ну уж нет! Тут я могу сказать «нет»! Тут моя воля.

Я мечтала о любви. О влюбленности. О рыцаре. О тайне. О настоящей любви не должна догадываться ни одна живая душа. Только двое. Только Он и Она. Он должен быть прекрасен и с виду и душой. Благороден. Печален. И восхищен.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

.....
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновение,
И жизнь, и слезы, и любовь.

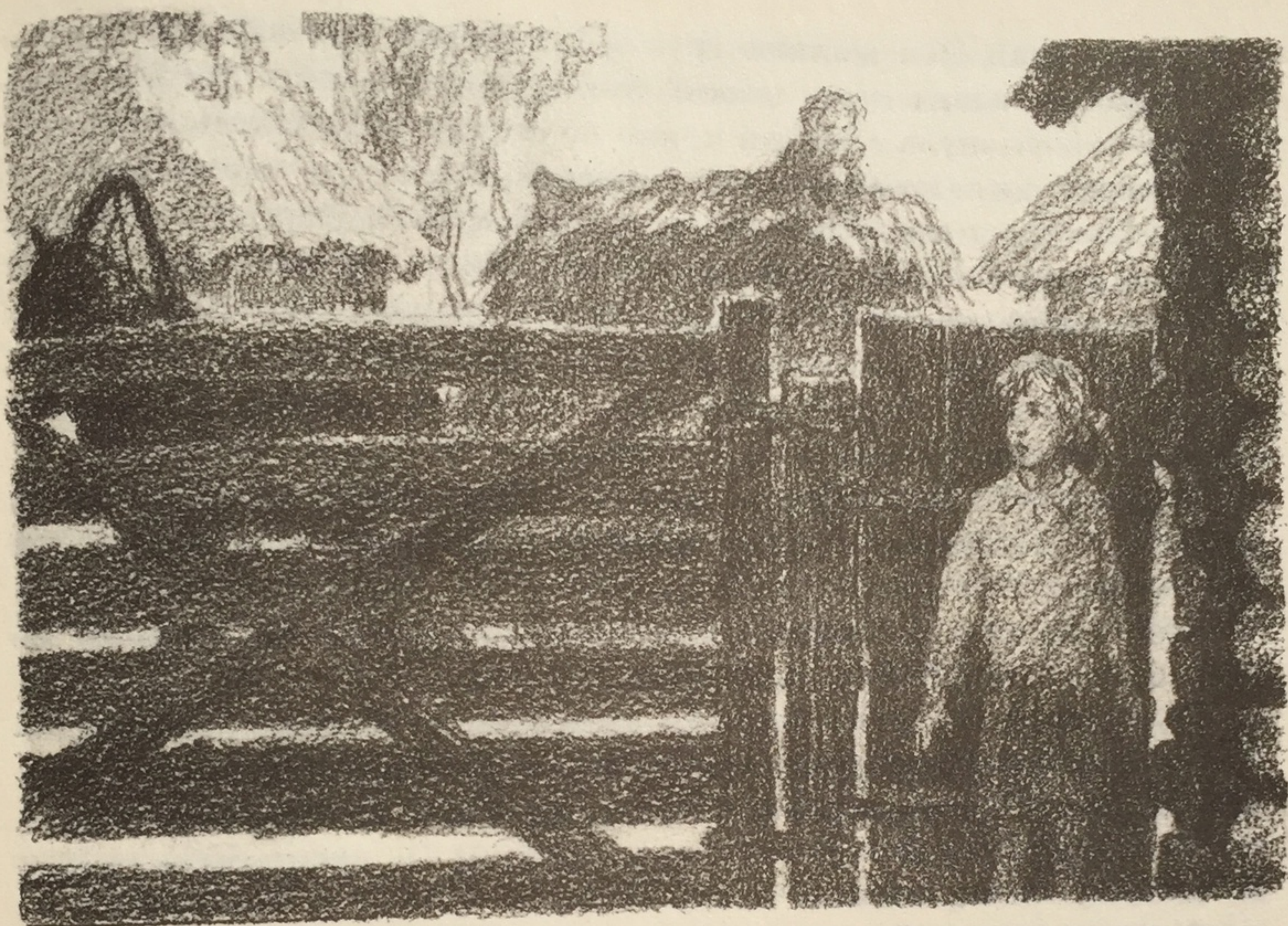
Вот что такое любовь... И божество, и вдохновение, и слезы... Я знала, что я могу лишь мечтать о такой любви. Потому что я совсем не гений, не чистой и не красоты. И вообще даже говорить о красоте нечего. Зина и та меня красивей. А любви без красоты не может быть. Значит, не будет у меня такой любви, какую я люблю... Я подумала, что даже Лешка не приставал бы ко мне так, не дразнился и не хохотал, если б я была красива. Только и видела от него хорошего, когда он по снегу босиком пробежал для меня. Да и то еще неизвестно, для меня ли. Может, просто от лихости. Зина пусть сколько угодно думает, что Никонов исстрадался по мне. Где оно — страдание? Где хоть один печальный взор? Хоть задумчивость? Хоть один жест, который бы говорил, как он стремится мне на помощь? Ручка, например, упала с парты — бросился бы ручку подать. Весной лужа на пути — почтительно предложил бы позволить ему перенести меня через лужу: «Допустите, о повелительница

моего сердца, послужить вам»... — и бац на одно колено прямо в лужу... Ах! И только я представила, как Лешка бросается поднимать мою ручку и бацает в лужу на одно колено в своих вытертых и выстиранных до белесости, непонятного цвета штанах и растоптанных валенках, как меня разобрал смех. Наверное, я правда с ума схожу! Разве нормальный человек рассмеется после таких объяснений, как у нас с Зиной? Конечно, если б на Лешку надеть камзол из коричневого с золотом бархата, в талию, да с пышными, собранными в крупные складки рукавами, да с белым жабо, — к Лешкиной тонкой фигуре, и узкому лицу, и носу с горбинкой это бы очень подошло. Он бы, пожалуй, стал красивым. Но тогда уж ему не передо мной бы вставать на одно колено. А перед надменной и тонкой красавицей в пышных фижмах, с прической-башней из пепельных волос, увитых ниткой жемчуга. Такой мне никогда не бывать.

И вдруг это меня рассердило: ведь сама же решила, что любви у меня не будет! Но тут вдруг возмутилась: выходит, все зависит от одежды, от обстановки? Если бархат и фижмы, так любовь красивая, а если валенки, то одни грубости? «Глупости, глупости!» — оборвала я себя. Любовь могла быть совсем не такой, как у Шолохова, хотя и не такой, как у Пушкина. И представила, как бы мы с Лешкой, например, гуляли лунными зимними вечерами и он бы брал мои варежки и согревал своим дыханием... Или бы мы с ним учили уроки. Он плохо пишет, и я бы ему диктовала из учебника что-нибудь полегче, ну, например: «Пятак упал к ногам, звеня и подпрыгивая». Или: «Она, осина, бывает хороша лишь в иные летние вечера». Или: «...Люблю отчизну я, но странною любовью!..»

Да, странною любовью... Конечно, конечно. Было б очень странно, если б Лешка, такой, какой он есть, любил бы меня. Ведь ничего из того, о чем сейчас я подумала, невозможно. Как фижмы и бархат. Любить — значит любить быть вместе, разговаривать и понимать друг друга. А тут: ни он меня, ни я его не понимаем. Да я и не хочу понимать!

И эта Зина Косина настоящая дурочка, если ей нравится такая «любовь». Пожалуйста, любите. Я тут ни при чем. Что, мне теперь уезжать из Пеньковской школы, учиться, что ли, бросать из-за нее и Лешки?! Еще чего! Но тут на меня вдруг снова, как наяву, надвинулось отчаянное лицо Зинки, раскрытые широко глаза, исступление в словах и стиснутых на груди руках — и я осеклась. В Зинке была



правда. В ней одной. Не во мне. Не в Лешке. А что значила эта Зинкина правда, я не знала. Сколько угодно могла я рассуждать о бархате и валенках, о красоте и грубости, о Пушкине и Шолохове, об уроках вдвоем и прогулках — и знала, чего хочу для себя, а что ненавижу... Но перед Зиной, хоть и ругала ее и сердилась, чувствовала себя маленькой: не понимала, что испытывала она, говоря со мной. Будто прошла мимо меня, совсем близко, огневая туча, дохнула в лицо неизвестной еще, но грозной мукой... И так горячо пожелала я в этот миг оказаться не здесь! И в самом деле: уехать бы из Пеньков, чтоб не мешать Зине. Как было бы хорошо пойти сейчас же и сказать: «Зина, ты не думай ничего, не мучайся, я уезжаю, и здесь меня больше никогда не будет!»

Я выглянула с повети: прогретый солнцем двор, курицы залегли в свои пыльные ванны под завалинкой, ярко светится белое крыльцо... Наша лошадь дремлет, сунув голову в тень повети. И никогда больше меня здесь не будет... А двор этот будет.

И вдруг с улицы долетел разбойный свист в два пальца. Сердце

мое вздрогнуло, как жалкий трус и предатель. Так свистел Лешка. Как пароход, давал гудок всякий раз, когда шел мимо нашего дома. Я тихо соскользнула с повети прямо по столбу, подкралась к калитке и припала к щели посмотреть незаметно. По дороге, уже миновав наши ворота, двигался невысокий воз со свежей травой. Наверху, ногами к лошади, головой назад, расположился Никонов, утопая в траве. Только виднелась его совсем выбеленная солнцем голова — он лежал на животе, подперев подбородок руками, — да взметывали над возом пятки. Время от времени Лешка взбрыкивал ногами — может, муху прогонял. Взгляд его прилип к нашим окнам.

Я подумала, что и Зинка слышала этот свист. Тоже, наверное, глядит на зеленый воз. И я подумала: она же всякий раз, как и я, слышит Лешкин свист. Вот и сейчас...

Сейчас-то чего он свистит? Так, видно, по привычке. Не знает же он, в самом деле, что мы с Зульфией здесь.

Сердце-то у меня билось... «Да ни за что! — Я прислонилась спиной к калитке, успокаивая себя. — Это все от Зинкиной взбалмошности. Не хватало еще, чтоб я к этому грубияну чего-то чувствовала, кроме презрения. Свистун. Глядельщик». И я решительно пошла к Зульфие, в дом пошла.

А она там с папой и тетей Еней сидела, им уж говорить-то было не о чем. Зульфия бросилась ко мне:

— Где ты была? Ушла — и нет.

А я так обрадовалась, что вот — Зульфия! Все такая же, из прежнего моего мира, где не было и нет ни Зинки с ее горем, ни Лешки с его наглостью, которым чего-то от меня надо. Чего я ведать не ведаю и знать не хочу. Как в сказке «Принеси то, не знаю что. Пойди туда, не знаю куда». А Зульфия — это я! Такая, как я! И мне с ней никто не нужен!

— Ой, Зульфия! Зульфия! — прыгала я, как маленькая, не отходя от порога. — Как здорово: я вошла, а ты здесь! И так теперь все время будет!

— Конечно, — как взрослая маленькой, ответила разумная Зульфия, — если ты сама убегать не станешь.

Дядя Фаттых засмеялся, довольный остроумием своей любимой дочки. А тетя Еня сказала:

— Вишь как хорошо на подружек-то глядеть. Значит, ладно будем жить.

— Как им не ладить, тетя Еня, — закивал головой дядя Фаттых, — они с первого класса вместе, вот только в пятом судьба их разлучила. Ну, теперь снова вместе.

Меня поразило вдруг, как он сказал: «Судьба их разлучила». Судьба! Это такая взрослая хитрость. Считается, что судьба — это то, что должно произойти. Но об этом говорят, когда уже все произошло. Тогда легко считать — судьба! А вот попробуй отгадай, что будет, что случится. Никто не отгадает! Но все равно говорят — судьба.

«Судьба их разлучила», «судьба их разлучила», «судьба их разлучила» — эти красивые, грустные, хоть и обманные слова, сказанные так просто дядей Фаттыхом, стучали у меня в голове, как горошины в детской погремушке, всю дорогу назад, из Пеньков. Пустую телегу на жестком ходу встряхивало, поколачивало на каждом комочке, палке, на самой чуточной неровности дорожной колеи — а проселок, он и есть сплошная неровность, — и слова от этих толчков и поколачиваний растрескивались, как сухая глина, разваливались на куски, дребезжали на согласных, одни слоги взлетали вверх, другие кувыркались вниз: «С-у-дд-бба их р-р-р-аз-лу-у-у-чь-и-и-л-а!»

Замучилась я с этой судьбой! Мы и пели и разговаривали, но стоило мне закрыть рот, как «судьба» тут как тут, вертится на языке.

* * *

Сегодня, когда мы ехали учиться и я опять должна была встретиться с Лешкой, уже никаких сомнений у меня не оставалось: я, конечно, не знаю, что будет в этом году, чему суждено случиться, но чего не будет — я знала точно. Я вообще не стану разговаривать с Никоновым. Только по школьным, классным делам. Все же неестественно вообще-то не разговаривать. А если он собирается по-прежнему «бегать» за мной, то по-прежнему придется ему бегать на большом от меня расстоянии. Эх, хорошо, когда все твердо решишь! Просто прекрасно!

И вообще жизнь была прекрасна и делалась прекрасней с каждым днем. Потому что под этим теплым сентябрьским небом почти уж и не осталось земли, о которой наш военрук говорил чужими какими-то словами: «временно оккупированная территория». Вся наша земля снова собралась вместе! Мне казалось, именно поэтому небо исходило каким-то особенным светом: не жестким, слепящим, а добрым, уютным.

шающим. (Так мама смотрит, вглядывается в мое лицо, когда я возвращаюсь в субботу домой из Пеньков.)

В теплой глубине неба редеющие уже макушки берез таяли, испарялись. И глаза ненасытимо вбирали, впитывали ток красоты, который начинался как раз здесь, на этой неуловимой границе зыбкой древесной кроны и сияющей голубизны.

Теплыми, живыми были и убранные поля. Эти цветки цикория. Точно такого цвета, что и осеннее небо. Можно себе представить, что это лазурь неба превращается на поле в цветы цикория. А сами цветы пристально вглядываются в небо — они видят в нем свою родину. И снова хотят попасть туда, снова стать не отдельными цветками, а слитной безбрежной лазурью. Поэтому-то, думала я, такие грустные эти цветки, и потому они — нежные — кажутся совсем чужими, случайными на своих грубых, палкообразных стеблях.

* * *

В школе Мелентий Фомич произнес такую речь! Сказал: по всему видно, что нам нынче выпала честь начинать ученье в году, который останется в веках самой светлой вехой.

— Светочем! — добавил торжественно директор и поднял вверх указательный палец. Он помолчал торжественно и добавил по-свойски, будничным голосом: — Потому что, наверное, все-таки скоро наши войдут в Берлин. И тогда — безоговорочная капитуляция! — снова возвысился его голос.

Вот уж мы покричали «Ура!». Все кричали и кричали, как будто уже произошла безоговорочная капитуляция фашистов!

Учителя наши стали переглядываться, ну а мы все больше возбуждались от собственного крика. И тогда Силантий Михайлович, военрук, рявкнул своим военным голосом:

— Отставить!

Мы постепенно замолкли, видя, что учителя нахмурились. И тогда военрук, улыбнувшись как-то косо, сказал:

— Вы, ребята, того, извините, что прервал ваше веселье. Мы понимаем. Но, того, не сглазить бы лишним криком, еще не кончилась война. Будем считать, что вы кричали «ура» в честь новых занятий. Ведь, того, еще воюем. Еще есть и будут жертвы на войне...

Мне стало стыдно до слез. Вот тебе и военрук, над которым мы,

бывало, и подсмеиваемся между собой: «Силантий, Силантий, я в городе была!» — «Бу-бу-бу! Была так была!»

А мы-то раскричались, как грачи. Обрадовались, как малыши неразумные. Так наше бессмысленное веселье и легкомысленное настроение первого сентября было притушено.

Нужно было еще воевать, нужно было учиться. Но все равно что-то осталось от нашего крика, какое-то радостное эхо осталось звенеть в воздухе этого дня, какое-то радостное предчувствие! Мне еще предстояло Никонова увидеть. Летом сколько думала и старалась себе представить первую встречу. Очень опасалась, что мне станет жалко его, страдавшего от любви, и будет очень неловко, буду себя чувствовать виноватой перед ним. После Зининых речей все должно было стать по-другому. Тихий, страдающий Никонов... Ведь говорила же Зинка, что он даже и на улицу не выходит...

Да, давненько не видела я Никонова, крепко успела забыть его нрав и обычаи, раз могла так о нем думать.

Лешка как ни в чем не бывало заорал, увидев после митинга нас с Зульфией и Садовым:

— Ага! Совхоз-обоз прибыл! С пополнением (это про Зульфию). Ну, здорово, Степан! И он за руку, как взрослый парень, поздоровался со Степой. На нас с Зульфией только раз и глянул.

Ай да страдалец! Вот так Зина-молодец! Ну фантазерка!

Очень хорошо, что Никонов сел на самую последнюю парту в своем ряду. Мне совсем его не было видно: мы с Зульфией выбрали в своем, девчачьем, ряду самую первую.

Первые уроки мне даже было немного досадно: чего-то я ждала, а ничего не изменилось. Все придумала Зинка! Лешка все такой же. Я приготовилась к борьбе, а и бороться-то не с чем. Так бывает: думаешь, дверь не открывается, надавишь на нее что есть силы, а ее словно бы и нет — легко распахивается, и летишь вперед головой!

Никуда я, конечно, не полетела. Были у меня и другие переживания.

БАБУШКИНА КРОВАТЬ

Вечером тетя Еня нам сказала:

— Девчатки, есть большая кровать, зачем вам на полу ежиться.

Мы переглянулись, посмотрели: разве есть еще одна кровать? Другой не было, только бабушкина. Тетя Еня подтвердила:

— Другой нет. Эта.— И, помолчав, заговорила: — Знаю; думаете, как же после мертвой. А вы проще поглядите на это дело. Даша вот застала маму. Знаете, какой она была человек! Добрая, почитай, святая, потому что давно уж отошла от людских дел. Ни пахать, ни стирать, ни детей купать. Сама как малое дите. И чистенькая, как дите: в пеленочках да простыночках. Мытая мною, перемытая... И мать она мне, знаю, что меня рожала в муках, а стала она сама дитем моим... И всю-то жизнь с рук моих не сходила. Я в поле — а мама как? Я в лес по дрова — а мама? Я корову обиходить — теленочка принять, — а все одно, мысли мои над ней: не упала б, не надо ли ей чего. Сколько пролежней ей закупала, замаслила, травами запарила. Летом, хочешь не хочешь, одну ее оставляешь: есть-пить надо — значит, в поле надо, на огород... Некому ее на бок повернуть, ни судно подать... Вот и шли пролежни, раны такие. Я возле нее, как только ее руке достать, ставила миску с водой да хлебушек. Так она и то не трогала, чтоб на двор без меня не захотеть. А приду — воду грею, в корыто ее сношу. Я уж сказывала, она первые-то годы лежки тяжела стала, так с тех пор меня спина и мает, что-то в спине моей стронулось...

Мы с Зульфией слушали замерев и забыв о кровати, и впервые нам открывалась настоящая жизнь тети Ени. Мы не могли еще себе представить, что такое — пятьдесят лет, нам было по тринадцати, но заботы каждого дня с таким беспомощным, как грудной ребенок, человеком мы понимали. То есть вот именно: куда бы ты ни пошла, чем бы ни занялась, помни: без тебя пропадает мама.

— Тетя Еня! Но ведь у вас еще были сестра и брат! — вспомнила я.

— Были и есть, — помедлив, ответила она. — Но глядите, как получилось. Я младшая была. Мне тринадцать лет сравнялось, когда маму паралич разбил. Вот как вы сейчас. Да, так! — поглядев на нас с новым интересом: мол, какой я-то была! — сказала тетя Еня. — Ну, пока я росла, брат женился, сестра вышла замуж. А как мне войти в возраст — глядь, я при маме-то одна... Незамужняя, а с дитем. Не скажу, что не сватали. Сватали. И неплохие. Уговаривали: «Мы маманю не оставим». Но я не глупа родилась. Да и глупому понятно: своя семья — свое хозяйство: по дому, да со скотиной, да дети пойдут. Что матери-то от меня останется? Рожки да ножки! А мужнина родня как ни будь хороша, за попреками не постоит... Как поняла

я, что мы с мамой одне в избе остались, все это я твердо решила. Так что, девоньки,— вдруг неожиданно заключила она,— эта кровать — не ложе смертное, а живая моя жизнь, работа моя пожизненная. Вымыла я кроватку летом со щелоком, на солнце сколь недель продержала. Спите на ней и не сомневайтесь: сны у вас будут добрые. Мама моя ласковая была. А и ей будет хорошо знать, что наши девочки ею не побрезговали.

Нас не надо было уговаривать. Мы устроились на бывшей бабушкиной кровати с чувством, будто совершаем некий обряд, приятный ей, а более, мы знали, тете Ене. Великую силу имеют слова человеческие. Да, и не слова были сказаны: дала нам увидеть иную жизнь наша квартирная хозяйка.

Долго не могла я уснуть. Вспоминала, как ласково всегда разговаривала бабушка: «донюшка, Енюшка, Дашенька, Англеюшко...» Подумала, что тетя Еня, напротив, никогда почти не употребляла ласкательных слов. Только разве вот «девоньки». И то редко. И поняла я теперь еще одну муку самой бабушки, о которой как-то сначала не думала: ведь она могла ответить дочери на все ее заботы только ласковыми словами. Да молитвами — припомнила я ее четки. Вот ужас-то!

— Енюшка, доня моя,— попробовала я выговорить и зажала себе рот обеими руками.

— Ты что,— зашептала мне Зульфия со своего конца кровати — мы лежали «валетом».

— Я про тетю Еню...

— Это был ее долг,— прошептала Зульфия. Она всегда все любила называть точно.

Но оттого, что теперь подружка моя тихонько шептала, получилось, будто она открывает мне страшную тайну. А я с удивлением думала, что мы все это поняли только после бабушкиной смерти. А знали же всегда про пятьдесят лет бабушкиного лежания.

Мы жили под одной крышей с тетей Еней и бабушкой, они с нами говорили, пили-ели за одним столом, а на самом деле — словно на двух разных планетах. Тетя Еня приоткрыла перед нами темный занавес — и такая открылась глубина. А ведь это только намек на то, что пережила и переборола в себе тетя Еня... А бабушка... И подумала я о своих. Я люблю их. И знаю многое из их жизни. И в то же время ну ничего не знаю! Даже не знаю, как папа

и мама полюбили друг друга. Ведь и они сначала не были знакомы. Ну, знаю, что вместе учились в институте, а что чувствовал папа, когда увидел маму? Что она? Каким он ей показался? Что она подумала? Сейчас невозможно себе представить, как это папа и мама были разными людьми.

И мы все живем и ничего не знаем друг о друге. Вот и Зульфия сейчас со мной, я чувствую ее тепло. А она ведь не знает, что мучает меня. Не знает про Никонова. И я тоже не знаю — может, и у Зульфии есть свои тайны. Но я, например, ни за что не рассказала бы ей про свои.

«ОЙСЯ, ДА ОЙСЯ!»

У нас началась подготовка к октябрьским праздникам. Вот интересно: в прошлом году, когда мы учились в пятом классе, ничего у нас не было. А в шестом все здорово переменялось.

Обеды теперь варили из хорошей картошки, а суп даже луком заправляли! И хворост возить на себе не было нужды — дров школе заготовили и завезли вволю.

А вот и о концерте, о самодеятельности заговорили!

Мария Степановна попросила всех подумать, кто что умеет делать, кто что предлагает в программу. И предупредила, что лучшие номера пойдут в сводный концерт — то есть вместе с седьмым классом — и, может быть, мы поедем на смотр в районный центр.

Это само по себе здорово — смотр! От Пеньков до центра тридцать километров. Ехать на лошадях, ночевать там!

Мария Степановна особо нас предупредила, чтобы мы выбирали стихи, и песни, и сценки не только на военную тему — хорошо бы что-то из жизни наших национальных республик, из русского фольклора.

Не знаю, кому как, а мне в самодеятельности больше всего нравится подготовка. С самого-самого начала, когда ищешь, выбираешь, пробуешь, что предложить в концерт. А потом начнутся поиски костюмов, шитье-перешивание, потом декорации придумывать, оформление, музыку искать... Все ужасно интересно, больше ни о чем не думаешь. А потом репетиции! Но это уж совсем потом!

Особенно здорово было, что мы живем вдвоем с Зульфией. Все время вместе!

Сначала мы с ней дома сели и записали, что можно спеть. Много же мы, оказалось, знали песен — все в дороге пели, от Лены я узнала немало. Конечно, прежде всего «Вьется в тесной печурке огонь...». Мы ее еще в совхозной школе пели, в четвертом классе. Потом, «Офицерский вальс»: «Ночь коротка, спят облака». Очень кстати вспомнили и «Васю-Василька». Песня весело и дружно получается из-за громкого припева: «Эй, дружок!», если только грянуть, особенно мальчишескими голосами: «Эй, Вася-Василек!» И зачастить-зачастить с издевочкой:

Не к лицу бойцу кручина,
Места горю не давай.
Если даже есть причина,
Никогда не унывай!..

И потом опять вразтяжку:

Места горю не давай-ай...

И снова резко, весело:

Никогда не унывай!

И повторяли:

Не унывай!

Это обязательно надо! Эх, хорошо бы спеть то, что по радио не поют, а мы поем по дороге:

Вдыхая розы аромат...

Или:

Эх, бирюзовые, золоты колечики...

Или:

Эх, загулял, загулял, загулял
Парень молодой!..

Одним словом, все на «Эх!». Но мы понимали, что эти песни не для школы. Хотя взять песню «Ехали цыгане», где «парень молодой»... Она, пожалуй, и годится. Тем более, что имеет национальные черты: про цыган.

Зульфия со мной согласилась и предложила вспомнить еще и про Шамиля.

— Можно б и «Хас-Булат удалой», тоже национальная,— задумчиво сказала Зульфия,— но там есть слова еще не для нас... Помнишь ведь?

Я кивнула.

— А так она хорошо у нас получается...— продолжала Зульфия. Мы с ней немного помурлыкали мелодию — хорошо! Широкая, раздольная! Ну, да что время зря терять, ясно, что ее нельзя.

И мы стали вспоминать Шамиля. Ведь Шамиль — национальный герой, вождь восставших. Это будет кстати.

Но мы вспомнили только два куплета и припев. Это все знают:

На горе стоит Шамиль,
Молится он богу...

Хм, богу... Не очень-то хорошо, конечно... Но все-таки понятно. Ведь в то время восставшие мусульмане верили в своего бога и как раз объединялись на борьбу с царем на почве религии и своего бога. Потом шло в песне так:

Вынимает свой кинжал,
Кладет на дорогу...

И тут меня осенило!

— Зульфия! — заорала я. — Это же можно все разыграть! Кто-нибудь будет Шамилем и все, что поется, станет выполнять на сцене! Во, гляди!

Я встала в горделивую позу, выставив ногу вперед, и хмуро посмотрела вдаль. А потом медленно опустилась на колени и провела ладонями, сложив их в лодочку, по лицу, ото лба к подбородку. Затем настала очередь кинжала. Медленно подведя правую руку в пояс слева, я еще медленнее вытащила «кинжал», придерживая «ножны» левой, и, склонившись, положила его на дорогу.

Я вскочила!

— И потом Зульфия:

«Ойся да ойся!
Ты меня не бойся!
Я тебя не укушу,
Ты не беспокойся!»

Это мы уж с ней вместе проорали, выкидывая друг перед другом руки то вправо, то влево и высоко вскидывая колени. Лезгинку мы с ней изобразили.

— И знаешь, когда пойдет «Ойся!», пусть он кинжал возьмет в зубы, вот так! — оскалилась яростно Зульфия, и ее черные глаза сверкнули страшно.

— Зульфия-а! Да ты знаешь, что ты готовый Шамиль! Посмотрись-ка в зеркало, вот так! — И я оскалила зубы.

Зульфия посмотрелась, но долго не могла удержать свирепую гримасу — расхохоталась.

Потом мы быстро записали второй, всем известный куплет. Это когда к Шамилю приходит его невеста (очевидно, туда же на гору) и нежно его упрекает:

«Ах, зачем ты не пришел,
Когда я велела,
До двенадцати часов
Лампочка горела!»

И дальше снова яростный танец «Ойся!». Теперь уже вместе с невестой. Как танцуют горские невесты, мы не знали, и на всякий случай, пока, она танцевала как Шамиль.

Тут мы решили, что для невесты я не гожусь, потому что почти на голову выше «Шамя», и согласились: отличная невеста выйдет из Верки Матвеевой.

Но больше ничего мы не знали из «Шамя», только две строки из самого конца, где он грозно говорит своей невесте:

«А затем я не пришел,
Чтоб тебя зарезать!» —

и закалывает ее кинжалом.

— И это не понятно, — вздохнула Зульфия. — Он не пришел, чтоб ее зарезать!

— Нет, понятно, — возразила я. — Это он так иронизирует. Дескать, вчера бы пришел, так вчера бы зарезал. А так сегодня сама, мол, напросилась.

Но тут я замолкла, так как все равно было неясно: за что Шамиль должен резать невесту?! Тем более, будучи вождем восставшего народа, хоть пока и несознательным? Ответ подсказал Хас-Булат: там-

то были все куплеты известны. Мы вспомнили Хас-Булата и догадались, за что: за измену!

Теперь оставалось лишь сочинить куплеты, чтоб и всем стало ясно. Естественно было начать ответ издалека, повторяя невестин же вопрос:

«Ах, затем я не пришел...»

Конечно, он к ней обращается: «Моя дорогая!»

Итак:

«Ах, затем я не пришел,
Моя дорогая...» —

написала я, проговаривая вслух, и Зульфия легко dokonчила, одним духом:

«Что молился на горе,
Кинжалом сверкая!»

И мы дружно закрепили успех припевом!

А дальше должна она сообщать про свою измену, и тоже с издевкой и в открытую, как полагается гордой горянке.

«Ты меня не пожалел...» —

стала я писать, и пока моя рука выводила буквы, в голове сложилось остальное:

«Но и я молилась!
А теперь узнай, что я
К тебе изменилась!»

И пошла «Ойся!», да такая, что чуть зеркало не сорвалось с крюка над столом!

— Слушай! — вдруг среди «Ойся!» остановилась Зульфия и в ужасе округлила глаза. — Слушай! Я ведь вспомнила настоящий куплет! Что же, теперь все пропадет?!

— Говори же! — топнула я ногой в азарте и бешенстве.

«Ах, затем я не пришел,
Кинжал затупился...
А теперь я наточил
И к тебе явился...» —

падающим голосом, все ниже и тише, проговорила Зульфия.

Мы стояли друг против друга, как два боевых петуха, уже утративших пыл боя, но еще не умеющих разойтись с честью.

— Ой, Зульфия! Как хорошо, что ты его не сразу вспомнила! — начала я что-то понимать. — Тогда б мы ни за что не стали сами сочинять... А больше ничего не помнишь?

Зульфия затрясла головой, что нет.

— Правда, — заговорила она уже веселей, — этот куплет вовсе не мешает! Пусть будет!

Мы закончили жуткую историю шамильской любви, сочинив и еще один куплет, который исполнялся на два голоса. Невеста спрашивает:

«Ты зачем его точил?
Это что за дерзость?»

И он отвечает:

«Я затем его точил,
Чтоб тебя зарезать!»

Мы были очень довольны. И много раз подряд проделали «Ойся!». Устали и уселись к столу, чтоб все хорошо переписать в двух экземплярах. Но, дойдя до припева, я споткнулась: «Я тебя не укушу» совсем не подходит ко всей сцене! Какая-то ерунда. Словно бы в насмешку. Я сказала об этом Зульфие. У нас же трагедия! Шамиль же кинжалом ее зарезал!

— Ага! — нашлась Зульфия. — Вот так и напишем — про зарезать! Ого как!

«Ойся, да ойся!
Ты меня не бойся,
Я тебя не буду резать,
Ты не беспокойся!»

Мы все переписали. Теперь «Шамиль» готов к первой встрече с Марией Степановной. А у меня было еще одно предложение. Я хотела прочесть отрывок из статьи, вырезанной мною в прошлом году из газеты «Правда». Я хранила его в тайной тетради, где у меня между страниц лежали вырезанные из газет стихи, фотографии и вот даже одна статья.

Но я приберегу ее для генеральной репетиции. А сначала только Марии Степановне покажу. Потому что много раз нельзя вслух читать то, о чем в ней рассказывалось. Я и Зульфия не могла ее показать: тетрадь хранилась дома.

И, переписав все и сложив в сумки учебники на завтра и принимаясь готовить свой завтрашний обед, мы не могли успокоиться

и все пели «Шамиля». Мы представляли себе, как Вера Матвеева запоеет:

«Ах, зачем ты не пришел...»

И я жалела, что не придется самой участвовать в «Шамиле». А не придется! Тем более, если читать тот отрывок из статьи.

* * *

Утром выпал первый снег. Тот самый, который зиму предвещает, но еще не начинается. И все равно: первый снег — событие! Мы шли в школу и дышали свежим запахом огурцов. Очень люблю я, когда так пахнет. А то бывает в день первого снега в воздухе запах сырой тыквы. Такой запах иной раз стоит и в зимние оттепельные вечера.

Но сегодня чуть морозно, хоть и тучи. И пожалуйста — огурцы.

Снежок летел реденько, а неровный, порывами, ветерок не давал ему улечься спокойно. И вся улица — застывшие глубокие колеи разъезженной грязи, бурая трава по обочинам — кажется особенно неприветливой из-за сиротливо прячущейся в бороздах и рытвинах, под комками и кочками тонкой, серенькой рясочки снега. В траве его пороша побелее. А небо тоже грязно-серое, низкое. И все-таки первый снег — событие! В этом году он — первый. Это что-нибудь да значит.

— Ойся да ойся! — покрикиваем потихоньку мы с Зульфией, прыгая с одной мерзлой кочки на другую.

— Ойся да ойся! — сшибаемся плечами, убегаем друг от друга.

* * *

Почему-то Мария Степановна не пришла в восторг от нашего сочинения о Шамиле. Это она так сказала. А сначала смеялась.

Увидев, как мы опечалились после ее слов, посоветовала где-нибудь дома исполнить «эту оперу», как она выразилась.

Вот так всегда! Мы стараемся, нам хорошо и весело, а у взрослых какие-то свои соображения, и твоя работа и радость превращается в одно недоумение. В какую-то глупость... Все настроение испортила нам на целый день!

В большую перемену, печальные, мы вышли с Зульфией за школу. День прояснился, а мороз остался и, может, еще и окреп. Мы сели

на завалинку, обшитую тесом, под окна нашего класса. Шестой класс смотрит окнами не во двор, как пятый, а в противоположную сторону — за большой, будто пропасть, овраг, на зады и огороды одного из проулков села.

Мы сидели, щурясь от солнышка, смотрели, как последняя паутинка совсем запоздавшего и терпящего бедствие паука-путешественника дрожит и переливается, зацепившись за древесное волоконец на стене нашей школы; как прощально зеленеют травинки на южном склоне оврага, упрямо прорастающие, несмотря на позднюю осень, невзирая на пожелтевшие, побуревшие поколения своей родни, полегшей вокруг и над ними. А может, благодаря сухостою и зеленели травинки: их согревало солнечное тепло, удержанное над землей темными, бурыми стеблями бурьяна.

Небо в разрывах туч было сегодня таким по-летнему синим! Но серые, безобразные тучи с лохматыми, раздерганными краями не давали долго покрасоваться голубому теплему оконцу, стирали его, словно наша пропитанная, пропыленная мелом классная тряпка, которая делала доску не чистой, а мутной. Но как блестел бурьян на огородах за оврагом и в самом овраге в эти редкие солнечные минуты! Как блестели круглые стебли-соломины умерших трав! Неистово, ослепительно! Летом блестит и свежая трава на лугу, но она мягка, шелковиста, а сейчас ее блеск как сверкание сложенного, брошенного в бегстве оружия, доспехов.

Мы сидели, смотрели, прощались с землей перед снегом. Даже наша обида как-то утихла. Или слилась с печалью земли.

Но прозвенел звонок, и очарование исчезло.

— Эх! Обидно! — сказала Зульфия. — Скукота теперь будет, а не концерт.

— Говорит — придумайте, а придумали, так и смеется!.. Ну и пусть будет, как сами хотят.

А получилось так, что вовсе ничего не было. Пришел Мелентий Фомич и объявил, что раз всех нас распускают по домам в субботу четвертого, а в колхозе торжественное собрание будет шестого, то концерт готовят лишь пеньковские ребята. А деревенским и совхозным не стоит приходить — каникулы короткие.

Не будь истории с «Шамилем», мы бы расстроились. А так — позлорадствовали: «Вот и хорошо! Поделом!»

КАРУСЕЛИ

Зима нынче выпала обильная снегом. Шел снегопад за снегопадом. Так что почти каждое утро к нашим воротам и калитке надо было расчищать дорожки. Образовались глубокие траншеи с крепкими вертикальными стенками.

Чистили старательно, чуть не до земли. И дорожки были ровные, присыпанные белой снежной крупкой.

Нам редко доставалось чистить. Только когда тетя Еня не успевала сделать это поутру сама.

Мы просили ее нас дожидаться после школы. А она удивлялась: «Неужто полдня занесенной сидеть? Да в снегу вязнуть? Люди скажут: это что ж за ленивый двор? С утра не чищен!»

Но иной раз и стоял двор «ленивым». И уж тогда мы старались, придя с уроков! Приятно вонзать широкую и белую деревянную лопату в свежий пласт снега. Ш-ш-ш! — шуршит по лопате. Вырубишь кубик, подденешь снизу — как пышный кусок бисквита! А иной кусок распадется, рассыплется. Мы соревновались, у кого больше цельных кусков.

А Лешка работал у своего двора. Почти всегда как мы выходили, так и он. Залезет на свои ворота и свистит нам. Но не подходит. Только кричит: «Эй, девчата! Кто скорей!» Нынче помирнее стал Лешка.

А как-то мы увидели, что они с Карпэем что-то строят перед никоновскими воротами. Какие-то жерди у них лежат, снег они роют — только пыль столбом!

А на следующей неделе, когда мы все шли из школы домой, ребята, обогнав нас у поворота в проулок и отойдя порядочно, закричали:

— Эй, совхоз! Приходите после обеда к нашему двору! Чё-то покажем!

Мы остановились. Переглянулись.

— А драться не будете? — крикнула Зульфия.

— Вона! Чё, мы дрались ли когда? — обиделся Лешка.

— А мы еще девчат позовем! — прокричала я, думая, что если нас больше, так спокойней.

— Зовите хоть ребят! — ответили нам.

А у них правда было что-то интересное, мы и сейчас видели:

тележное колесо, укрепленное горизонтально над землей, чернело у Лешкиных ворот. А на нем, перечеркивая его по диаметру, лежала длинная слега.

— Эй, придете? — еще позвали мальчишки.

— Придем! — переглянулись мы с Зульфией и прыснули от смеху.

Мы сбегали за Шуркой Омелиной, кликнули Зину Косину, и когда пришли к Лешкиному двору, увидели, что там и наш Степка Садов. Он, длинный, как столб, ходил вокруг колеса и, прицокивая, одобрял работу. А Лешка и Коська стояли рядом, как братья, руки в карманах, и принимали поздравления спокойно и с достоинством.

Увидев нас, Лешка подпрыгнул и хлопнул себя рукавицами по бокам.

— Сколько девчат, а санок двое! — И убежал во двор к себе.

Настала пора и нам удивляться. Колесо было насажено на крепкий кол, намертво вмороженный в снежный конус, хорошо утрамбованный и залитый водой. А вокруг колеса была проложена круговая дорожка, тоже ледяная. Получалась такая здоровая окружность с колесом в центре.

— А слега зачем? — спросила я, хоть могла спросить с тем же успехом: «Колесо зачем?»

— Счас увидишь! — радовался Карпэй.

— Это карусель! Каталка-ледянка! — сказала Зинка. — Мне мама рассказывала — им парни тоже устраивали, а я еще не видела такой!

Когда Лешка приволок санки и привязал их к концам слеги — одни санки на один, а другие — на второй конец, все поняли, что за штука.

— Садитесь, девчонки, не бойтесь! — суетились ребята. — Эх, прокатим!

Но мы им не очень-то доверяли.

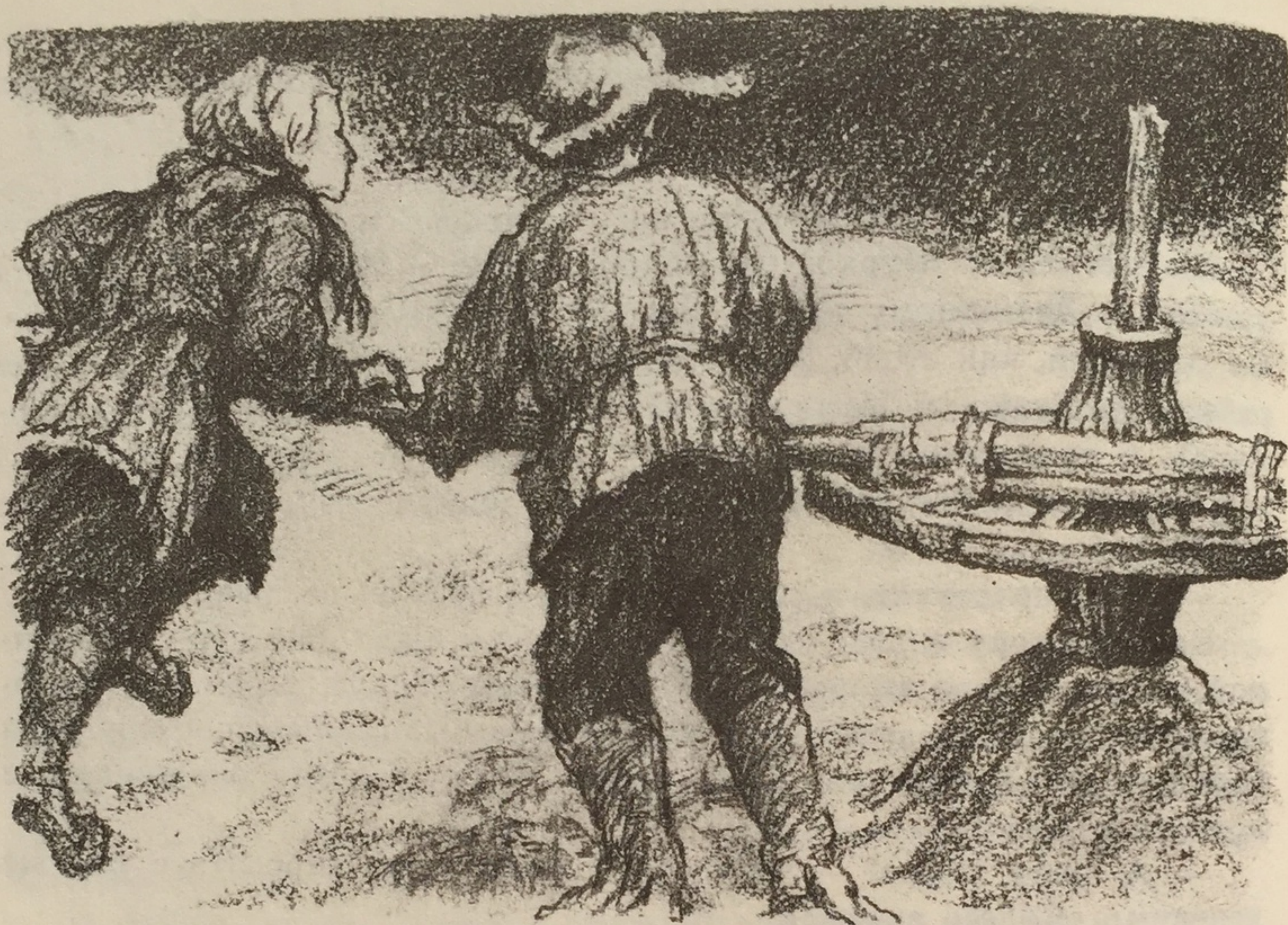
— Еще раскрутите да оборвете веревки! — сказала Шура.

Но Зина побежала к салазкам и уселась лицом вперед, поджав под себя одну ногу, а другую вытянув назад, чтобы тормозить и править.

— Во, Коса! За что люблю тебя — за смелость! — довольно сказал Лешка.

И я увидела, как вспыхнули глаза и щеки Зинки.

Во вторые санки плюхнулся Степка, загребая во все стороны ногами. А мы, оставшиеся, как научил нас Лешка, взяли за слегу и пошли по кругу. Натянулись веревки, и повело карусель! Полетели



птицами санки по ледяной дорожке — только визг и свист из-под полозьев! Это была забава так забава!

Лешка, когда карусель раскрутилась, кинулся в санки к Степке, веревка не выдержала, лопнула, и они стремглав полетели прямо в никоновские ворота! Ворота загремели, ребята отскочили от них, как тряпочные мячи, в сугроб!

Мы их откапывали, увязывали веревку, подцепляли ее к слеге...

Удивительное чувство, когда летишь по кругу на санках: тебя рвет в сторону могучая сила, и ты изо всех сил вливаешься в хрупкие санки, понимая: оборвется веревка — и ты вместе с санями превратишься в дальнобойный снаряд.

А дыхание сжимает восторг скорости! Но девчат мальчишки вели осторожно — если сбрасывали петлю веревки со слег, так уж не на большой скорости. И мы кувыркались в сугробы просто для веселья. Скоро все были мокрые и румяные, но не уходил никто, пока Лешку не крикнула мать.

Но Никонов все-таки попытался обнять меня, когда мы бежали



рядом, толкая слегу. Мы бежали и кричали что-то, будто так всегда и было, будто мы всегда дружили и играли вместе... И, повернувшись к Лешке, я ему крикнула сквозь смех: «Во здорово! Весело, да?!» И этот дурак Никонов сразу полез обниматься, да еще и заорал во все горло: «Вот ты где мне попалась!»

Я вывернулась и, отпрыгнув в сторону, крикнула ему:

— Только полезь еще! Меня здесь больше не увидишь!

А Никонов знай хохочет и, ничуть не смутившись, мне:

— Ишь, Плетешок! Какой вредный! — И Степке: — Степан, как ты терпишь?! У вас в совхозе девчата эдакие непримиримые!

Но Степа в этот момент на санках по кругу вжикал и не слышал Лешкиной подначки из-за свиста полозьев по льду, из-за ветра в ушах. Только я слышала и ответила:

— А вот такие!

Хотела я тут же уйти, да уж очень было весело! И, постояв немного, я взялась за слегу с другого конца, где бежали Шурка и Карпэй. Больше Лешка меня не задевал.

Уходя, Карпэй и Лешка нас звали:

— Завтра придете?

Еще бы не прийти!

Вечером, ложась спать, я посомневалась, не нарушаю ли я свою клятву против Никонова. Решила, что нет. Что ж мне, царевну-несмеяну из себя строить?! Все-таки что-то мне досаждало, мешало. Пришлось честно сознаться, это были Лешкины слова: «За что я люблю тебя — за смелость!», сказанные Зинке. Он, наверное, думает, что я несмелая...

Тетя Еня, слушая вечером наши рассказы, улыбалась и сказала:

— Что и говорить, постарались ребятки. Они накануне-то, поди, всю ночь возились, воды-то много потребно на заливку. Я ночью скотину проведать выходила, слышу, колодезь у Никоновых скрип да скрип. Выглянула — видать плохо, да слышу — водой плещут. Что, думаю, за плесканье середь ночи да зимы? Да вспомнила: днем-от у двора колесо торчало! Догадалась: карусель вмораживают ребятки. Вот как они вас уважили! Весной, поди, качели поставят... Растут парнишки. Вишь, летось никаких ледянок мы с вами не видывали, а нынче — вот...

ДЕЖУРСТВА

А вскоре после открытия карусели произошло новое событие. Да какое! Никто его и не ждал. Началось все поздно вечером, когда уже ничего бы не должно начинаться. Сидели мы после ужина, рисовали вырезанным из бумаги куклам наряды — платья, и шапочки, и пальто. Такие фасоны придумывали, какие нам самим для себя хотелось, да не было, как вдруг...

Вдруг слышали — брякает щеколда калитки! И вот уже торопливый бег по крыльцу. Поздний гость в неурочный час!

— Можно ли? — тонкий голос за дверью.

— Входите! — разом крикнули мы с Зульфией.

И в комнату вошла Шура Омелина. Она почтительно поздоровалась с тетей Еней, а потом приказала нам:

— Живо собирайтесь — и в школу! Директор велел, всех по цепочке собираем. Я вот к вам, а вам надо зайти за Никоновым и Карповым.

Я уже шла к вешалке за пальто, когда меня настигли Шуркины слова, и я чуть не упала, так затормозила свой разгон.

— Ты чё спотыкаешься? — подозрительно смотрит на меня Шурка. И тут меня просто осенило!

— Шур! Ты уж одета, обута, а у меня вон еще валенки в печке просушиваются. Тут два шага до Никоновых! Сбегай, а? Мы тем временем готовы будем, и ты как раз к нам подойдешь, не дожидаясь мальчишек, и мы все пойдем.

— Нну ладно... — нехотя согласилась Шурка. — Только вы тогда быстрее! Я-то в два счета... — Дверь за ней закрылась.

Мне показалось, что тетя Еня с интересом глянула на меня из-за прялки. Я вспыхнула. Она, конечно, не могла догадаться, почему мне не захотелось идти к Лешке. Да и мы уже выбежали из дома, некогда было думать, что там думает тетя Еня.

За калиткой, в крепко морозной тишине звездной ночи мы сразу услышали крахмалистый резкий скрип снега: вниз от дома Никоновых по склону пологого холма неслась Шурка.

— Айдайте! — махнула она нам и пронеслась дальше.

— Шурка, пожар, что ли?! — возмутилась Зульфия. — Что несешься?

Шурка приостановилась, тяжело дыша.

— Да ну их в самом деле! Подумаешь, испугали!

— Кого «их», Шура?

— Мальчишек ваших! Ведь не хотела я идти. И не надо было! — сказала она обиженно.

— Ну?

— Ну что «ну»? Я им говорю — они оба у Лешки сидели — в школу давайте! Сбор, мол, по цепочке! А тут Лешка как подпрыгнет, как козел! И на меня! «Если, говорит, по цепочке, какого черта ты здесь? Наша, говорит, цепочка — это Плетнева и Закирова! Они должны были прийти! Поняла, нет?» Прямо орет! Даже его мать вышла и ему по лбу дала, вот! «Ты, говорит, что разорался! За тобой, grit, девчонка прибежала, а ты вместо «спасибо» на нее глотку дерешь!» Я и за дверь! Думаю, еще драться начнет, Лешка-дерешь!» Я и за дверь! Думаю, еще драться начнет, Лешка-то! Фиг вам, чтоб я больше пошла вместо вас! — закончила Шурка торжественной клятвой.

— Подумайте, какой Никонов у нас гордый, — возмутилась Зульфия. — Цепочка ему не та!

Ну, а я молчала. Затаилась.

* * *

Срочный сбор по цепочке созвал военрук. В наш класс набились шести- и семиклассники — конечно, только пеньковские. И вот что объявил нам военрук:

— Как мы есть военная часть, со своим оружием — имеем винтовки и гранаты, — и эта наша матчасть (материальная часть) есть военный объект, мы должны его охранять. То есть нужен пост с часовыми. Для охраны военного объекта, то есть нашего оружия — винтовок и гранат. Конечно, — для справедливости добавил военрук, — винтовки и гранаты наши есть деревянные макеты, но и мы сами, ученики, еще не самые бойцы, а, можно сказать, тоже еще макеты бойцов. Значит, все и будет в самый раз. А теперь, — повысил он голос до командных нот, — сводный боевой отряд старших классов Пеньковской семилетней школы, на дворе построиться!

Как интересно ночью, в темноте строиться на школьном дворе! Будто нам сейчас дадут настоящее боевое задание...

Мы построились за семиклассниками и рассчитались на первый-второй.

— Первый! — из темноты донесся тонкий голосок Веры Матвеевой. — Расчет закончен!

— Каждая пара — дежурные часовые, — объяснил военрук, — по очереди, одна за другой, несут наряд по охране боевого оружия с восемнадцати ноль-ноль каждого дня, кроме субботы и воскресенья, до шести ноль-ноль следующего дня. От уроков дежурные не освобождаются. Назначаю по двое человек, чтоб, сменяя друг друга, могли отдохнуть.

Проверяющими посты назначаю себя, директора школы и завуча школы. Дежурные часовые, застигнутые на посту во время сна, будут строго наказываться, вплоть до исключения из школы.

Вот так вот... Да, наряд по охране оружия несут только пеньковские. Деревенские освобождаются, поскольку далеко живут.

— А как дежурить-то? — весело спросил Никонов.

— Теперь снова в класс! Там поговорим!

Ну, оказалось ничего страшного: просто ходить с винтовкой (макетом) вокруг здания нашей начальной школы, где в одной из комнат, не занятой классом, размещался наш арсенал: стойки, в гнездах которых стояли пронумерованные макеты винтовок, а на полках,

вдоль стен, — гранаты. «Если дождь или буран, — разрешил военрук, — стоять на посту внутри школы, перед дверью, где оружие».

Начинал седьмой класс как старший. Это хорошо! Они начнут, а мы посмотрим.

Когда уже все расходились по домам, военрук вспомнил:

— Да, Матвеева! Ты, как неполный пост, придаешься Плетневой и Закировой. Все понятно?

— Так точно, товарищ военрук! — бодро отозвалась Вера, отличный боец.

С хохотом бежали мы домой, с наигранным ужасом обсуждали новость.

— Ого! Ночь не спать, а потом на уроках!

— Ой, девчонки! Страшно-то как: одна спит, а ты ходи в темноте с деревянным штыком!

— Да бросьте вы, дурочки! — басит Карпэй. — Думаете, они придут проверять среди ночи? Как не так!

— А для чего же тогда дежурства? — спрашиваю я его. — Чтобы их, что ли, обманывать? Они думают, мы дежури́м, а мы будем спать?

— Вот скажи, скажи, ты умная, — зло спросил Лешка, — зачем эти дежурства? Деревяшки наши, что ли, в самом деле охранять? От кого? От крыс?..

Он ждал, что я отвечу, а я молчала.

— Ну? Чего молчишь? — вдруг ласково понукнул он меня. — И такой это был резкий переход от злого к ласковому голосу, будто в темноте было два Лешки с разными голосами.

Я ничего не могла придумать ему в ответ. Я понимала, что дежурства — это очень здорово придумано и, конечно, не для того, чтобы спать, обманывая военрука.

— Для того, чтоб интересней было, — сказала я, наконец, неуверенно. Глупость, конечно. Понимала, что не то говорю.

А надо бы сказать правильно, чтоб сразу все поверили. Ведь ждали моего ответа все ребята, а не один Лешка. Они сразу притихли, когда Никонов задал свой злой вопрос. И вот я порю чепуху. Как только я ответила, все зашумели опять.

В общем-то, все согласились, дежурить будет интересно, только Зульфия справедливо, конечно, заметила, что ради нашего интереса никто бы не стал хлопотать.

Опять стали смеяться, придумывая, как можно напугать дежурных: тогда и интерес, когда страшно!

Говорили, что надо выдолбить тыкву, прорезать в ней дырки для глаз и рта и подсвечивать изнутри из тыквы свечкой. Если в темное ночное окно заглянет такой страшила, да когда не ждут, тут можно с ума сойти, как жутко станет!

— Ну, Плетнева, мы вам с Веркой устроим интерес! Мы такой вам устр-р-роим р-р-разинтересный интер-р-рес! — радовался Лешка, раскатывая свое трескучее «р». — Коська, мы знаешь, что сделаем...

И он, повиснув на плече своего друга, отвел его от нас и что-то, видимо, ему шептал. Потому что вскоре из темноты грохнул их мерзкий хохот.

— Гиены! — не удержалась я от злости.

— Ш-то?! — надвинулся на меня Лешка.

— Она говорит: так, как вы, гиены хохочут, — как будто с иностранного, перевела Зульфия.

— Ладно, мы с вами там и за гиен рассчитаемся, — опять успокоился Лешка, вспомнив, видимо, о своем кровожадном плане.

Остальную дорогу они с Костькой шли впереди нас, и время от времени хохот гиен повторялся.

Тетя Еня только головой покачала, услышав, зачем нас темным вечером собирали.

— Хотят из вас храбрых бойцов воспитать, — проговорила она. — Да только беды бы не вышло.

Вот он, ответ, который я не нашла вовремя! Как же это я! Ведь ясно же, и что-то такое мерещилось и мне, так нет, не нашлась...

Конечно, не деревяшки охранять, а воспитывать в нас смелость и ответственность. Скажи я так Никонову, тогда бы и весь разговор по-другому пошел.

Но потом я подумала, что и тут ребята прицепились бы: смелость, мол, будем испытывать — пугать придем смелых-то!

Я сказала об этом Зульфие, и мы посмеялись на сон грядущий.

И уснули. Утро вечера всегда мудренее!

Пришли мы в школу, а там — как в разоренном муравейнике: ребята снуют из класса в класс. Галдят, шумят, покрикивают, хохот взрывается то и дело. Дым коромыслом! Всё про дежурства! Мы тоже немедленно включились. Стали Вере рассказывать, что Никонов и Карпов хотят нас на дежурстве напугать. Вокруг тут же собрались

остальные девчонки. Стали ахать, охать, вспоминать разные истории, когда и где до смерти человека напугали. У нас так: чуть что, давай сразу смертные случаи в пример приводить. Хорошо хоть, звонок прозвенел наконец, и все разбежались по местам.

Пришла Анастасия Ивановна, красивая, свежая, чем-то раздосадованная. Встала над столом, опираясь о него дивными своими руками, бросила нам:

— С новостью вас, вояки!

— Спасибо, — нестройно ответил класс.

— Представляю, как вы будете дежурить. Проспите небось и царствие небесное! — продолжала она с полным к нам презрением. А сама между тем уже пробегала глазами журнал, выискивала «жертву».

Однако Анастасия Ивановна не стала никого вызывать, а снова заговорила:

— Директор нас, учителей, просил не спрашивать дежурных на следующий день. Но я ему сказала: раз дежурства ввели для испытания и закалки учеников, а время сейчас военное, от всех требуется больше, чем обычно, то пусть они — значит, вы, — пояснила она, — напрягут свои силы, я буду спрашивать и дежурных без скидки. Другие учителя, может, вас и помилуют, я — нет. — И добавила, покачивая сокрушенно красивой головой: — И сколько слов, сколько хлопот из-за того, что раз в месяц наши здоровые ребята чуть меньше поспят! Просто удивительно! Начнем урок.

Наверное, не одна я в классе чувствовала себя пристыженной. Недаром все-таки Анастасия Ивановна красивая. Не просто так. Умела она поддержать в нас мужество, как и тогда, в прошлом году зимой, когда мы волков боялись. Молодец она, а не злая, решила я. Действительно, раз в месяц подежурить ночью! А мы уже разохались, как да что.

Вдруг раздался голос Лешки:

— Да, Анастасия Ивановна! Об чем разговор! Да мы хоть каждую ночь не будем спать, а всё физику учить!

Класс захохотал облегченно. Еще и потому, что Лёшка ничего не учил. Только если урок не провертится, послушает, так ответит.

— Ты, Никонов, парень бравый. Будь моя воля, я б тебя сразу отправила к партизанам, разведчиком. Там бы ты пригодился. Да, глядишь, и в ум бы вошел. Понял бы, что ученье — свет.

— Ух, Анастасия Ивановна! — обрадовался Никонов, но не сдался. — А вы бы — генералом! Мы бы с вами...

Но Анастасия — не Мелентий Фомич, ее не заведешь на разговор.

— Все, Никонов, — сказала она негромко. — Поговорили.

Так вот все это началось.

Когда мы уходили в тот день домой, увидели: человек пять из седьмого класса возле здания начальной школы — главного штаба дежурств — пилили и кололи дрова.

— Зачем? — спросила Тоня Антипова.

— А для ночи! Печку топить! — ответила одна девчонка, набравшая охапку дров. — Ночью холодно знаешь как!

Вечером на школьном дворе собрался народ: ребятам не терпелось поглядеть, как начнется дежурство. Крыльцо начальной школы, более широкое, чем наше, — вроде небольшой открытой веранды — походило на сцену, наверное, и потому еще, что его освещал фонарь «летучая мышь», стоящий на верхней ступеньке.

Актером был парень-семиклассник. Держа наперевес деревянную винтовку (все деревянное: затвор, искусно выпиленный, ствол, штык), он стоял и, свирепо потрясая штыком, кричал под общий хохот:

— Бабы, цурюк! Цурюк! Девки, форвертс, форвертс! — подражал фильмам про немцев.

Ему кричали снизу, со двора:

— Федьк! Фриц! Устав нарушаешь! Тебе надо вокруг объекта ходить, а ты на крыльце торчишь! Заяц ты, а не часовой!

Федька опять свое «цурюк!» кричит и добавляет:

— Русиш нихт ферштанде! — Потом обернулся назад и крикнул: — Валька! Давай гранаты! Мы их счас гранатами отгоним!

А ребята восхитились:

— Фриц! Федька! Ты по-немецки шпрекаешь будь здоров! Тебя бы Анастасия послушала — сразу б «пять»!

И тут на крыльцо вышла девчонка с гранатами в обеих руках.

Так вот кого видели мы в минувшую субботу, когда шли домой! Она нам повстречалась у самого леса. Очень понравилось мне тогда ее лицо, сразу видно — не здешняя, не пеньковская. А Степка Садов пояснил: «Это нового лесничего дочка. С кордона».

Лесной кордон — лесничество, дома два-три — стоял на опушке того леса, через который мы ходили. Только наша дорога поворачивала резко влево вдоль леса, а на кордон — вправо.



Наверное, эта Валька первую неделю училась. Многие ее еще не знали, потому что стали спрашивать друг друга: «Чья это такая? Чья это?» И кто-то отвечал: «Наша это! Новенькая у нас! Валька Ибряева!»

А Валька передала гранаты этому Федьке-Фрицу и стоит, чуть улыбаясь ямочками на щеках, миндалевидными карими глазами в таких китайско-японских припухлостях над веками. Красноватый свет фонаря еще больше смуглил ее и без того смугло-розовые щеки, золотил виднеющиеся из-под серой пуховой шали гладкие светлые волосы, зачесанные назад. Она всем своим обликом отличалась от наших девчат, даже от Верочки Матвеевой. Вспоминалась мне при виде ее хорошая еда: свежие сливки, масло в прозрачных каплях влаги, пышный белый хлеб с румяной корочкой, янтарный мед в сотах, земляника на белом фаянсовом блюде.

Раздались голоса мальчишек:

— Эй, Федька, уступи дежурство!

— И я б с такой подежурил!

И голоса девчат, немного обиженные:

— Ишь разбежались! Новенькую увидели!

И теперь казалось, что Федька со штыком и гранатами поставлен охранять эту девчонку-несмеяну: она все так же молчала, чуть улыбаясь уголками губ, невозмутимая и спокойная.

— Снег сухой, эх жалко! Снежки не лепятся! Мы б их сейчас вместе с гранатами! — вздохнул кто-то и швырнул пригоршню снега в Вальку. Но снег только осыпал легонько нижние ступеньки крыльца.

В это время от ворот показалась высокая фигура, слышались твердые шаги. Шел военрук. И ребята-зрители поспешили забежать за деревья, за угол школы — кто куда.

Мы с Зульфией отправились домой и слышали, как Федька докладывал: «За время дежурства происшествий не случилось!»

И как военрук одобрил: «Молодцы! Продолжайте службу!»

— Значит, все-таки проверяет! — сказала Зульфия с торжеством.

— Еще бы! Первый-то раз, конечно, будет проверять! — ответила я рассеянно. Я думала о Вальке Ибряевой.

Красота человеческих лиц имеет надо мной какую-то таинственную власть. Она сбивает меня с толку. Мне кажется, красивый человек — не такой, как все. Особенный. Гораздо лучше, чем обыкновенный. Что у него не может быть слабостей, как у всех нас: он ничего и никогда не боится; он неподкупен; он ни за что и ни по какому поводу не соврет; не обидится из-за пустяка или глупости. И не обидит другого человека. Что главная его черта — великодушие. Я долго страдала, когда видела, что Анастасия Ивановна не такая, какой, по моему представлению, она должна бы быть при своей внешности. Чересчур уж много гордости, даже в презрение к другим — к нам — переплскивает. Мне казалось, что великая гордость, которая должна быть у красивых людей, — в невозмутимом спокойствии. А его Анастасии не хватало.

А Валя Ибряева оказалась сразу как раз такой, какой и должна быть: спокойной, невозмутимой и, конечно же, великодушной. Я все видела, как она стоит на крыльце перед целой толпой и — ни слова! Такая чудесная. Ее хочется видеть снова и снова.

Ведь красивых по-настоящему — мало. Однако я могла, если настроить себя как следует, отвлечься от всего и сосредоточиться, — могла найти красоту в лице любой нашей девчонки. Что-то найти такое, чем можно любоваться на уроке, когда скучно.

Сидишь и придумываешь, что если темно-рыжие Душкины волосы,

увязанные кое-как в косицы, распустить и завить, чтоб от пробора шли волны, — как красиво тогда ляжет на них солнечный свет, который сейчас зря светит ей на макушку... Пойдет тогда по рыжим волнам красный отблеск. Тогда бы глубоко сидящие серые глаза Душки стали таинственными, как огоньки.

На лице Нины Ивановой — длинном и, в общем-то, унылом лице, бледном и худеньком, — меня удивляли нежные прозрачно-розовые губы. Может быть, они были такими от малокровия? Когда Нина отвечала урок, виднелись ее ослепительно белые — как ни у кого! — зубы. Такие розовые губки и влажно-блестящие белые зубки могли принадлежать прекрасной красавице, какой-нибудь французской маркизе, как на двух старинных фарфоровых чашках, сохранившихся у моей бабушки. Там были изображены молодые дамы в пышных юбках и кавалеры в узких камзолах. Они сидели и стояли на зеленой лужайке на фоне дымчато-туманного сада. И розовый цвет юбок на дамах и роз на кустах был такого тона, как Нинины губы, а сами чашки изнутри были белые, как ее зубы. Потому, наверное, мне и вспомнились маркизы, пока я, глядя на Нину, отвечающую у доски, размышляла, отчего все ее лицо так не соответствует рту, и наблюдала с отрадой, как она говорит.

— Тебе понравилась? — спросила я Зульфию. Я не заметила, что мы уже подошли к дому. Мне казалось, что мы еще где-то у школы.

— Что понравилось?

— Ну, эта, новенькая в седьмом.

— Ничего, чистенькая, — добросовестно подумав сначала, ответила Зульфия.

— Мне она кажется красивой...

— Тебя послушать, так у тебя все красивые.

— Ну уж нет! Очень редко встретишь красивых.

Зульфия не ответила. И правильно. Чего тут спорить.

ИЗМЕНА!

Все опасения, что ребята во время дежурства как-то особенно нас напугают, отпали сами собой. Казалось, Никонов забыл о своих угрозах и вообще обо всем, что причисляло его к ученикам шестого класса.

На другой же день после первого дежурства мы на переменах и не видели Лешки. Площадка перед нашей первой партой опустела. После первого урока Никонов пулей вылетел из класса и исчез за дверями седьмого. Нам с Зульфией с нашего места хорошо видны двери в этот класс. В шестом парты стояли лицом к двери, а не спиной, как в пятом было. Если двери в седьмой класс и наш класс кто-нибудь оставлял открытыми, мы видели насквозь весь их класс — крайние к проходу парты, вплоть до учительского стола. Но Лешка захлопнул двери за собой.

Так было после каждого урока. Весь день. И следующий тоже. И всю неделю. Лешка возвращался на уроки только после звонка, с невидящим взором, будто мимо пустого места пробегал мимо нашей парты к себе на «камчатку». Сбылась моя мечта: мне некого было больше опасаться. Теперь я выходила из-за парты, подходила к доске и карте, объясняя уроки девочкам и даже мальчишкам, не опасаясь, что сейчас налетит мелким бесом Никонов, начнет передразнивать или крутиться, норовя задеть, трясти доску. А за ним побегут те, кому я объясняла, чтоб его отогнать, и пойдет кутерьма!

Несмотря на то что жить стало спокойней, как сказала бы моя бабушка, тишь, да гладь, да божья благодать, меня одолевала грусть. С большим сопротивлением, с великой неохотой призналась я в этом себе. Даже не призналась, а просто не могла не почувствовать некую пустоту вокруг. Опустела не только «арена» перед нашей партой — сам воздух вокруг меня стал разреженной. Не было сомнений, почему Лешка все перемены проводил в седьмом классе. Он посвящал их Вале Ибряевой. Он даже вырос в моих глазах: если ему понравилась эта девочка, значит, не такой уж он простофиля, как могло показаться сначала. А то, что он побежал в седьмой сразу после того, как я сама увидела Валю на крыльце и восхитилась ею, тоже казалось мне значительным и важным. Это как-то по-новому связывало нас — не какими-нибудь дурацкими приставаниями, а уже чем-то от нас отвлеченным. Нам понравился один и тот же человек, и, наверное, одновременно. Хоть я не запомнила, был ли во дворе школы Лешка в тот вечер, когда Валя с гранатами в обеих руках показалась на высоком крыльце.

И, снова представив Валю на том крыльце (я ее, конечно, и в школе теперь видела каждый день, но представляла себе неизменно такой, как тогда), я одобряла Лешку. Будь я мальчишкой, сама бегала

бы в класс напротив смотреть на нее. Почему же сейчас не бегала? Потому что вышло бы, что я за Лешкой. Но, встречаясь с ней, я смотрела во все глаза.

А пустоту вокруг все-таки ощущала. И это мне очень не нравилось.

* * *

Одиноко чернело колесо карусели перед избой Никоновых. Сами мы не пошли бы, а Лешка про нас забыл. Вальку он не мог позвать — она уходила после уроков на свой кордон.

Так пришли и ушли зимние каникулы. Дома я отогрелась и хотя про Лешку и Вальку не забывала, но думала отвлеченно от себя, как про кино.

А после каникул подошло и наше с Верой и Зульфией дежурство, и снова начались разговоры о самостоятельности, о весеннем смотре, о большом концерте...

«ЧАСОВЫМ ТЫ ПОСТАВЛЕН У ВОРОТ...»

Сразу после уроков в день дежурства мы не пошли домой: надо было засветло напасти дров для долгой ночи. Как всегда, вместе с дежурными вызвались поработать добровольцы. Хоть и бегал теперь Лешка в седьмой класс, а увидев, что мы с Верой несем пилу и топор из школьной кладовой, остановился — уж домой было направился — и присвистнул:

— Ага! Вот кто сегодня в часовых! А ну, Карпэ, беремся!

И они с Карпэем, да еще Степа наш, нарубили нам такую гору дров, что, наверное, все четыре печки нашей школы можно было бы топить два дня.

— Да вы что! — ужасались мы.

— А вот то! — поучали нас пацаны. — Еще скажете — мало! Мы ж дежурили, знаем!

— Правда, девчата! — подтвердили какие-то две семиклассницы, проходившие мимо нас после своего шестого урока.

Ну, раз правда... Мы тоже старались. Бегом бегали с охапками дров. Еще домой нужно успеть, пообедать, что-то теплое захватить.

Но мальчишки научили нас перенести сначала из классов в де-

журку (тоже класс) три стола, натаскать карт, пока светло и еще видно немного.

— А карты-то зачем?

— Чтоб помягче было!

— А из дому захватите старые пальтушки под голову и чем-нибудь укрыться.

— Смеемся над нами, что ли? — возмутилась Вера. — Пойдем как табор! Еще перины и подушки, скажете, тащить!

— Оно б неплохо! — серьезно заметил наш длинный Степа Садов.

— Ой, с вами тут только время терять! Пошли домой! — сказала Зульфия.

Но и дорогой ребята продолжали нас наставлять:

— Трубу лучше совсем не закрывайте, а то еще угорите!

— Винтовки к печке не прислоняйте! У Федьки в первый же раз штык затлел, к печке была одна макетина прислонена.

— Ну и силен сочинять! Чтоб от печной стенки винтовка затлела!

— Увидишь, какая будет печка! — пообещал Карпэй.

— А это в нашей воле! — сказала я. — Как хотим, так и истопим.

— Поглядим...

— ...сказал слепой! Ты лучше скажи, Силантий к вам приходил?

— Не! Думаешь, ему охота на ночь глядя в школу тащиться!..

В начале шестого мы с Зульфией уже снова шагали в школу. И кто бы поглядел, какие были мы гордые и счастливые! Но никто, наверное, не видел, разве что из окошек. И то вряд ли! Темно уже, как ночью. Только, может, и увидишь — идут двое, узелки несут. Зульфия несла отслужившую свое телогрейку, а я — какой-то старый ватный спорок с тети Ениного пальто. Прихватили мы и картошки, и соли. Сами над собой посмеиваемся: часовые! Как в ночное собрались! Посмеивались, а все же гордились. Я гляну сбоку на Зульфию — прямо счастливая шагает! — и смех меня берет.

В школе стало не до смеха: на улице темно, здесь же как в самую полночь: мрак, тишина-а! Свет бы зажечь.

— Зульфия, где же фонарь?

— Какой?

— Как какой, «летучая мышь»! Помнишь, мы у Федьки и Вальки видели!

— Так это Федькин и был!

— Вот тебе и на тебе! Я думала, школьный...

— А я знала, что в школе нет.

— Чего ж не сказала-то?! Мы б у тети Ени попросили.

— Я думала... — медленно тянет Зульфия, — да побоялась. Не даст еще...

Это правда. Ей самой нужен фонарь, она поздно вечером ходит скотину проведывать. А может, и дала бы... На одну-то ночь. Да что уж теперь: не побежишь домой, дежурство началось.

Мы тем временем затопили печку. Хорошо, что все засветло припасли. Спасибо ребятам — научили. Тут и береста, и сухие щепочки... С одной спички занялось! И притерпелись мы, глядя в топку, к тому, что за спиной у нас холодные к ночи, пустые классы — целых четыре больших комнаты. Да еще огромные сени, где все половицы ходят, как клавиши на пианино. Малыши на переменах качаются на половицах, как на гибких мосточках. Доски широкие, толстые и обшарканные ногами так, что сучки выступают округлыми лоснистыми бугорками.

А сейчас, видно, половицы в себя приходят после дневных трудов, распрямляются, потягиваются: то будто выстрелит в сенях, легонько так; то застонет скрипуче, протяжно; то словно чей-то шаг отдается...

Мы разговором, возней с дровами заглушали эти звуки, но чуть притихнем — слышим, как маются половицы в сенях.

Когда же печка хорошо разгорелась, пошли в обход. Открыв дверь в сени и распахнув дверцу печки, дали ход свету в холодную их темноту. Пригляделись: нет никого. И вот — тресь... скрип... и тишина. Точно, никого нет, а потрескивает. Перевели дух, пошли по классам. Там и вовсе темно. Лишь окна мутно светлеют — чуть-чуть. И рисуются черные кресты переплетов. Самое страшное в темной комнате — это окно: неподвижно подсматривает. А какая тишина... Такая глубокая, полная, что, видимо от напряжения пойти-тишина... Такая глубокая, полная, что, видимо от напряжения пойти-тишина... Такая глубокая, полная, что, видимо от напряжения пойти-тишина... Потому, когда мать хоть какой-то звук, в ушах будто шипение. Потому, когда раздастся звук — самый тихий — он как взрыв.

Мы были уже в третьей классной комнате, когда раздались шаги. На дворе. Торопливые. Мы замерли и догадались: Верка. Бросились в сени. Мы так и договорились, чтоб она пришла прямо к шести, а мы — раньше. Ведь одной страшнее!

Это была она. Стояла на крыльце и боялась открыть дверь в сени.

— Вижу, вы здесь, дым валит из трубы. А думаю, как дурочка: вдруг кто чужой! И стою!

Ой, как хорошо втроем! Не знаю, чем это объяснить: вдвоем почти так же страшно, как одной. А трое — ну словно целая толпа или будто днем!

Притащили Верку в дежурную комнату, а здесь печка, огонь пляшет, весело!

— Видишь, огонь! — сказала Зульфия Вере с таким видом, будто это она была первым человеком, добывшим огонь.

— Прометей! — в тон ей ответила Вера и ткнула пальцем в плечо, чтоб не было ошибки, кто здесь Прометей.

— Сейчас угли нагорят, картошку испечем! — деловито сообщил «Прометей».

Мы сидели на корточках перед печкой, как перед костром, а ходить вокруг школы никому не хотелось.

— Я так боялась, девчонки, — созналась Вера, — просила сестру проводить меня хоть маленько, да она ж разве проводит...

Мы сочувственно закивали головами, и я, представив мгновенно насмешливый прищур красивых глаз Анастасии, вздохнула обреченно: ничего не поделаешь, нельзя поддаваться лени, нельзя prospirit Анастасии наш с ней спор — спор, о котором она и не подозревает.

— Ладно, девчонки, — сказала я как могла беспечнее. — Вы тут глядите за печкой, а я пойду пройдуся, вдруг да военрук нагрянет.

— Может, вместе? — встала и Зульфия, половина души моей.

— Нет, здесь страшнее одной, — слукавила я: мне хотелось, мне надо было пойти одной. — И Силантий велел часовому одному ходить, — для верности добавила я.

И пошла в наш «арсенал», чтобы взять винтовку. Открыв дверь, я отшатнулась в ужасе: из темного угла светились чьи-то розовые зубы! Пасть светилась — узкая, хищно изогнутая.

— Девчата! — заорала я, уже понимая, что это не зверь, а трещина в печке, которую мы топили; задней стенкой она выходила сюда. Сейчас, когда печь разогрелась, щель светилась, налитая розовым огнем.

Девчата прибежали, заохали.

— Вон почему штык у винтовки затлел! — догадалась я.

Мы подбежали к длинной стойке, где в гнездах стояли наши стройные, белые винтовочки, я подержала руки у торца стойки, доходившего почти до печки: не сильно ли жарит? Но даже тепла не ощущалось.

— Ничего! Не прислонять бы только к печке никаких деревяшек.

Взяла я винтовку наперевес, как к штыковому бою, вышла на волю. Постояла на крыльце, привыкая ко тьме, вдыхая пронзительно-острый воздух. Как вкусно пахнет мороз, приправленный дымком топящейся березовыми дровами печки... Лицо, раскаленное перед открытой топкой, сначала даже не почувствовало прохлады. Мне казалось, что щеки мои, лоб и нос светятся в темноте, как та розовая пасть — раскаленная трещина в печи, — и меня можно издали увидеть. Когда до меня дошло, чего я опасаясь, стало смешно и не страшно.

А за школой верхушки высокого сухого бурьяна торчат из сугробов, и между стеной школы и стеной сугроба — узкий проулок. Тут хорошо сделать засаду, или красться за часовым, или на заборе с той стороны сугроба схорониться, а идет часовой мимо — прыг ему на плечи! И я подняла винтовку штыком вверх. Пусть-ка прыгнут на штык!

Как же громко шуршит и хрустит под ногами снег в узком коридорчике! Смотрят на меня загадочные глаза — школьные окна. Не видно, что за ними, а оттуда меня хорошо видно. Полно! Трусиха! Знаешь ведь — там никого нет. Вот и угол, а за углом уже окно нашей дежурки. Там печка топится, там друзья. И мне стало так тепло и уютно среди холода, тьмы и предательски скрипучего снега от одной только мысли о моих товарищах — о Вере и Зульфие. Ну-ка погляжу, что там у нас делается... Я уже завернула за угол, надо мной окно дежурки. Завалина, обшитая тесом, высока, но я вскарабкалась, опираясь на винтовку. Нижняя рама оказалась на уровне подбородка. Заранее улыбаясь, я прижалась носом к холодному стеклу. И тут же пригнулась: померещилось мне, что ли?! В комнате перед печкой сидели трое! Стоя пригнувшись, чтоб не торчала в окне голова, удерживаясь за наличник, а другой рукой опираясь о винтовку, я соображала: сидят мирно, глядят в огонь. Значит, свой! Но сердце мое скакало как бешеное, во рту было сухо, шершаво. От неожиданности. И я снова припала к краешку окна — понять, кто же там третий. В неясных, неровных отблесках огня из печки я узнала кудлатую голову Степки. Садов! Пришел проведать своих! И, не сдержавшись, я стукнула в окно. Они дружно вздрогнули и обернулись.

Когда я вбежала в дежурку, одним духом перелетев скрипучие сени, они уже все трое хохотали.

— Что, часовой? — заливалась Вера. — Враг-то не дремлет!

— Ты бы сама походила там, за школой! — начала я защищаться. — Знаешь, как снег трещит-шумит! Ничего больше не слышишь.

— Да уж! Хрустела ты там знатно! Я думал: да кто ж это? Теленок чей, что ли, остался да бродит? — рассказывал Степка. — А то еще собака! Я прямиком — шасть в двери! Девчонки голоса лишились со страху! Глядят на меня и ничего сказать не могут.

— Да-а, самому бы тебе! — всхлипывает Зульфия сквозь смех. — У нас часовой поставлен у ворот, а тут — топот, стук, человек ворвался!

— Запросто можно штаб немецкий захватить, если один часовой! — вдруг важно заявил Степан. — Прям тепленькими взять!

— Умный какой! Штаб — он тебе не сам по себе стоит! Рядом и казармы! Части стоят, солдат полно... — Это Вера Степана охлаждает.

— А то без тебя не знают! — Степка прямо возмущен. — Я толкую про такой случай, как сегодня. Или — разведка. «Языка» нужно уволочь. Я про то, что одного часового на такой большой дом — мало! Поняла?

Степка даже запыхался от возмущения, что Вера его в непонятливости заподозрила.

— Нашему бы теляти да волка съесть! — не унималась Вера подзадоривать Степку, а он вдруг сам рассмеялся:

— И право: уж я тут и штаб захватил с тремя енералами! Один важнейше другого! Один другого больше!

А между тем печка все раскалялась. Не хотелось сидеть во тьме, и только начинал рассыпаться жар, теряя пламя, как новые полешки летели в топку и быстро занимались среди раскаленных россыпей золотых и алых угольев.

У самого края топки Степан нагреб кучку золы, смешанной с мелкими зернами жара, затолкал под золу штук семь картошек.

— Степ! А зачем ты пришел к нам? Ты ведь уже дежурил, — спросила я, глядя на его длинные темные пальцы, неловко, боязливо, короткими движениями подталкивающие картофелины поближе к жару — руки обжигало даже и на расстоянии от топки.

— Да так. Дома скучно. Дай-ка, думаю, попроведаю своих...

И я подумала, что ведь правда, Степа, живущий на другом, чем мы, конце села, после уроков, наверное, совсем один. Раза два он приходил на карусель. А больше и не был. Мы и не звали.

— А ты приходи к нам когда, после уроков, а?

— Не знай... Может, когда и приду, — неопределенно, стеснительно ответил Степка. И добавил, усмехнувшись: — Опасаюсь! У вас там свои ухажеры, еще прибьют!

— Ты что! — закричали мы с Зульфией в один голос. — Как не стыдно тебе-то!

— Или ты не видишь, мы с ними и знаться не хотим! — гневно, слишком гневно заявила я. Сама почувствовала: слишком!

Но ребята не обратили внимания, и Вера нас поддержала:

— От таких ухажеров бегом побежишь! Двоечники. Только и знают кривляться.

И с покаянием в душе почувствовала я, насколько Вера правильной меня. Уж она бы не стала огорчаться, что один из «ухажеров»-двоечников стал пропадать в седьмом классе. Действительно, что в нем? Правильно она сказала — одно кривлянье. Правда, сегодня дров нам напилили и накололи. Да вот не пришли, как Степа...

Я встряхнула головой, чуть вслух не сказав: «И слава богу, что не пришли!» А Степа, будто продолжая мои мысли, и говорит:

— И того, правда, опасался, как бы к вам не пожаловали. Разговоров много было у нас на «камчатке», пугать вас собирались.

— Ага-а! — злорадно протянула Зульфия. — А ты — ухажеры!

Мы стали просить Степу, чтоб он рассказал, как собирались они нас пугать. Но он отмахнулся:

— А! Ерунда! Стучать да мяукать страшными голосами. Тыкву хотели достать, да ни у кого нет тыквы-то...

Посмеялись мы. Теперь нам никакие пугальщики не страшны.

А картошка оказалась на диво вкусной! Будто с маслом, сдобная.

Но, как водится, после еды потянуло нас в сон. Вялыми голосами рассказали мы Вере и Степе, какую сочинили постановку с пением и танцами про Шамиля. Но как Степка ни просил, плясать не стали.

Казалось, от жары темнота в комнате стала гуще. Рассеянная светом огня перед самой печью, она густела под высоким потолком, наплывала из всех углов, из-под столов, составленных нами еще засветло. Мне казалось, что от этой темноты отделяются крупные засветло. Мне казалось, что от этой темноты отделяются крупные теплые хлопья, мохнатые, щекотные, и оседают на ресницах. И веки тяжелеют — не поднять. Зульфия, сидя рядом со мной на полешках, прислонила к моему плечу голову, и я чувствовала, как изредка она вздрагивала всем телом. Так бывает, когда засыпаешь. И тишина, как и темнота, стала глуше, глубже. Все замерло, остановилось. Время

стало черного цвета, как непроглядная темь. Черное время велело нам забыться, уйти, ничего не видеть, ничего не чувствовать.

— Эй, девчата! — окликнул негромко Степа. — Ложитесь маленько. А я еще посижу, погляжу за печкой.

И мы покорно поплелись устраиваться. Карты под бок; старую ветошь под голову, сверху свое пальтишко.

Только голова припала к изголовью, все вокруг перестало быть. Сон меня одолел. Наверное, и других. Проснулась я от холода. Долго не могла понять, где я, отчего так жестко, что больно ребрам. Крутилась, стараясь спиной прижаться к Зульфие. И она крутилась. Наконец я вспомнила. Сразу села. Смотрю, а Степка, как-то странно семеня, перебирая ногами и тихонько мыча, уткнулся лбом и обеими руками в посветлевшее уже слегка оконное стекло и тоже елозит по нему, передвигаясь то вправо, то влево, то выше, то ниже, будто хочет, как муха, по окну поползти. Мне стало страшно: чего это он?

— Степа! — окликнула.

Он вздрогнул, повернулся ко мне и немо проговорил сквозь зубы:

— Обжегся я...

Я подбежала к нему, чиркнула спичку. При недолгом ее свете успела разглядеть на смуглом лбу Степки слева багровую опухоль, широко расплзшуюся красным, — его левое веко припухло, сжало глаз. Лицо искажено гримасой боли.

— Ой, Степа-а! — У меня даже зубы заломило, сердце зашлось.

— Задремал я... — сказал Степа. — Да и того... Тюкнулся головой вперед... Хорошо хоть дверцу... раньше прикрыл... А то б в печку... И вон... — Он протянул ко мне свои длинные кисти, и я увидела волдыри на всей левой ладони и пальцах, и слитный длинный волдырь шел по большому пальцу правой.

— Аа-а... Ты руками уперся, когда упал, — догадалась я. — Ой, Степа, что ж делать... Что ж ты тут стоишь... Надо бежать, надо содой, марганцовкой!

— Где она, марганцовка! Сода! — мрачно отозвался Степа.

— Ой, у тети Ени есть сода, есть! Я знаю!

Девчата проснулись от наших голосов. Разглядев Степино лицо, Зульфия обеими руками зажала себе рот, только глаза ее, расширенные ужасом, кричали над стиснутыми ладошками.

— Девчонки! Мы со Степкой побежим сейчас к тете Ене, вы додежуривайте. Да не говорите ничего! Скажите, что, мол, я угорела...

И мы побежали по темноватой еще улице. Лишь кое-где окна были озарены, будто за ними бушевал пожар. Это топились русские печи, поставленные, как водится, челом против окна. Вот и кажется, что горит в окне. Ах, огонь, огонь! Милостив ты, пока за тобой глядишь. Чуть ослабь надзор, и ты мстишь.

Как мне было больно за Степку! Лихорадочно вспоминала я всякие средства от ожогов. Картофель — сырой, тертый. Ну, это когда только краснота. Мылом мылят — это тоже при небольшом ожоге... А Степка бежал подняв руки и помахивал кистями, словно в танце. Я знаю, хочется холодного на ожог, вот Степа и охлаждает свои горящие ладони.

Тетя Еня уже не спала, печь растапливала. Увидев нас, только руками всплеснула и крепче сжала губы. Пока я, захлебываясь словами, рассказывала, как и что, она из нижней тумбы своего узкого буфетика вынула стопку льняных полотенец, выбрала ветхое, в дырках, но белое как снег.

И вдруг велела мне:

— Воротись в школу, Даша. Додежуривай. Ты нам тут не нужна. Я помогу Степану. А ты помешаешь только. Ступай быстрее, не бойся. Хорошо ему сделаю. Приходи, как и должна, к завтраку, к полседьмому.

И она, повернув меня лицом к двери, подтолкнула легонько.

Побежала я. Тетя Еня так говорила, что и в голову бы не пришло послушаться.

Убегая, успела заметить на наших ходиках — пять часов.

Девчата сидели в темном холодном классе, как два цыпленка, нахохлившись, зажав ладошки между колен, и дрожали ознобно. Винтовка — белый липовый макет — валялась у их ног. Они бросились ко мне:

— Чего прибегла? Где Степка?

Я сказала.

А Зульфия выразительно постучала себя кулачком по лбу, а потом по столу:

— Вот мы кто! Деревяшки!

Мы только головами покрутили.

— Надо было бы кому-то еще не спать. Разговаривать. — Это я такая догадливая стала — после драки кулаками махать. — И как раньше не подумала!

— Здоровы ж мы спать! Он летел, так, наверное, гремел — лбом об дверцу!

Никакое собрание, никакие выговоры не могли осудить нас строже, чем наша тройка. В дежурке было холодно, и следа не осталось от ночной жары, мирного разговора. Темно как ночью. Запах стоит как на пожарище: жженым кирпичом, холодным дымом, известкой.

На столах, где мы преступно проспали Степкину беду, дыбятся карты, комками — старые пальтушки. А на совести нашей — и того противней. Мы бы и сказали в школе, повинились, да ведь, пожалуй, Степке только навредишь: он же своевольно пришел к нам.

— Да если хочешь знать, только Степка и виноват! — сказала Вера. — Если б я осталась у печки, так не беспокойся, не уснула бы сидя! Герой! Вызвался девчат караулить, а сам чуть в печку башкой не угодил! Тоже мне!

Понимала я умом, что права Вера, но просто корчило меня от мысли, как больно Степке, как горит его ожог, рвет ладони и лоб, и потому хочется и себе какую-то боль причинить.

— Никуда не денешься, Верочка: дежурные-то мы! Не он! А мы — спали...

— Ну ладно, девочки, — вздохнула Зульфия, — давайте приберемся.

И мы ощупью убрались. Развесили по классам оба земных полушария, Африку и обе Америки, Австралию и Азию с Европой, послужившие нам постелью; расставили столы, подмели пол. И только все успели — пришла тетя Глаша, уборщица и истопница начальной школы, очень тихая и молчаливая — наверное, добрая или несчастливая. Она никогда не кричала на ребят. А если балуются очень, просто за руки возьмет драчунов и разведет. Я видела на переменах.

Она пришла со своим фонарем и уже с охапкой дров. Мы взялись помочь ей — таскали ко всем печкам — и тогда уж только побрели по домам.

— Верка, молчи дома! — наказали мы еще раз Вере. Как-то там Степа?

Но его у тети Ени уже не было.

На столе дымились наши чугунки с картошкой в мундире, уютно булькал-кипел самовар, затуманивая окна своим буйным паром. Тетя Еня, сосредоточенная, строгая, с разруганным у печи

лицом, толкла свою картошку, чтоб кормить кур. Нам совестно было взглянуть ей в глаза. Глядя в сторону, я спросила про Степку.

Она выпрямилась, став еще выше надо мной, и, вытирая руки фартуком, сказала:

— Услала его домой. Научила, что и как делать, чтоб быстрее прошло. Ничего! Через дни два-три и знатко не будет. А может, уже и послезавтра в школу пойдет.

Мы переглянулись с Зульфией: что же мы в классе-то скажем? Ведь нас, совхозных, спросят, где Садов. Придется врать: говорить, что заболел. Кашляет. Степка и так всегда кашляет. Ну, мол, очень кашляет, прямо сил нет, как.

— Давайте живей за стол, часовые! — усмехнулась тетя Еня. — Вон картошки стынут.

Сели мы. Стали лупить обжигаяще горячие картошки. И, как всегда, я подавила желание попросить тетю Еню обменяться картошками: ее курам ведь все равно, какую клевать. И отчего это наш картофель был такой невкусный по сравнению с тети Ениным? Даже на вид ее был вкуснее! У нас — у Зульфии тоже — какие-то неправильно круглые, корявые картофелины, в глубоких глазках, шишках, ямках. И цвет у сваренных клубней часто желтоватый. А у тети Ени даже отобранная для кур и овец мелкая картошка была как на подбор: ровненькая, гладенькая. Овальные, удлиненные клубни, даже самые мелкие, все такой же формы, розоватого цвета, а под кожей — бледно-сливочная мякоть, она и без масла вкусная. Как-то раз у нас кончилась картошка, и два последних дня тетя Еня варила нам свою. И вот с тех пор каждое утро я испытываю муки зависти, глядя, как толкушка в руках тети Ени дробит и мнет чудесную картошку для куриного пропитания, а я давлюсь невкусной, порой даже с едким привкусом, и не смею попросить ее обменяться. Почему-то стыдно. Мне кажется, что тем самым я каким-то образом изменю совхозу, его земле и своей семье.

Я только спросила в тот раз, когда нам перепало от ее картошки, отчего она такая ровная и вкусная.

И тетя Еня ответила:

— А оттого, что землицы немного, да она от порога. — И, глянув с улыбкой на мое недоумевающее лицо, объяснила: — Непонятно? А вот погляди весной на огород, какая земля.

— Видела уж! Черная, мягкая.

— Вот! А почему? Ни одна навозинка не пропадает. Все, что в хлевах, идет на огород. А сколько двор наш стоит? То-то и оно! Землица-то сдобная, вот и у картошки вкус. Ну, и семя чистое, непорченное. Картошка от картошки и родится.

Да, видно так и есть, как говорит тетя Еня. У нас в совхозе участки под картошку выделяются то на одном поле, то на другом. Чаще за оврагом, но там земля тяжелая, глинистая. Чтоб ее удобрить, ого сколько лет надо с наземом перемешивать!.. Я промолчала, только про себя это все подумала. Почувствовала явное превосходство тети Ениного старого двора и земли. И не хотелось, чтоб она поняла мои чувства. Вот и промолчала. И ни разу не попросила поменять свою на ее картошку.

А сегодня завтрак мне и вовсе показался постылым. Или есть не хотелось. Еле-еле проглотила две маленьких картошины. Лучше выпить чаю с молоком. Чай был из сушеной моркови, желтенький. А с молоком — ничего, вкусно.

ПОЩЕЧИНА

По дороге в школу мы договорились, как соврем про Степку. Скажем — заболел. Скажем, что будем к нему ходить, уроки объяснять, и он не отстанет.

Мы сидели весь день как на иголках. Но никто ничего не заподозрил. Верка — человек надежный — молчала, видать, и дома.

Когда Мария Степановна — ее урок был первым — спросила, где Садов, я представила себе Степкино лицо, искаженное ожогом и мукой, и мой голос прозвучал очень убедительно: «Он заболел!» Я ведь говорила правду! Но все-таки и ложь, и потому покраснела я ужасно. Учительница склонилась над журналом, ставила против Степкиной фамилии «н/б» — значит, «не был», и не заметила. Но заметил кое-кто другой. Я услышала Лешкин голос: негромко, с растяжкой он произнес: «Очень интересно! Заболел...»

К Лешкиным ехидным высказываниям, однако, уже все привыкли: и ребята и учителя. Никто внимания не обратил. Только моя щека, попадающая под Лешкин взгляд, рдела до боли, до жжения. Я оперлась на руку, прикрыв эту предательскую щеку. Теперь получалось, будто я отвернулась от всех к стенке. И Мария Степановна

сделала мне замечание. Вот мука-то какая эта ложь! Я словно в крапивной чаще сижу: каждое движение вызывает новый ожог. Рванешься вправо — справа; влево — так слева! Подожмешь ногу — обстрекает, жгучая, руку. Каждое шевеление причиняет боль и новый вред.

Нет, так нельзя жить! Надо учиться так врать, чтоб было легко и незаметно!

На перемене Никонов, по новому своему обычаю, метнулся в седьмой класс. А я, уже потерявшая бдительность за время Лешкиной измены, достала учебник для следующего урока, оставила на парте ручку — раньше все дочиста убирала! И вдруг Лешка вернулся! Подлетел ко мне, схватил мою ручку, отпрыгнул и зашипел змеем:

— А ты чего покраснела, а? Я заметил! Никонов все видит!

— Положи ручку на место!

— Ах на место! — И совсем обнаглевший Никонов стал моей ручкой делать выпады, как в штыковом бою, один раз даже ткнул перышком мне в плечо. И тут же схватил учебник и стал на нем писать свои «АИН». Я выдернула у него из рук учебник, перо прорвало страницу; Лешка бросил ручку и ускакал опять в седьмой класс.

Это все было так унижительно, так безобразно, что я чуть не задохнулась от гнева. Зульфия, сидевшая рядом, взяла меня за руку и сказала удивленно:

— Дашка! Да ты что? Это ж Никонов...

И в этот момент Никонов опять возник перед нами.

— Покраснела, покраснела! — опять завел он свое, как гусак вытянув ко мне свою узкую голову на тонкой шее.

Такой ненависти я еще никогда не испытывала. Тут все смешалось: и боль за Степку, и унижение от собственной лжи, и отвращение к этому Лешке: «Ты бегаешь в седьмой, ну и бегай, какое твое дело, отчего я краснею! Да еще кричит при всех! И хватает и портит мои книги!» Тут и старый мой страх перед Лешкой обернулся ненавистью, и бессонная почти, тревожная ночь тоже сказала, — во мне будто молния вспыхнула, но не белая, а красная; красная мгла заволокла все вокруг, и, перегнувшись через парту, я изо всей силы влепила пощечину Никонову раз и два — по одной и по другой щеке. Молча, без слова и крика, потому что горло мне перехватило, а то бы, наверное, я завизжала, как свирепый янычар.

Никогда и никого в жизни я еще не била. Тем более по лицу. Ах, как прекрасно, что рука моя достала до физиономии «глядельщика»! Как отрадно звонко отдался в моих ушах звук пощечины!

Теперь все. Пусть он теперь хоть до смерти меня изобьет. Я отомстила за все. И я буду драться!

Такое у меня было тогда состояние, что я не видела никого вокруг. Словно мы с Лешкой были один на один в пустоте и безлюдии. Я видела его ошеломленное бледное лицо с красным следом четырех моих пальцев на левой щеке, расширенные, без блеска, глаза. Но вот он опомнился и с задыхающимся криком, но и удивленным тоже: «Да ведь я ж тебя убью сейчас!» — вспрыгнул прямо с пола, без разбега на нашу парту. Поднял кулаки над моей головой. Я прижалась к стене и смотрела на него, не пряча лица. И он не ударил меня. Опустил руки, переступил ногами и опять с огромным удивлением проговорил:

— Да я не знаю даже, что я с тобой сделаю!

Так и осталось неизвестным, что бы он со мной сделал, потому что от дверей раздался удивленный голос Марии Степановны — она пришла и на следующий урок:

— Это что за цирк?! Никонов, как не стыдно стоять на парте ногами, да еще у девочек перед носом!

При первых же звуках ее голоса Никонова будто сдуло, он дослушивал нотацию, уже сидя на своем месте. А может, стоя, я не смотрела.

Все-таки какой замечательный у нас класс! Никто ни звука о том, что было на перемене. Прямо не ребята, а мудрецы какие-то. Ведь учителям только скажи «а», они будут вымучивать из тебя весь алфавит — до самого «я»: отчего, да почему, да как. Ребята, те видели все, как Никонов мне надоедал, хватал ручку, рвал учебник, дразнился.

Им объяснять ничего не нужно. И я правильно догадывалась: на уроке, выбрав минутку, Вера шепнула мне сзади:

— Ты молодец! Давно бы... Чтоб не лез... Не бойся...

Она не успела больше нашептывать, но я поняла: мол, не бойся, мы тебе поможем. Все-таки я боялась. Я не хотела драки. И понимала, что Лешка оскорблен и должен мстить. Может быть, всю жизнь. Ну ничего. По крайней мере все очень определено: враг есть враг. Это лучше, чем не поймешь что: ведет себя, как враг, а понимай, что

за тобой «бегают», то есть ухаживают, то есть влюблены. Да при этом еще и Валя Ибряева... Нет, нет, все очень правильно, все как надо. Я окрепла духом и ждала перемены, готовая ко всему с бледным (надеюсь) бесстрастным лицом.

А Зульфия... Она, наверное, была напугана, ничего не спрашивала у меня. Правда, ей-то спрашивать было нечего, она знала, отчего я покраснела, говоря про Степку.

Вдруг она мне шепчет:

— В стенку носом уткнулся!

Значит, поглядела на Никонова. Я только плечами пожала: мол, мне-то что!

На перемене начались необычайные вещи: Никонов не встал со своего места. Думая, что он подстерегает, когда выйду я, мы с Зульфией тоже не встали с парты. А Верка с Тоней прикрывали нас от нападения сзади. А другие, видимо, ожидали зрелища и тоже никуда не выходили. Так шестой класс в полном составе, кроме Степки Садова, просидел всю перемену. К нам заглядывали семиклассники, орали в дверь: «Что сидите? Наказали, что ли?! Во дураки! Сидят!» Но в класс к нам зайти боялись — непривычно же, чтоб шестой целую перемену сиднем сидел! Только в большую перемену, когда дежурные сходили за супом, все поели и нормальная жизнь возобновилась. Только не для меня. Я сидела пленницей весь день.

После уроков Никонов, никого не задев и не ожидая даже Карпэя, раньше всех вышел из класса. И Карпэй с диким, ревущим криком «Лешка, погоди!» протопал за ним.

Мы с Зульфией решили, что они устроят засаду. И пошли вместе с Тоней, Галией, Нуруллой и Домоседовыми — нам было по пути с ними до самого нашего проулка. Засады не было.

ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ...

Но ведь надо было жить дальше! Уже сегодня просто необходимо сходить к Садову: как он? Может, его в больницу надо?

Зульфия сказала, что пойдет к нему одна. Одну ее не тронут. А поймают со мной, так и ей заодно наподдадут. Мне было стыдно, что я боюсь. Но Зульфия права.

Я решила сделать для Зульфии работу, заданную нам по рисова-

нию. Мария Степановна велела скопировать старинные вышивки крестом на полотенцах или скатертях. Поискать в сундуках у бабушек. Это работа долгая, Зульфие просто не успеть. Ведь прежде надо простую бумагу разлиновать в мелкую клеточку, наподобие канвы. У меня хранился старый, довоенный альбом для рисования. Там как раз оставалось три чистых листа. С одной стороны чистых. Вообще-то он уже весь был изрисован.

С клеточками я провозилась долго. В глазах даже зарябило. Но я была довольна: ровненько вышло! Я спросила тетю Еню, нет ли у нее старых вышивок.

— Как не быть! — охотно отозвалась она. И отперла кованный сундук, стоящий под боковым окном, сняла верхнюю пелену сурового полотна. Я заглянула в сундук — и про все забыла!

Сверху лежало что-то сказочное: малиново-сизое, переливчатое, шелковисто-лоснистое. Тетя Еня подняла эту жар-птицыну мантию, и она оказалась старинным сарафаном, собранным в густую сборку на тканной золотыми и серебряными нитями широкой тесьме, и с плечиками из этой же тесьмы. Каждое движение рук тети Ени вызывало живую дрожь ткани, волну переливчатых бликов, как на вечернем озере, отражающем заревое малиновое небо. Я такой ткани еще не видывала.

— Ой, тетя Еня... Прямо царское! — выдохнула я наконец.

— «Царское»? Скажешь тоже! — засмеялась она. — Это приданое мне мама собирала. Знаешь песню: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»? Вот он самый и есть. Сшитый. — Тетя Еня бросила сказочный сарафан на нашу кровать, и он, вздрогнув всеми складками, моргнув всеми красками, замер.

Я несмело тронула его кончиками пальцев: такая тающая, мягкая нежность... Ой, да как же и носить такой!

— Ну ладно, бог с ним. Давай твои вышивки искать, — легонько вздохнула тетя Еня. Но прежде чем мы дошли до вышивок, на белый свет вылетели еще юбки и сарафаны. Темно-синий — «кубовый», сказала тетя Еня, — в красных и желтых розочках, черная юбка в белый мелкий горох; сарафаны домотканые — желтые с синей каймой и синими плечиками; ситцевые юбки, одна особенно нарядная — темно-розовая в белый цветок, и всякие, всякие.

— Тетя Еня! А почему не носите?!

— Куда же мне, старухе! Вот черную еще сношу.

— Ой как жалко, что они лежат и никто их не видит!
— Что ж, Даша, их жалеть! Не живые...

И так прозвучал ее голос, что разом оторвалась я от сундука, оглянулась на тетю Еню: на лице ее застыло странное выражение — горестная и вместе с тем удивленная полуулыбка. Будто она и сама до сих пор не знала, что все это яркое, пестрое лежит тут, и что все это ее, и она могла б носить эти юбки, сарафаны, полушалки, да вот опоздала. Состарилась...

А руки ее продолжали вынимать все новые вещи.

Наконец, пошли скатерти и полотенца. Скатерти клетчатые, тканые — черно-красно-желто-белые, красно-сине-черные; в мелкую клетку, и в крупную, и в какую-то словно бы мраморную, когда каждая клетка заключала в себе другую, меньшую, а эта несла в себе еще меньшую — и так почти до точки в центре. От этих клеток голова кружилась.

Будь моя воля, я б этими скатертями все стенки завесила, и стол, и лавки! Вот стало б весело!

А полотенца тоже были на диво хороши! Длинные-длинные! А концы широко расшиты узорами, но все до одного только в два цвета — красный и черный, и украшены широким кружевом. Я присмотрелась: нет, не кружево, просто конец ниже узора превращен белой сквозной тончайшей вышивкой в подобие кружев.

У меня и глаза разбежались: которое выбрать для срисовывания? Некоторые узоры были очень сложны — такая путаница линий, переходов; другие — слишком плотно расшиты. Я наконец отложила два. На одном — ветки калины, резные, лапчатые ее листья и плоские кисти ягод; все расположено удивительно изящно, стройно и перевито какими-то тонкими усиками с завитком на конце. А на другом — петушки, стоящие попарно, грудка к грудке; один петушок — черный с красным гребнем, бородкой и лапками, а второй наоборот — красный с черным.

Эти полотенца понравились мне потому, что изображалось на них живое, знакомое, а не просто ромбики, и кубики, и линии, хоть и красиво, изобретательно сплетенные.

Себе я стала переводить калину, Зульфие — смешных петушков. А тетю Еню упросила не запирать сундук, чтоб и Зульфия посмотрела сказочный сарафан и веселые скатерки.

Эх, жалко, что все тети Енины одежды такие большие, длинные!

А то бы я попросила у нее для нашего концерта. Вот только полushалки могут пригодиться.

Придет Зульфия, мы их все перемереем. Одна я как-то стеснялась.

Я сидела за столом, из последних сил вглядываясь в не очень ровные клеточки, начерченные мной, считала промежутки от крестика до крестика. Оказывается, какая долгая работа! Глаза уставали, и, отрываясь от тетради, тешила я себя, глядя на цветной ворох тети Ениного приданого, вздымающийся на нашей кровати, и на малиновосизый сарафан, лежащий рядом, на особицу. Несправедливо, что сундук скрывает в своей темноте такие живые, яркие, чистые краски!

Что за обычай: носить все темное, дом убирать ну в крайнем случае белым, а в сундуке — настоящая радуга! А Зульфии все не было...

Надо будет спросить тетю Еню про песню: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...» Я ее слышала, только не все слова знаю. Вот взять да и выучить ее. Для концерта. И тетя Еня сарафан даст надеть... Жалко, не мне придется. Этот сарафан можно у меня над головой связать, да еще и под ногами хватит тесемкой прихватить. Такая будет бочка... «В бочку с сыном посадили, засмолили, покатали и пустили в Окиян...»

А Зульфия все не идет!

Я отбросила карандаши, прильнула к окну, к незамерзшему краешку стекла. Еще не совсем стемнело на улице. Синевато, лиловато, беловато... Сижу как узник. Замурована в собственном доме! Носа высунуть не смею! Зульфию встретить! Я возмутилась и, набросив пальто, выскочила во двор, выглянула из калитки: вправо — пусто; влево — никого. Побежала до угла, до главной улицы, поминутно оглядываясь, не крадутся ли враги, — и вот она, вся широкая улица, насквозь до самой церкви у меня перед глазами. Почти пустынная...

Вон соседка к соседке перебежала, прихватив клетчатую шаль под подбородком. Вон девчонка по воду пошла, ведрами на всю улицу бренчит... Я чувствовала, что мерзну, уши ломило без платка. Но не уходила: вдруг да вот сейчас покажется из-за поворота чуть подпрыгивающая фигурка — Зульфия. «Может, Лешка с Карпэем ее захватили в плен и держат, как заложницу, пока я не пойду ее искать?» — мелькнуло в голове. Глупости, конечно! Чего им возиться, да и где держать Зульфию? На их месте я б лучше вела



наблюдения за нашим домом... И тут мне послышалось — брякнула калитка с той самой, опасной, стороны... Точно! Кто-то вышел с Лешкиного двора. На темном фоне забора и дома было не разглядеть, кто. На всякий случай я прижалась к углу косинской избы. Вдруг над калиткой Никоновых выросла, словно вынырнула из темной воды, фигура человека. Лешка, конечно! Кто, кроме него! Узнаю его до отвращения знакомую позу: ноги врозь, руки в карманах, локти оттопырены...

«А-а, голубчик, вот ты где!» — сказала я про себя, успокоившись сразу — значит, Зульфия в безопасности. Меня Лешка не смог бы настичь. Дом был рядом. При всем желании, при всей своей ястребиной стремительности мальчишка не успел бы раньше меня очутиться у наших ворот. Подождав немного — Лешка не шевелился, прямо статуя! — я медленно пошла к дому. Хотя побежать мне очень даже хотелось, просто от холода.

Видно, Никонов поначалу не видел меня. Потому что стоило мне двинуться и отойти от дома Косиных, как он встrepенулcя: вырвал

руки из карманов и весь подался вперед, но не спрыгнул с калитки. Может, еще не узнал.

Дойдя до своей калитки, я остановилась: хотелось посмотреть, что будет. И так мы стояли, каждый при своих воротах. Смотрели друг на друга, не видя ни лиц, ни глаз. Лешка — один черный плоский силуэт. А меня у темных ворот он, наверное, вообще не видел. Просто знал: раз калитка наша не открылась, не закрылась — значит, я здесь.

А небо хмурилось, слоистые седые тучи волоклись над проулком, дышали холодом, снегом. Земля же была темной, вовсе лишенной подробностей, красок.

Избы Никоновых и Карповых плоско чернели на взгорке, и о том, что крыши их сейчас мягкие и пухлые от снега, говорила только легкая волнистость той линии, которая четко отграничивала их от седого, тоже пухлого неба. Изящная путаница ветвей голых березовых макушек, тонким пером черной тушью наведенная над крышами, смягчала картину, и странно сливалась с ней, хоть была непривычно-чуждой здесь, над калиткой, на фоне неба, фигурка мальчишки — черный силуэт, будто вырезанный из картона.

Сказать, что я что-то думала, пока мы так стояли, будет неверно. Чувствовала? Тоже нет. Я ждала: вот сейчас что-то случится. Что-то должно было произойти: это вверху тучи шли, а здесь, у земли, все цепенело, стыло в ожидании, все уже потемнело от неподвижности ожидания.

Но ничего не случилось... Я услышала шаги тети Ени во дворе и ступила за калитку, неизбежно грохнув щеколдой.

Лешка получил знак, что меня у ворот больше нет. Как все-таки резко в холодном воздухе, в молчании сумерек, как грубо брякает железо о железо!

НАС РАЗОБЛАЧИЛИ

Только войдя в избу, я поняла, что застыла до самых печенок в одном накинута на плечи пальто. Что бы мне вдеть руки в рукава да застегнуться — так нет! Я полезла на печь, теплую еще, пахнущую нагретым кирпичом, пылью. Тети Енина постель была скатана, лежала в углу. Я ничком растянулась прямо на широких гладких кирпичках, прикрыв спину пальто. Меня била дрожь.

Нет, я нисколько не раскаивалась, что дала пощечину Лешке. Поделом ему. И все-таки, все-таки его жалко. Но выхода теперь не могло быть.

Просить прощения — не за что. От одной этой мысли меня подбросило на кирпичах — так я возмутилась. Да пустись я в объяснения, он бы ни за что не понял. Куда уж ему! Мальчишка... Значит, предстояла длинная, затяжная вражда.

Конечно, он не успокоится, пока меня не излупит или еще как-нибудь не отомстит. Стало быть, надо все время держаться настороже, прятаться, убегать... Тьфу! Что это за жизнь такая! Я волчком закрутилась на жестких кирпичах — так стало нестерпимо неловко не то что жить, а и просто лежать...

Сейчас вот для чего он влез на ворота? Конечно, чтоб в наш двор заглянуть!

Я села на печке, обхватив колени руками, пытаюсь унять дрожь, и тут раздались наконец долгожданные шаги, топоток Зульфий.

— Лезь скорей ко мне! Я на печке! — почему-то шепотом сказала я ей.

Она и рада была: тоже замерзла. Да и секретней на печке.

То, что рассказала Зульфия, враз отодвинуло все мои лешкинские переживания. Оказывается...

— Прихожу я к Степке, — рассказывала Зульфия, — а у него Мария Степановна! Ты понимаешь?! Она сразу из школы к нему! Я прихожу, а они сидят разговаривают. На лбу у Степки такая корочка, воспаление сошло, глаз открылся, кругом красноты даже нет. А на руках волдыри спали, — и Зульфия большими пальцами обеих рук потерла подушечки остальных пальцев. — Это уж потом я разглядела. А как только шагнула в избу, так и стала столбом у порога, не могу вздохнуть. А Мария Степановна зовет меня: «Что ж ты стала? Проходи, присядь с нами». А я говорю: мол, ноги грязные. А она: ну, мол, разуйся.

Ну, я разулась. А сама соображаю: чего говорить? Чего уже Степка сказал? А он молчит как деревяшка! Тогда я: «Как, мол, Степа, себя чувствуешь?»

А он: «Спасибо, заживает, как на собаке!» И хохочет. Весело ему! Мария Степановна так внимательно на меня смотрит и говорит: «Какие вы молодцы, что заботитесь о товарище. Это приятно видеть». А мне нет чтобы догадаться: не знает она правды, наплел ей Садов!

Нет, я ей так и выкладываю: «Он нас пришел выручить, а мы что же?» — «Да-а? А он вас где выручал?» — она удивленно так.

И вот тут Степка мне заморгал! Понимаешь, Даша, вижу — моргает, уже соображаю — надо мне молчать. А меня несет, как во сне, не могу остановиться и объясняю: «Да на дежурстве, где опалился».

Вот тебе и все... — торжественно заключила Зульфия. — И тогда Мария Степановна как посмотрит на Садова! Как только посмотрит! И тихо так спрашивает: «Значит, ты мне неправду рассказал?»

Степка-то наш, бедный, теперь и вруном оказался! Забормотал: «Чё это неправду? Чё неправду?! На дежурство на ихое я пришел маленько помочь. Печку раздувал, вот волосы-то чуть опалил. А уж потом утром здесь вот на квартире — как вам говорил, так и было! Хозяйке помогал чугунок тяжелый из печки вытащить, мне под ногу попал кругляк, кусок жерди, нога поскользнулась, покачнулся чугунок, меня перетянул. И я ткнулся вперед носом, лбом о печное чело, а руками на угли».

Вот что он сочинил! Да мне откуда было знать!

Но Мария Степановна, конечно, все сразу поняла по моим словам. Говорит: «Складно сочиняешь, Садов. Быть тебе непременно великим писателем, если ложь твоё сочинительство не разъест. Ведь я было поверила твоему рассказу. Только вот думала: чтоб о печное чело такой ожог получить... Не похоже... Но, считай, обвел ты меня, свою учительницу, вокруг пальца. Молодцом, Садов!»

Мы со Степой сидим, и смотрю я — у него из глаз закапало: кап, кап на клеенку, на стол. Как я увидела, так тоже в горле комок встал. А плакать я не умею, сама знаешь, и потому, наверное, этот комок меня душит.

Но только я выдавила из себя: «Мы боялись...» — и комок прошел. Задышала я нормально.

Ну и тогда рассказали все, как было. А она стала ходить взад-вперед по избе, руки за спину, нахмурилась. А нам уж все равно! Мне то есть. Я только за Степу боюсь. И сказала ей, Марии Степановне: «Это во всем мы виноваты, вовсе не Садов. Он помогать пришел, а мы его бросили у печки. Мы были дежурные, часовые, мы нарушили приказ. Нам нельзя было никого к себе пускать. Вот».

А она знаешь что на это?! «Вы, говорит, очень виноваты». И погладила меня по голове! Вот здесь. — Зульфия наклонила голову

и показала мне свое темечко — блестящие темно-каштановые полукружия, разделенные тонкой ниткой пробора.

Я слушала ее проглотив язык, и по ходу рассказа сердце мое то падало куда-то вниз, то взмывало в надежде, что пронесет, вывернется Зульфия...

И, наконец, растаяло теплом, пошло этим теплом по всем жилочкам.

И тоже, как у Степки, выжало слезы на глаза. То ли от стыда, то ли от благодарности к учительнице, то ли от жалости к Степке и Зульфие, которым пришлось пережить такое.

— А что она еще-то сказала? Что теперь будет?

— Мария Степановна сказала: «Живите спокойно. Хорошо, что у Садова все подживает быстро. Учитесь нормально. Разобраться в этом — дело взрослых. Вы поняли свою вину, а это — самое главное».

— Все-таки... — тоскливо протянула я. — Ойё-ёй, Зульфия, как стыдно перед учительницей, хоть беги отсюда!

А Зульфия вдруг и говорит:

— Дашка, что было, то прошло. Степка живой и с глазами. Поговорят и забудут. А мы все-таки виноваты.

Вот какая мудрая и справедливая Зульфия, половинка моей души!

Когда она сказала «и с глазами», я содрогнулась, впервые подумав, что правда мог Садов и глаз припечь о раскаленную дверцу...

— Правда, Зульфия! И пусть все кончится скорей! А то бы всё ввали, ввали...

Вспомнила я, как покраснела сегодня и что из этого вышло. Сгинь, сгинь, провались, всякая беда!

— Ой, Зульфия! А что я тебе покажу!

Я потащила ее к груде тети Ениного приданого, и при свете лампы малиновый сарафан оказался еще волшебнее.

Весь вечер мы мерили перед зеркалом и друг перед другом тонкие шерстяные шали и полушалки — нежно кремовые, кубовые, темно-бордовые, черные, и все с огнистыми цветами, розовыми розами и бутонами, небесными незабудками, с яркой зеленью. Тетя Еня глядела на нас, улыбалась, подзадоривала: «А ну так повернись! А ну эдак!» И пообещала нам дать полушалки, если надо будет, для выступления на сцене.

ПОСЛЕ УРОКОВ ОКАЗАЛОСЬ...

Как говорит моя бабушка, в большой беде тонет малая. Так и я, отправляясь на завтра в школу, думала лишь о том, как я теперь на Марию Степановну буду смотреть. Я и не заметила, что всю дорогу за нами шел Лешка, один, без Карпэя. Об этом сказала мне Зульфия уже возле школы. Мне очень хотелось вызвать Марию Степановну из учительской и попросить прощения за ложь. Но я не посмела.

Она пришла на второй урок. И сразу же лицо мое запылало. Что за несчастное у меня свойство — краснеть?! А Мария Степановна заговорила:

— Ну что ж, у Садова мы были вчера с Закировой. Он еще болен, но поправляется. Скоро будет здоров. Больше никто не заболел? — И тут она поглядела на меня.

Я опустила голову и прошептала, что нет...

Поняла я, что она и прощает меня и делает мне выговор. И перевела дух. Я еще не знала, что главная моя казнь впереди. В перемену Вера мне сказала шепотом:

— Дашка, что вчера было! Мария сказала нашей (так она звала сестру), она на меня как вывереет! «Я, говорит, знала, что этим кончится! Все вы, говорит, собрались там маменькины дочери да неженки!»

— Вера, — зашептала я, чувствуя, что губы мои мертвеют от позора, ясного только мне, — ведь все другие тоже спали, Вера!

Говоря так, я понимала, что еще больше унижаюсь, совсем позорюсь, цепляясь за чужую вину, как за свое оправдание. И все-таки я говорила!

— У нас-то хоть Степа не спал, потому мы и легли... Другие же подряд спали...

— Да-а, это мне ты говоришь! А ей бы сказала?!

— Нет, конечно! Что мы — ябеды?

— Ну вот, — успокоилась Вера, — оправдаться-то нельзя.

А тут перемена кончилась, и пришла на урок Анастасия Ивановна. И я сжалась в комок и горячо пожелала стать невидимкой. Вовсе пропасть.

У Анастасии на лице казнь и презрение. Если б это все произошло во Франции в эпоху буржуазной революции — нас бы гильотиниро-

вали. Как в книге «Девяносто третий» Виктора Гюго. И Анастасия была бы Маратом или Робеспьером.

Сейчас Анастасия Ивановна не обращала на наши парты никакого внимания. И, глядя на ее лицо, я полной мерой понимала справедливость того, что высказала она своей сестренке. Ой как было мне нехорошо... Тошнота подкатывала, когда я вспомнила свои разглазгования в вечер сбора по цепочке, что все это нам для испытания воли и моральных качеств...

Только маленькая надежда слабым огоньком маячила передо мной: будь у нас настоящее дело: настоящий арсенал или там госпиталь с ранеными — ни за что бы мы не уснули!..

Но крутись не крутись, правдашное дело, не правдашное — а все получалось так, что мы перед Анастасией опозорились и заврались. Досидеть бы урок, а то, правда, тошно.

«Нет-нет! Воля есть у меня, есть, — уверяла я себя, стиснув зубы. — И меня не стошнит. Кончится урок, и я выбегу на улицу. Подышу».

Звонок!!! Звонок! Анастасия Ивановна выходит из класса. Чуть выждав, иду за ней следом. И вот я среди снега и деревьев. И небо над головой. И мороз. И вороны на старых липах. Дышу глубоко... Холодный ток воздуха омывает, кажется, самое сердце. Иду по чьему-то следу между деревьями к церкви. Широко кто-то шагал — я еле дошагиваю от следа к следу.

Ходить лучше, чем стоять или сидеть. «Уйду я в поле, в снег и ночь, забьюсь под куст ракитовый! Там воля всех вольнее воли не приневолит вольного. И болей всех больнее боль вернет с пути окольного!» Эти слова я слышала от папы, все стихотворение не запомнила, а эти — про волю — сразу. Знаю, что это поэт Александр Блок. Папа из него многое читает. Сейчас понимаю — даже остановилась я! — вот что мне нужно, чтоб избавиться от этой тошноты и мучений совести! Уйду я в поле, в снег и ночь, забьюсь под куст ракитовый... Но я не знаю здешних мест. Где есть хороший ракитовый куст? На поле, через которое мы ходим, нет. Березы вдали. Но это не куст. И потом, все здешние места какие-то не свои, неуютно здесь. Это не дома.

В нашем совхозе есть как раз такой, какой нужно, — круглый ракитовый — на поле неподалеку от околицы. Под него очень уютно забиться. Он тонет сейчас в таких снежных перинах. А на нем — целая папаха снега. Там, пожалуй, даже не замерзнешь насовсем.

В теплом снегу под кустом. «Домой надо уйти,— подумала я.— Сегодня же и уйти». Я повернулась, приняв это решение, и отправилась назад, в класс.

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Но не суждено мне было попасть в этот день домой, а дома — под куст ракитовый. Перед последним уроком заглянула к нам снова Мария Степановна и велела после звонка не расходиться.

Весной в райцентре будет смотр художественной самодеятельности. И мы примем участие. Сегодня поговорим, что нам делать к смотру.

Наконец хоть что-то приятное! После урока все остались за партами. И Мария Степановна сказала, что в концерте все будут заняты. Те, кто ходит в Пеньки из деревень, тоже. Пусть они пока учат песни, стихи, танцы — ведь могут же Нурулла и Галия приготовить татарский танец сами? А потом мы раза два прорепетируем все номера — и порядок! Так ведь? А то вот к Октябрьской годовщине не вышло у нас ничего. А жаль... Ответственной за подготовку деревенских ребят назначили Тоню. И я видела, что Тоня была рада. И я обрадовалась, когда Тоня, чуть улыбнувшись, сказала коротко: — Ну что ж, постараемся.

Вот как хорошо! А то все вроде в стороне деревенские.

Мария Степановна пока велела им учить русскую песню «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», песню «Принесли мне в землянку посылку» и «Вася-Василек» и отпустила их. А мы остались выяснять, кто что умеет и что нам понадобится из оформления и костюмов.

И оказалось... Чего только не оказалось! Что Карпэй играет на гармошке, а Лешка у него учится. Нина Иванова поет очень тоненьким, как серебряная ниточка, голосом; у Марии Степановны припасены две пьески, и в одной надо петь, как в опере. Для «Не шей ты мне, матушка...» надо достать прялку покрасивее, льняную кудель, чтобы сделать косу девушке, которая будет сидеть за прялкой. И еще кудель для этой прялки. И надо, чтоб артистка на роль этой девушки умела бы прясть. Прясть умела только Тоня. Но Тоня была слишком взрослой. Значит, научиться прясть должна была Нинка со своим серебряным голосом.

Нинка обещала хоть завтра научиться! Правда, для невесты Нинка была бледновата, но Карпэй сказал, что можно свеклой покраситься. А Душка сказала, что она знает, у кого есть лен. А мы сказали, что у нас есть сарафан, и прялки есть.

Но тут Мария Степановна всех огорошила: не нужен красный-то сарафан! Ведь она, девица-то, просит: «Не шей!» Не шили еще, значит!

— Так ведь, может, уже шьют!

— А вот это верно! Посадим на сцену и матушку с шитьем в руках. Дочка будет за прялкой, а матушка — с иглой, хор же за ними, — сказала Мария Степановна.

— А хор надо в цветные полушалки!

— Найдете? — усомнилась Мария Степановна.

Я рассказала про сундук тети Ени.

— Ой, да у всех старух есть, хоть один да есть! — убежденно отозвалась и Вера.

Мария Степановна пропела нам тихонько «Сарафан», и я поразились, как легко запоминался мотив, будто мы уже знали его давно, а сейчас лишь вспоминали. И слова тоже... Что-то меня задело в словах — скучным очень показался ответ матушки: мол, нечего, все замуж выходят, и тебе надо. А то состаришься, «поблекнут на щеченьках маковы цветы». «Ну и что?» — возразила я про себя. Однако что спорить со старой дореволюционной песней? Красивый мотив! Нежный, вкрадчивый... Пусть его.

Мария Степановна вдруг озабоченно так Карпэя спрашивает:

— Костя, а ты сможешь это нам сыграть?

Костя покраснел, в пол уперся глазами, засопел и пробасил:

— Смочь-то смогу, чай... Да гармонии у меня нету. На муку сменяли, еще летось...

— Надо поискать, мальчики, — строго сказала Мария Степановна. — Как же без музыки? Поспрашивайте в селе, и я тоже буду узнавать...

Мы разучивали песню, а мальчишки пока переписывали ту пьеску из книжки, которую дала им учительница. Потом она нам ее прочитала.

В партизанский лагерь приходит старенькая бабушка и просит принять ее в отряд — она хочет стряпать бойцам, стирать им. А часовой ее спрашивает:

«Здорово, бабуся! Каким тебя ветром
В отряд к нам сюда занесло?»

Она ему отвечает, что это жестокий ветер войны, разоривший
ее село и спаливший избу.

«А где же старик твой?
Куда он девался
С родимой отцовской земли?» —
«Над дедом немецкий снаряд разорвался,
Сыны в партизаны ушли...» —

отвечает она.

Тогда часовой ведет бабушку к командиру.

Очень хорошая песня-пьеска. Так хотелось, чтобы бабушку при-
няли в отряд.

Я представила сразу мою бабусю и тетю Еню, хоть она еще
и не старая. Разве плохо было бы с ними партизанам? Придут
с операции промокшие, уставшие, а у них в отряде уже горячее
сварено, постираны портянки, белье. И за ранеными есть кому при-
глянуть. И самой бабушке хорошо — не одна.

Часового поручили играть Лешке. А бабушку — Душке Домушки-
ной. Но когда они вышли и стали друг перед другом, оказалось, что
Душка выше ростом. Все, кроме меня, засмеялись: ай да бабушка!
И тогда предложили мне.

— Нет, Мария Степановна, я лучше другое буду. У меня есть один
рассказ про летчика. Я его буду лучше читать! — взмолилась я,
стараясь не глядеть на Лешку. И все-таки я видела, как он стоит,
круто повернув голову к окну и притопывает носком отставленной
в сторону ноги.

— Ты мне не говорила про рассказ, — упрекнула меня Мария
Степановна, — но одно другому не мешает: сыграешь и здесь.

— Дайте мне бабушку! — вдруг вмешалась Зульфия. — Я малень-
кая, в самый раз для Лешки!

И все захохотали, что Зульфия сама напрашивается. Только не
я. Я смотрела на Зульфию во все глаза: как она все понимает! Вот
друг настоящий! И никаких насмешек не боится. А ребята, хоть
смеялись, одобрили:

— Правда! Правда! Ей лучше!

И Зульфия вышла на середину класса, на ходу повязывая платок под подбородком, по-старушечьи, и стала рядом с Лешкой.

— Ах ты моя ба-бу-сень-ка! — вдруг впервые за эти дни оживился Лешка и, схватив концы платка на Зульфие, развел их в стороны, поворачивая голову ее то влево, то вправо.

Зульфия ударила его по рукам, а Мария Степановна погрозила пальцем:

— Не баловаться! Некогда нам.

Зульфия запела звонко. А Лешка и не пел, а просто вразтяжку говорил. Когда он начал, обращаясь к румяной Зульфие: «Бабуся, бабуся!» — все так и легли от хохота. Тут уж и мне стало весело, я тоже рассмеялась.

А Лешка — подумать только! — и не улыбнулся! Подождал, пока все отсмеются, и снова свое завел: «Бабуся! Бабуся!»

Опять все грохнули! Еще раза три пришлось ему возглашать «бабусю», прежде чем зрители успокоились. И то после строгого внушения Марии Степановны.

— Один Никонов среди всех вас молодец! — сказала она. — Видите, он держит себя в руках, не распускается, а ведь, наверное, и ему смешно.

Лешка слушал похвалу себе с видом безучастным. Мол, да, я вот такой — волевой и собранный. И тут уж ничего не поделаешь!

И в самом деле, попробуй-ка не рассмеяться, когда все хохочут! А Зульфия — такая уморительная черноглазая бабуся!

И вспомнила я, как Анастасия Ивановна говорила, что Лешке бы разведчиком к партизанам...

А потом мне пришлось читать рассказ про летчика Александра Боева. Я вырезала его из газеты «Правда» еще позапрошлым летом, перед пятым классом, потому что он меня поразил и просто потряс.

Сначала там говорилось, как Александр Боев еще мальчишкой хотел стать летчиком, как выучился. И воевал здорово. Был ранен в кисти рук, но все силы приложил, чтобы вернуться в эскадрилью. Подробнее всего в статье рассказывалось о его последнем бое. И это было самое главное.

«Он взялся за штурвал, едва кисть руки могла снова двигаться, и снова умчался в ночь, чтобы бить врага...» — так начинался отрывок, который я выучила наизусть. Дальше описывалась бомбежка вражеского эшелона. наших летчиков фашисты обстреливали разрывными

пулями. Это страшные пули. Попадая в тело, они разрываются, словно маленькие снаряды. Пуля, попавшая в Боева, своими осколками смертельно ранила его сердце. Однако такая была у человека воля и такое терпение, что он еще сумел сказать штурману: «Я ранен... Бери управление...» Штурман Смирнов повел машину, а пилот Александр Боев умер.

— «И было так,— читала я, немного задыхаясь от волнения и чувствуя, как холодок ужаса, торжества и победы приподымает волосы на моей голове,— и было так, как будто вел грозную машину сам мертвый пилот. Мертвый и бессмертный парил Боев над пылающим эшелонем врага.

Он умер в полете и, мертвый, продолжал полет. Он умер за родную землю, и, мертвый, он продолжал жить. Жизнь его была прекрасна. И смерть прекрасна.

Так живут и так умирают герои».

Я кончила. И все молчали. А у меня по коже бежали мурашки. Оказывается, когда читаешь вслух и при людях, все получается по-другому, и чувствуется иначе — острее, больнее и торжественнее. И давно известный и любимый рассказ понимаешь как совсем новый и неизвестный... Я поняла и почувствовала, что вот сейчас сама могла бы умереть с восторгом и легкостью здесь, на глазах у своих товарищей и за них за всех: Зульфию и Веру, Душку и Нину, Карпэя и Лешку. И за Марию Степановну, и за Боева, и за нашу школу, и за все Пеньки, и за наш совхоз, где мой дом, и за дорогу, на которую смотрят издали две березы.

Мария Степановна сказала, что это очень хороший рассказ, им-то мы и начнем концерт.

Ее спокойный голос вернул меня к жизни, снял напряжение и озноб. Я почувствовала, что очень устала и что мне больше не хочется репетировать.

Мария Степановна велела всем расходиться.

На узеньком и высоком крыльчке школы стоял Лешка — руки в карманы, ноги врозь,— будто ждал кого-то. Карпэй маячил внизу у крыльца. Никонову сейчас удобно было столкнуть меня вниз: крыльцо-то совсем голое, без перильцев,— но в эту минуту мне было все равно, я спокойно прошла мимо. Лешка не посторонился, так что я задела его плечом; но и тогда он не толкнул. Странно все это!

Я шла домой и думала: «Почему мы не можем поступать так, как

нам хочется? Почему вот идешь скованная, как рыцарь в латах, и забрало скрывает твоё лицо? Почему не смеешь протянуть руку и сказать: «Лешка, мне хочется рассказать тебе, что я думаю про Боева, про его смерть...» И я бы прочитала ему стих Лермонтова:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

.....
Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

И мы бы поговорили с ним о Летучем голландце, об океанском мраке, у которого нет берегов, только клубящиеся косматые облака и блестящие звезды в их разрывах — сверху, а снизу — космы океанских валов.

А теперь есть и у неба своя легенда. Правда же, Лешка? Ведь можно представить: вот среди ночной тишины, когда на какие-то часы, может, замерли бои, бесшумной тенью из туч или облаков выносится самолет, и это самое страшное — видеть беззвучный его полет! Враги тогда мечутся в панике, если случается им заметить его прежде, чем бледный и тоже бесшумный огонь — вроде молнии без грома, — вырвавшись из бомбовых люков, поразит их всех! И может, он не один, такой самолет, может, их много — вечных странников неба, мстящих врагу!

Я рассказала бы это Лешке, и он бы понял, как глупо то, что мы ссоримся, деремся, не разговариваем и боимся друг друга...»

Вот что было под латами в моем сердце и под шлемом в моей голове, когда по темной улице мимо пригревшихся под снежными шапками домов шли мы, неслышно ступая валенками по каменно-укатанной дороге, и морозная пороша Млечного Пути да редкие звезды одни светили нам с черного неба. Но воздух уже чуть отдавал сырой тыквой. Где-то во рту оставался этот тыквенный привкус. Я не любила его. Сырую тыкву терпеть не могла. Но дело в том, что привкус ее в морозном воздухе означал близкую оттепель. Это была моя собственная примета. Сколько раз я пыталась поделиться этим своим наблюдением с девушками или с родными, спрашивала: «Чувствуешь, будто тыквой отдает?» От меня отмахивались: «Ну тебя! Просто мороз, морозом и пахнет!»

Где-то шел Лешка. Или за нами, или в другую сторону направился. Я больше не боялась его. Я поняла почему-то, что он мне мстить не будет. Мне показалось, что и ему было неловко, когда Мария Степановна предложила нам выступать с ним вдвоем.

Как напряженно смотрел он в сторону, чуть шею не свернул.

— Зульфия, — сказала я, — как хорошо, что ты стала бабушкой.

— А чего она к тебе привязалась? — с необычной для себя грубостью спросила Зульфия. — Будешь да будешь, будто других нету! А Лешка-то — молодец! Я и не думала! Думала, что только баловаться мастер!

А у меня сердце замерло: так было странно услышать имя Лешки как раз в тот миг, когда я одна про него думала.

«Зульфия! Может, ты колдунья? — спросила я ее, только не вслух, а про себя. И еще добавила: — А если колдунья, то добрая».

ПЯТЬ ОВЕЧЕК

— Что невеселы, нос повесили? — встретила нас тетя Еня. — Что поздно так? За Степана, что ли, наказаны были?

Мы переглянулись с Зульфией, рассмеялись:

— Еще очередь не дошла! У нас репетиция была. К смотру готовимся. Ох и есть охота! — раздеваясь, поглядывала я на самовар, бушующий на столе. Видно, только-только из-под трубы. Живой!

— Это дело у нас, слава богу, поправимое! — отозвалась хозяйка. — Давайте побыстрей. Я уж отужинала без вас.

Как всегда после вечернего чая, тетя Еня налаживалась прясть. Она ни минуты просто так не сидела. Если все дела у ней во дворе и по избе переделаны, вяжет или прядет. Она вязала носки бойцам на фронт. И большую их часть отправляла как подарки, бесплатно. «Сколько же она всего напярала!» — думала я, глядя на бесконечное кружение веретена.

Наверное, потому что «Красный сарафан» на репетиции вызвал разговоры о прялке, о льняной кудели, сейчас, лишь только увидела я тетю Еню за пряжей, мотив песни проснулся в мозгу, потек, вбирая в себя и сиплый шумок самовара, и звяканье чашек, и голос тети Ени, и тишину за окном...

Рано мою ко-о-осыньку
На две расплета-ать...

И под этот напев та стесненность, тяжесть, давившая мне сердце (или эту самую душу!), словно стронулась, стала таять, как ледок в теплой воде, и потекла, потекла, освобождая дыхание, но до конца не исчезая. Привязался же этот «Сарафан»! Вкрадчивый обман слов, равно уговорят. Тоска и несогласие все еще донимали меня. Тек-так крепко, что сплеснула. И спросила угрюмо, просто чтобы сказать что-нибудь:

— А зачем косу на две расплетать, а, тетя Ень?

— Это ты о чем?

— Так мы же «Не шей ты мне, матушка...» репетируем!

— Во-он что! Такую старинную? Смотри-ка! Ну-ну... — одобрительно кивнула тетя Еня. — А косу-то, одну косу, носили девушки. Замужние плели волосы в две. Вот, значит, и не хочет она замуж — рано, говорит, на две-то расплетать.

— А мы всегда две плетем, с детства! — задорно сказала Зульфия, и они засмеялись.

— Вам и горя мало — не переживать, замуж-то выходить — косу не делить, уж разделенная, — проговорила тетя Еня, смеясь. — Все и горе-то было, поди-ка, в косе.

— Несправедливая песня! — сказала я громко, чтоб заглушить их смех, и невпопад — шутливый же шел разговор!

— Зато красивая, — тихо произнесла тетя Еня, взглянув на меня с удивлением.

— Вот и плохо, что несправедливая, а красивая! Так не должно быть!

— Деваться-то некуда было девушкам... Вот и пелось про то покрасивей. Как-то оно не так обидно. Вишь: «И я молодешенька была такова. И мне те же в девушках пелися слова...» И напев под стать уговору — протяжный...

— Вот-вот, тетя Еня! Для обману все! Для обману!

Я и раньше чувствовала, что есть тут что-то! Да вот объяснить не могла!

— Не для обману, а для уговору! — смеется тетя Еня.

А Зульфия, которая молча слушала наш разговор, вдруг сказала, глубоко вздохнув:

— Нам песня строить и жить помогает...

От неожиданности я поперхнулась чаем. Глянула на Зульфию — она мне так лукаво подмигнула, — и, с радостью включаясь в игру, я охотно с ней согласилась:

— Она, как друг, и зовет и ведет.

И уже вместе с ней мы негромко допели:

И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!

Урра! Вот это песня!!!

— Ну, слава богу, развеселились! — проговорила тетя Еня. — А то киснут и киснут. Одна молчит, другая к старине придирается. Вот, девчата, разгадайте лучше загадку:

Пять овечек стог подъедают,
Пять овечек прочь отбегают.

Мы смеемся: разгадка-то перед нашими глазами: это сама тетя Еня, пряжа, ее работа!

Пальцы левой ее руки (пять-то овечек!), вытягивая волокно, подщипывают и подщипывают непрерывно кудель, привязанную к головке прялки. И пухлый комок кудели словно подтаивает снизу. Но ведь так и овечки: не могут высоко достать, кормясь у целого стога. И подъедают его снизу.

А другие пять овечек — на правой руке, — будто юлу, запуская веретено, убегают прочь вместе с ним. Ведь, раскрутившись, веретено как живое само бежит от прялки, натягивая и скручивая в нить волокно, выщипнутое пряхой. А ее ладонь только чуть придерживает, направляет его бег. Веретену не убежать дальше вольно откинутой руки пряжи. Вновь подтолкнутое пальцами, оно возвращается, теперь наматывая спряденную нить на свое толстенное и все полнеющее брюшко.

И опять сучат сильные пальцы тонкое жало веретена, и опять смело отпускают его пробежаться, разлететься. И снова, и опять... Снова и опять... Рука с веретеном сует как челнок: ближе к прялке, прочь от нее, ближе — и прочь... Подъедают овечки стог. А другие пять — убегают.

Какая удивительная работа! Такая однообразная, она завораживает, как движение волн, как длинные строфы стихов.

Вглядываясь сейчас с особым вниманием в фигуру нашей хозяйки,

ульфию —
сь в игру,

и Еня. —
дируется.

ма тетя

но, под-
ю к го-
изу. Но
о стога.

пуская
еретено
в нить
кивает,
инутой
теперь
еющее

опять
пять...
оялке,
ругие

ражи-

яйки,



отрешенную и сосредоточенную, я подумала... Подумала, сколько уже веков сидит вот так пряха...

Одетые по-разному, не понявшие бы языка друг друга, древние гречанки и египтянки, славянки и древние германки и француженки, увидев друг друга за прялкой, успокоенно бы закивали головами, понимающе улыбнулись и продолжили бы свое вечное дело.

А поэты, с тайным страхом глядя на бесконечно текущую из-под их пальцев нить, сочиняли красивые и страшные легенды. Эти легенды и выдавали их страх перед женщиной с веретеном: Спящая красавица укололась о веретено. Мойры, богини судьбы у древних греков, были пряхами. Для каждого человека они пряли нить судьбы. Обрывалась нить — и умирал человек. А когда богиня-пряха брала в руки еще пустое веретено и заводила новую нить, кто-то рождался. Начиналась новая судьба.

А что, похоже: из разных тончайших волокон скручивается нить. Из белых — белая. Из черных — черная. А смешай, сбей вместе белое и черное — будет серая. Если длинное, прочное волокно — и нить прочная. Короткое, ветхое — и нить никудышная.

И можно понять поэтов, глядя на нашу тетю Еню: и строго, и бесстрастно ее красивое лицо; спокойны темные глаза под всегда белоснежным платком; горделиво выпрямлены спина и шея. Широкая, прямая кофта, бористая юбка до пят лишают фигуру подробностей, — она как живая скульптура и почти так же неподвижна. Только плавно — к себе, от себя — ходит рука с веретеном.

Я рассказываю ей о Мойрах. Она слушает так внимательно, даже несколько раз бросает на меня быстрый взгляд, восклицая:

— Вот что!..

А когда я кончила, помолчав, промолвила:

— Гляди ты... У теплого, говоришь, моря... А так же пряли. И богинь таких себе выбрали. Видать, народ был трудовой, понимающий работу. Интересно... — опять покачала она головой, и довольная улыбка поморщила ее губы, будто эти древние греки ее похвалили за труд, как и она их только что. И тут же она похвалила меня: — Вишь, Даня, как хорошо много-то знать, — сказала она тоном наставления, но никак не зависти. — Ты понимаешь не только то, что твои глаза видят. Дальше можешь понять. И меня вот сейчас утешила. А то прядишь и прядишь всеё-то жизнь. Экое дело! А кто-то вот, гляди, про твою работу еще когда подумал! До рождества Христова, гово-

ришь? Это надо! Конечно, и сам сидишь за прялкой да думаешь про свое. Ежели теперь всеё-то мою пряжу назад размотать, и правда что — выйдет моя судьба... Как есть.

И мы замолчали, и я подумала про бабушку, которой не было с нами.

— Тетя Ень, а не устает рука? — спросила находчивая моя подружка.

И наша хозяйка охотно отозвалась:

— Не-ет! Даже отдыхаешь, сидючи, не цельный же день.

— Ой, тетя Ень! Дайте попробовать! — взмолилась Зульфия.

И сердце мое ревниво вздрогнуло оттого, что я сама не смела попросить об этом тетю Еню. Я думала, что ее зря отвлекать от дела. Теперь видела — нашей хозяйке была приятна просьба.

И Зульфия примостилась, уселась на хвост прялки, как полагается. Ее маленькие, цепкие и будто всегда растопыренные пальчики взялись за веретено, потянулись к кудели, но волокно из кудели вырвалось толстым клоком, не полупрозрачной прядкой, а веретено тукнулось толстым концом в пол.

Ой, как же мне захотелось попробовать!

И тетя Еня заметила:

— Тебе, Даша, охота? Ну давай, — пригласила она, еще чуть помучившись с Зульфией.

С бьющимся сердцем села я за прялку, потянула мягкую, шелковистую шерсть. Вон оно что! Почему не получается у нас! И правая, и левая рука стремились к одинаковым жестам. Правая заводила веретено движением довольно резким, и то же самое стремились повторить пальцы левой! А ведь им надо бы потихонечку тянуть кудель, плавно! Вот почему нить у нас сразу рвалась, а веретено недостаточно сильно раскручивалось и падало бескрылое.

— Ну, будет, пряхи, напрялись! Не получается с одного-то разу. А вам и ни к чему. Тому скоро обучаешься, что в жизни необходимо...

Тетя Еня присучила оборванную нить, и запело живое и крылатое в ее руках веретено.

Вот интересно, научится наша Нинка или нет. Ей-то необходимо!

Нам не пригодится, наверное, так.

И тетя Еня уже не ткёт, например. Хоть умеет. И ткацкое устройство — кросна — пылятся у нее в задней, холодной, избе, где лежат и стоят разные хозяйственные вещи, лари, короба. А все, что

видели мы в сундуке — скатерти, полотенца, холсты, — все соткано на этих кроснах тетей Еней или еще бабушкой.

А теперь зачем ткать, когда до войны вон было сколько разной красивой материи! И простой, и шелковой. Это сейчас мы только мечтаем о красивых платьях и рисуем разные наряды нашим маленьким бумажным куклам. Больше-то мы в эти куклы никак не играем — только придумываем узоры для ткани и фасоны.

Этот вечер кончился тем, что тетя Еня снова открыла сундук и подобрала нам с Зульфией полушалки для концерта: Зульфие — густо-малиновый в розово-желтых и белых розах, а мне — кубовый в алых розах и голубых незабудках. И дала еще и юбки под цвет полушалков. Их нужно было, конечно, подшивать чуть ли не вдвое.

Мы уснули совсем счастливые. И наверное, видели во сне лето, как до войны, жаркий и ветреный день с крутыми белыми облаками, с бегущей под ветром пестрой, перемешанной с цветами травой. Но спали так крепко, что не запомнили сон.

Когда я проснулась, осталось лишь ощущение — или предчувствие? — счастья, вроде привкуса меда на губах, когда идешь мимо поля цветущей гречихи. Меда-то нет никакого!

Я села в постели, взглянула на Зульфию. Ее черные глаза блеснули мне с белой подушки.

— Встаем?

— Встаем!

О СЧАСТЬЕ

Счастливый поворот в моей жизни начался, пожалуй, как раз с этого утра. Хотя еще много случалось и после всякого неприятного, терзающего меня, мучающего, потому, главным образом, что далеко мне было до совершенного владения собой и своей волей. Ведь счастливой чувствуешь себя в двух случаях. Бывает, что-то хорошее совершается для тебя само по себе, помимо твоего желания или нежелания. Например, вдруг прекрасное солнечное утро, и воробьи веселятся на березах под окном. Или приходишь однажды из школы, а во дворе две верховых лошади! И одна из них — папина Пчелка! Это счастье просто как подарок, счастье-подарок.

А бывает счастье, когда что-то происходит от того, что ты сама

придумала, устроила и сделала. Когда оно по твоей воле случается. Вот оттого и Лермонтов так говорил о воле, что она заключает в себе все... Очень теперь стала я понимать, как это верно. Ты поступаешь так, как считаешь необходимым и справедливым, — и получается по твоей воле, иногда даже неожиданно. Например, когда я вlepила Лешке пощечину. Справедливо было наказать его. Но сделать так мне захотелось внезапно. И я, не раздумывая, так и сделала.

Счастье было очень большим. Только очень уж коротким... А потом даже и вовсе стало плохо. Но это уже про другое...

Или вот боишься с крутой горы на лыжах. А надо! Иначе себя презираешь. Съедешь — вот оно, счастье! Потом целый день весело, легко, со всеми хочется шутить и смеяться. Однако тоже такое счастье ненадолго. Так же, когда трудную задачу решишь. Вообще с разной работой — это все понятно: чем труднее и тяжелее делать, тем радостнее, когда получается. Тут нечего и рассуждать.

Но есть другие вещи: когда ты сама кому-то приятное делаешь. То есть становишься для другого человека причиной его счастья-подарка. Он не ждет — а случается приятное. И этот случай — вот ты сама и есть. Самое-то интересное, что ты испытываешь, наверное, еще большее счастье, чем тот человек! Даже если в этот момент ты была просто последним несчастным человеком на свете! Это я неожиданно для себя открыла. В тот самый день счастливого пробуждения.

* * *

Правда, поначалу все мое счастье испарилось без следа, стоило мне увидеть пустое Степкино место в классе. А потом и учительниц. И дальше вяло, без всякого интереса тянулся день. Никонов все время уходил на переменах. Не приставал, не грозился. Я больше не сомневалась: драться он не будет.

Вяло и без интереса плелась я домой после уроков. Как всегда, вместе с Тоней и всеми другими, кому по пути. Знала: где-то сзади идет и Лешка.

Не помню уж как, с чего пошел разговор о младших сестрах-братьях. Тоня про свою трехлетнюю Машеньку рассказала. Как жалко ее оставлять: она плачет всегда, просится с Тоней. И ее приходится уговаривать, обещать: мол, что-то принесу! А что принесешь? Какой-

нибудь прутик, камешек, чурбачок найдешь по дороге. И то пока зимы нет...

Вот тут и пришла мне в голову счастливая мысль! Пусть Тоня отнесет сегодня Маше мою бумажную барышню с двумя-тремя платьями. А потом каждый день будет носить ей «обновки»: то платьишко, то шубку. Тоня-то как обрадовалась! Но спросила все-таки: «А ты разве играешь еще в куклы?» — «Да не играю, — говорю, — просто платья придумываю! И Зульфия — тоже!»

Тут же на дороге открыла портфель, вытащила свою красотку из учебника арифметики, отдала Тоне. Тоня говорит: «Ой, будет Машке-то радости!» А я прямо тут, сейчас, рада до смерти! Словно одним мигом, как в волшебной сказке, — закрой глаза, добрый молодец, и открой глаза — и ты уже в другом царстве-государстве, и все напасти остались позади! Так я открыла для себя это счастье. Даже и не думала, что так может быть. Наперед скажу — каждый день теперь мы с Зульфией ждали Тониных рассказов про Машеньку, что она говорила, как радовалась кукольным обновкам. И рисовали кукол и платья теперь для нее. Оказалось в сто раз интереснее.

Тогда, на дороге, я, видно, от радости заспешила, засуетилась и, закрывая портфель, обронила варежки. И похолодела: сзади где-то Никонов шел — пока с куклами копалась, наверняка он нагнал нас. «Ну, — думаю, — сейчас как раз и настигнет и варежки подопнет». И скорей сама на варежки наступила. Как и думала, Лешка тут как тут, подскакивает и рукой к варежкам моим тянется.

— Эй, Дашка, свои варежки топчешь! — и — хват! — вырвал их из-под ног. Я чуть не упала. А он мне же и протягивает! Мои варежки!

— Это ты мне? — говорю я тупо, не веря своим глазам и все еще не беру варежки, опасаясь какого-нибудь подвоха. А потом опомнилась — и хват! Чуть ли не вырвала их у него из рук. Отвернувшись пошла.

— Эй! Хоть бы спасибо сказала! — раздалось за моей спиной.

А я ничего сказать еще не могу. Иду и думаю: «Он же меня по имени первый раз назвал. А то все Плетнева да Плетниха. И варежки отдал! Что же это такое будет?!»

Зато Лешку Тоня похвалила:

— Вот так Леша-молодец!

А Лешка и не спорит:

— Конечно, — говорит, — не хуже других, а ишо и получче!

— Каких других? Леш!

— Ну, там... Всяких! — Очень понятно объяснил.

Тоня засмеялась, но и он тоже. Шутка, мол, это такая. Однако будто с натугой смеялся Лешка. Будто не очень ему весело.

А когда мы поравнялись с нашим двором, Никонов опять меня окликнул:

— Дашка!

Мы с Зульфией остановились.

— Приходите на карусель... к вечеру.

Но я совсем еще не была готова к таким переменам в Лешке. Не могла ему так сразу поверить, хоть и жалела его после всех последних событий. А дружелюбия его не ожидала никак.

— Нет, — сказала я. — Не придем, спасибо.

— Нну, как знаете... — протянул медленно Лешка.

И я постаралась как-то оправдаться, сказала, что дела есть.

И, придумывая, что у меня за дела, — и Зульфия ведь глянула удивленно: она-то знала все мои дела, — я посмотрела вдаль, за Лешкину спину, вокруг и на небо, слепящее синим расплавленным светом, и остановила взгляд на нашей крыше с таким могучим вихревым загибом снежного козырька, что удивительно было, как еще он держался. И меня осенило!

— Да, видишь, день какой стоит. Того гляди, закапает. А тетя Еня все горюет, как бы крышу почистить. Таять начнет, тес сразу набухнет, старый уж. Мы сегодня снег должны скинуть с крыши.

Зульфия слушала меня с большим вниманием. Правда, разговор такой был когда-то: если не давать тесу под тающим снегом киснуть, он долго держится, не гниет.

А Лешка вдруг обрадовался:

— Я к вам приду! Чё вы, одне-то девчата! До конька не доползете! — И захохотал обидно. Стал похож на себя всегдашнего.

— Не бойся, доползем получше тебя! — сказали мы с Зульфией в один голос.

— Так приду после обеда, ближе к вечеру!

Тетя Еня нас похвалила за намерение почистить крышу.

— Самую-то толщу скинем, так остальные снегопады не страшны будут! Они полегче.

Оказывается, как весело чистить крышу! В проулочке между

нашей и косинской избой снегу — почти вровень с венцом избы. Когда мы соскребли снег с полкрыши — а тес выходил из-под снега скользким, замороженным и присыпанным льдистой мельчайшей крупкой, — то стали съезжать с крыши на снежных пластах; Зульфия станет или сядет на край снегового одеяла, а я широкой деревянной лопатой обколю квадрат вокруг нее и сверху подтолкну, подсажу пласт, как хлеб в печь: понеслась подружка в снежном вихре вниз, в пухлый сугроб! Над местом ее падения вспыхивала искристая радуга — такая мелкая, морозная снежная пыль взлетала!

А потом Зульфия меня снаряжала вниз на снежной сковородке. В сугробе угрязали по подмышки; удерживались, раскидывая руки в стороны, а то бы, может, и с головкой было.

Мы сбросили снег уже со всего ската, а Лешка все не шел. Поговорил, и на том спасибо!

Вдруг раздался его свист. Мы как раз стояли верхом на коньке: одна нога здесь, другая — там. Видим, Лешка на санях куда-то направился. Попридержал свою лохматенькую лошадку, кричит:

— Погодите меня! Я только соломы на двор привезу! Я скоро! Матери вон лошадь дали!

Что ж тут делать! Мы знаем, что заполучить лошадь на двор для какой хозяйственной нужды — случай не частый. Прокричали Лешке:

— Не торопись! Мы сами!

И я поняла, как сильно ждала я Лешку, а он, видно, не спешил ко мне.

Скидывать снег с дворового ската крыши оказалось не так просто. Двор-то был расчищен, падать высоко и жестко. Тетя Еня велела подождать, пока она к нам заберется. Она захватила с собой вожжи. Обвязала вокруг пояса меня вожжами и, укрепившись за коньком, страховала меня, как альпиниста. Зульфия, конечно, не могла от меня отстать. Пока я работала, прыгала надо мной и кричала: «Оставь половину! Не меньше!» Но даже это альпинистское приключение показалось мне теперь скучноватым. Теперь, когда я знала, что, конечно, мы все успеем еще до Лешкиного возвращения с соломой.

Я поклялась себе, что никто на свете не узнает об этой моей недопустимой слабости. Тем более сам Лешка.

Уже поздно вечером — лампы зажгли — услышали мы разбойный свист за окном: Никонов давал знать, что возвращается. Ждали бы мы его!

Я насмешничала и смеялась вместе с Зульфией, но свист отозвался в сердце, оставил там какое-то тихое дрожание. Бедный Лешка! Видно, намучился с соломой: на конном не оказалось или не дали, послали самого в поле, к ометам. Вот и поздно. Выйти бы сейчас к Лешке, пойти вместе с ним за возом... Мы бы разговаривали, а перед глазами покачивалась бы соломенная путаница... А под ногами на твердой дороге похрустывали бы только комочки снега...

Но было это так же несбыточно, как подержать под уздцы коня рыцаря Айвенго...

— Ишь, кавалер-то, все посвистывает! — сказала тетя Еня. — Чего ж не бежите?

— Еще бы мы к нему бегали! — так сказали мы с Зульфией.

ГРУСТЬ-ТОСКА

Почему так несправедливо получается? Когда Лешка звал нас на карусель, я не могла пойти. А когда я уже настроилась и поверила, когда я поняла, что самой мне нужен Лешка и его внимание, то он вдруг непонятно начинает себя вести, сам отдаляется.

На другой день после чистки крыши был Никонов тих и скромен. На нас с Зульфией — никакого внимания. Будто это и не он подавал мне варезки, звал на карусель и хотел прийти с крышей подсобить. Обиделся, что ли, на нас? Да за что же? На свист его мы, что ли, должны были выбегать, в самом-то деле? Дуется, ну и пусть, сердилась я. А все-таки чувствовала вину перед Никоновым. И потому еще сильнее сердилась и на него и на себя и старалась веселиться изо всех сил. И назло же себе стала в перемену громко спрашивать: «Девчонки! А кто у нас в эти дни дежурит, что-то не слышно никаких историй!»

И вдруг узнаю, что никто после нас не дежурил, что Силантия Михайловича послали в район на курсы.

— Ну и врете! — презрительно, как ее сестра, скривив пухлые губки, бросила Верка. — Курсы у них бывают только в каникулы.

Видно, Верка что-то знает про военрука.

— Вер, а знаешь, так чё не скажешь? — миролюбиво попросила Тоня.

— Ничего не знаю! Знаю только по нашей Анастасии: их, учи-

телей, по каникулам всегда собирают. Вот и все. Ну ладно, поглядим. У нас воендело завтра? Завтра и узнаем: либо будет, либо объяснят, что и как.

Я даже про Лешку позабыла думать. Подтолкнула локтем Зульфию, переглянулись мы с ней: не из-за нас ли, мол, сняли дежурство... Не из-за нас ли военрука в район вызвали...

Но в пятницу пришел на свой урок Силантий Михайлович как ни в чем не бывало. Принес настоящую винтовку, и тут уж было не до разговора, не до наблюдений за его настроением. (Он за винтовками, мелкокалиберками, и ездил в район. Привез три штуки.)

Мы разбирали и собирали затвор. Все очень просто. У меня сразу получилось. Не то что с гранатами.

Но в самом конце урока Силантий Михайлович, глядя не на класс, а куда-то в сторону, в окно, сказал, как бы случайно, ни к тому ни к сему:

— Я думал, вы, ребята и девочки, серьезные, самостоятельные. Ну, с пониманием. Уж раз военное дело вам доверяют... А мне говорят: они еще дети... Н-да-а... Хочешь-то как лучше...

У военрука на шее жалостно так ходил острый кадык: вверх-вниз...

Ворот шинели казался грубым, жестким. Он походил сейчас на обиженного взрослыми мальчишку, не знающего, в чем его вина. Даже губы его искривились и чуть дрожали. Мне-то с первой парты хорошо видно...

Наверное, ребята ничего не поняли. А мне хотелось под парту нырнуть от стыда: как человека подвели! И еще радовалась только что: мол, ага, военруку тоже попало за дежурство! Не одни мы виноваты!

Когда же она кончится, эта казнь! Думаешь: ну, все! И опять кто-то страдает из-за нас...

И ничего не скажешь Силантию Михайловичу, а жалко его и себя тоже — нестерпимо.

А военрук вздохнул и сказал:

— Ну да ладно... Видно, и впрямь век учись... — И стал собираться: закрыл журнал, взял ручку, затвор, который услужливо подала ему Зульфия, вложил в винтовку, — и как раз звонок...

— Дежурства отменяются, — сказал военрук, — поскольку вы, бойцы, оказались дети...

Конечно, все стали смеяться и выкрикивать:
— Дети! Ой, детка! Дедка-дедушка!

Но с Силантием хоть все объяснилось. И он выговорил тем, кто понимает. И мы поняли. И дежурства отменили. С Силантием обошлось.

А Никонов с каждым днем становился все задумчивее и грустнее. Это было удивительно. Так на него не похоже. Казалось, он заболел. Он не звал больше никого на свою карусель. И однажды мы увидели, что колеса перед домом Никоновых больше нет.

Мною владело какое-то странное, очень сложное чувство. Было и удовлетворение: так, так, голубчик! Не бегаешь больше в седьмой класс! Не пачкаешь мои учебники! Была жалость к нему: наверное же для Никонова быть печальным нелегко; плохо, наверное, ему. И был еще какой-то тайный, ликующий страх, что же это такое происходит с тобой, Лешка? Значит, правда? И это я? Потому что каким-то образом я знала, что печаль и грусть Никонова из-за меня. Хоть и не понимала, почему бы ему со мной не разговаривать.

Отсюда при всем моем ликовании и страх: страшно, когда человек так меняется из-за тебя; будто вина на тебе, будто должна ты ему непомерный долг. Меня эта собственная моя виноватость возмущала: с какой же стати — должна? Что я, просила его меняться? Вспомнила, однако, что хоть не просила, но хотела видеть его другим — грустным и влюбленным... Коленопреклоненный шляхтич... При шпаге и в камзоле... Да ведь он-то не знал, чего я хотела! Мало ли кто что себе представляет!

Выходило, что и не «бегал» Лешка за мной и грустил, — по-моему выходило! И должна была я испытывать то самое главное счастье — одержанной победы, а не испытывала я его.

КОНЦЕРТ

Очень все ждали поездки на смотр: десять километров до совхоза и еще двенадцать до райцентра! В тулупах, на санях. Со снаряжением для сцены и едой для себя.

Я по-особому ждала. Дорога длинная, общий вечер, концерт. Думала: увидит Леша, что я не обижаюсь на него, просто к нему отношусь, и подружиться снова, как было — правда, совсем недолго —



до Вальки Ибряевой, до дежурств. Когда они с Костей Карповым карусель сделали.

В дороге будет весело, думала я. И там, в райцентре. А вышло — сплошная печаль. Кажется, девчонки веселились. Но не я. И не Лешка.

Смотр был в воскресенье. Мы, совхозные, как всегда, в субботу уезжали домой и должны были утром в воскресенье встретить пеньковских, напоить, накормить и ехать с ними дальше, но на своей подводе. Так договорились. И решили: мальчишки пойдут обедать к Степке Садову, а мы разберем девчат.

Когда утром прибыли пеньковцы — их уже ждали возле конторы, — Лешка, кажется, даже и не глянул в нашу сторону. Он, конечно, был за кучера и сразу принялся обихаживать лошадь — повел ее на конный; говорят, Степка потом прибежал за Лешкой туда, и Лешка даже не хотел идти к Садовым, сидел в дежурке с конюхами и ел свои лепешки, запивая кипятком.

И в дороге держался взрослым мужиком: соскакивал при раскатах с саней, удерживал их, чтоб не больно лошадь мотали, всю дорогу

был, как говорится, на легкой ноге. Девчата, да и мальчишки — Домоседовы, Карпэй, — под тулупами, а Лешка так и проскакал двенадцать километров в своем бушлатике «на вырост», оголявшем его тонкую шею.

Мы следовали своим экипажем — ехали впереди, и к нам в сани пересела только Мария Степановна.

В райцентре Никонов не стал веселее. Он по-прежнему всем помогал, устраивал все, прилаживал, заранее, до концерта, внес в класс, который нам отвели под ночевку в средней школе, сена, чтоб согрелось, разложил тулупы и полушубки. Так что Мария Степановна удивленно заметила:

— Ну, Никонов, ты прямо как отец родной!

— Ну, так... — только и ответил «отец», пожав узкими плечами: мол, и так ясно, чего говорить.

А в Доме культуры стал он и вовсе каким-то рассеянным.

После своего выступления стоял в стороне, не шутил, не смеялся, издали на все смотрел. И ладно еще, никому из девчонок не оказывал особого внимания. А ведь с нами ездила и Валя Ибряева, она исполняла татарский танец с ведрами: будто шла по воду к ключу. И хороша была — не оторвешь глаз! Ее на «бис» вызывали, хлопали долго. А Лешка не оживлялся и при ней.

А концерт как удался! Пеньковская семилетняя школа, то есть мы, заняла второе место по району «за содержательность программы и красочность оформления». Это, конечно, наш «Красный сарафан» — красочность. Хор в настоящих старинных нарядах, невеста с прялкой и куделью. Нина-то научилась прясть! А когда мы «Васю-Василька» грянули — особенно Домоседовы рывкали, натренированные Тоней Ангровой по дороге в свои Камышлы, — так весь зал зашевелился, заходил, тоже, наверное, петать захотелось. По себе знаю: когда на сцене весело поют или пляшут, у меня сердце заходится и все жилочки-поджилочки дрожат — так самой хочется заплясать. А вот на сцене плясать ни за что бы не согласилась: очень страшно. Вообще страшно на сцене, даже и не плясать: зал в темноте как пропасть. Лица смутно белеются, чувствуешь: только глянь в чье-нибудь лицо — и пропадешь, онемеешь. Но оттого, что больше все-таки забота — как бы не забыть свои слова, — отвлекаешься от страшного зала. Когда читал про Боева, поначалу во рту у меня застряли первые слова.

Все же, когда вышла читать про Боева, поначалу во рту у меня стало сухо — язык не ворочался. Тихо-тихо получились первые слова.

Зато и в зале затихло. И я осмелела. И досказала уже в полный голос. Мне тоже хлопали, но не так, как Вале.

В школе, где мы ночевали, свету не было. И сторож нам не дал даже своей коптилки. «Еще,— сказал,— пожар сделаете». Хорошо, что Никонов все устроил заранее. Мы пришли, уселись на сено, прикрытое тулупами, другими — накрылись: холодно в классе! Не на дежурстве у себя, печку не накалишь. Ощупью достали припасы — лепешки картофельные, бутылки с молоком,— и был пир на весь мир. А потом улеглись: по левую руку Марии Степановны девчонки, по правую — мальчишки, и тихонько пели песни. И Мария Степановна сказала, что если б мы так пели на сцене, первое место в смотре было б наше.

Устроились мы у стены против окон. И заиндевелившие доверху окна казались во тьме странными картинами — они слабо и неподвижно светились, еле-еле угадывался рисунок мороза: просто как жидкие водяные знаки на листе старинной почтовой бумаги. Видела такую однажды у моей городской тети. Больше не на что было смотреть во тьме пустой комнаты. Наверное, все, кто еще не закрыл глаза, разглядывали таинственные знаки на окнах. Может быть, они что-то означают? Говорят о том, что будет с нами? Например, про меня и Никонова... Как хорошо, что никто не прочтет их. И не может услышать мои мысли. Хорошо, что Лешка здесь, недалеко, хоть и не хочет говорить со мной. Вот бы прочитать его мысли. Если они есть, усмехнулась я. Как-то все же спокойней, что он здесь. И Мария Степановна. А между тем я пела вместе со всеми:

Ничто в по-о-о-олю-шке
Не ко-лы-ы-ы-шется...
Только гру-у-устный напев
Где-то слы-ы-шится...

Пахло в зимнем холодном чужом классе сеном. Летним лугом. Не так, конечно, яро, как пахнет только что подсохшая трава. Но все равно внятно, чисто. Сено-то вот, под самым носом. Странно: запах лета и зимние таинственные окна... А песня про пастушка оказалась колыбельной. Кажется, мы ее и не допели.

Когда ехали назад, Лешка даже не сел в наши сани, хотя девчата звали его: «Эй, Никонов, иди к нам кучером!» И кидали в него снегом. Он как-то вяло отмахивался.

* * *

Ужасно длинная эта третья четверть! Тянется, тянется... Особенно нынче. Такое было ощущение: чем скорее придет весна, тем скорее наступит наша победа и войне — конец.

К каждому воскресенью, к моему приходу домой, накапливалась целая груда газет. В каждом номере сводка о продвижении наших войск. К Берлину! К победе! Я садилась за газеты с предвкушением увлекательной игры: старалась расшифровать для себя названия немецких городов и населенных пунктов, которые оставались за нашими армиями. По-немецки названия звучнее, длиннее, а переведешь, и получается, что какой-нибудь Шперлингсдорф — обыкновенная Воробьиная деревня. А уж если сказать совсем по-русски, так просто Воробьево. Ну, может, Воробьино или Воробьино. Я еще мало знала немецких слов, а в словаре искать было трудно, потому что ведь в газетах написано русскими буквами, и приходилось искать все варианты немецкого написания звука «ш», например, или «ай». Но когда находила, ужасно радовалась.

Однажды разгадывала слово «Шарфендорф». Вовсе не Шарфово! Оказалось, «шарф» — по-немецки «острый, резкий». Что же? Значит, «Острая деревня»? Просто «Острое»? Но потом увидела в словаре новое слово «шарфенрихтер» — то есть «палач»! Ого, вот так деревня: деревня палачей! Палачевка, Палачево! Очень подходящее для фашистов название! Просто находка! Я поиграла немного с этим словом — все же понимала, что если б впрямь про палача, то было бы «Шарфенрихтерсдорф». Поискала слово «рихтер». В словаре был лишь глагол «рихтен» — «направлять». Все равно интересно! У них, у немцев, «палач» — значит, тот, кто направляет острие. Не слово, а целое описание. А у нас «палач» откуда? Непонятно! Не видно. Может, от слова «падать»? Голова пала с плеч... Может, отсюда?

Задумывалась я над этими газетами: таким далеким-далеким казалось теперь то время, когда в сводках поминались одни-то русские, родные деревни и города. Далеким и будто бы темным...

Недаром больше всего я люблю весну!

ПРЕВРАЩЕНИЯ

У нас весенние каникулы приурочивают к половодью. Но не всегда весна укладывается в наши каникулы. Так было и на этот раз. Взялось таять куда как споро. Дороги стали проваливаться. Мы, когда шли в совхоз уже на каникулы, только и глядели, как бы ноги не окунуть. Хорошо хоть, к вечеру ближе морозец помогал, дорогу поддерживал.

Опасны дороги, коварна подснежная вода в эту пору, но нет для меня времени радостней, чем это! Правда, радоваться я начинаю гораздо раньше. Пожалуй, где-то в январе. Когда солнце заметно поворачивает на лето, хоть зима на мороз. Тогда, если в солнечный день попадешь в лес, уже увидишь веселый взгляд весны! Это под ее взглядом растаяли блеклые, зимние краски, ее безразличный, холодный, ровняющий налет на всем, что имеет свой цвет. Да, прежде всего в природе, еще в зимней, оживает цвет. И ты видишь, как темным багрянцем налились молодые побеги на липах, а осины посветлели, стали нежного желтовато-зеленого, как грудка синицы, цвета. Не говорю уж о зелени елок и сосенок: сверкают на солнце драгоценным зеленым бутылочным стеклом! То темным, то более светлым. А кроме того, ты видишь, как напрягаются, потягиваются, пробуждаясь, деревья. И от этого живой шумок идет по лесу. Вон, согнутая снежным грузом в дугу, распрямилась молодая липка. Тяжесть почувствовала и встряхнулась. А зимой бесчувственно терпела. Встряхнулась, хрустнула суставчиками, и прошумел, пролился сухой пока еще снег. Вы думаете, это оттого, что солнце его притопило, оттого он соскользнул со своего зимнего места на развилке липовых веток? Конечно, солнце и его задело. Но главным-то образом солнце саму липку разбудило, вот что!

А птицы что делают! Дятел в конце января такую дает барабанную дробь, как на параде! Он не так постукивает, как летом, когда просто корм добывает, нет, он играет на каком-то облюбованном им стволе, как яростный барабанщик весны.

А воздух тоже потерял бесцветие: снегом стал пахнуть. Снегом пахнет с осени, пока он только собирается лечь, и вот к весне, когда он задумывается: не пора ли? Пресный, свежий запах, чуть аромат подснежника напоминает. Воздух холодный, еще морозный, а солнце уже достает до твоего лица! Оглянешься на своих и видишь на лицах

этот весенний, горячий румянец. Он гораздо нежнее зимнего. Такие все идут красивые — и девчонки, и мальчишки! Даже смуглое лицо Садова и то посветлело.

Так бывает уже в январе. Потом, конечно, и морозы пройдут, и снегопады грянут, и бури февральские, и злые поземки поцарствуют, но все это уже вперемешку вот с такими днями, и чем дальше, тем они смелее, тем звонче!

А уж сейчас, в начале апреля, — тут что и говорить! Тут весна уже не вкрадчивая, а грозная. Накопила воды под снегами — того и гляди, хлынут по всем низинам и оврагам, пойдут победным валом. Накопила соку в древесных стволах и ветках — напружились ветки, как взведенные луки, — того и гляди, брызнут зелеными наконечниками пока зачехленные почки.

Накопила нежности в воздухе и в ветре: когда еще бывает таким ласковым прикосновение его к разгоряченному ходьбой лицу? Таким бархатным, насыщающим кожу и влагой, и свежестью, и теплом — не явным, летним, а как бы скрытым, обещающим. И никогда больше ветер не бывает таким широким, и радостным, и сильным. Сильным не порывом, не скоростью, а массой, плотностью своей; он заполняет весь мир: от горизонта до леса, от неба в сырых шальных серо-белых облаках до тускло-белого снега.

Вот в такой день пошли мы на каникулы. И думали, что возвращаться в Пеньки будем уже по первой грязи, по бесснежью. А не вышло по-нашему. Заморозило. Приостановило что-то весну. И хотя воды, видимо, тихонько сходили под снегом, сочились, но по-настоящему развезло уже на следующей неделе.

* * *

В понедельник утром мы еле добрались. В Курином овраге лошадь провалилась по грудь и еле выдралась из снежно-водяной каши. Она болезненно-натужно вытягивала шею, всем телом наваливаясь на хомут, в глазах ее, темных, страдальческих, застыла напряженная сосредоточенность, обращенная внутрь, в себя: вытяну ли? Не сорвусь ли? А подойти к саням, помочь — нам в лаптях и калошах — не было никакой возможности. Мы обегали далеко стороной, по более высокому месту, по полю. Хорошо, что снежно-водяная каша в овраге была поутру довольно густой — сани не провалились. Но наш возчик

Вася Мазин, или Вася-Мазя (два года назад он кончил ту же Пенсковскую семилетку), начерпал полные сапоги, пока переводил лошадь через овражек. И когда сани выехали на взгорок, мы принялись доставать сухие носки, переобувать Васю. Хорошо, этот Куриный овраг был последним препятствием — Васе-Мазе не надо было больше вылезать из саней, и мокрые сапоги он не обул. Ехал в трех носках. «Тепло, — говорил. — Даже, — говорил, — горят ноги».

Мы, конечно, опоздали на первый урок. Но в этот раз нас не ругали. Понимали же — половодье.

Когда я вошла в класс, что-то меня как бы ослепило. Я глянула еще раз на мальчишечью «камчатку»: да, Никонов стал неузнаваемо прекрасен. На нем было надето что-то снежно-белое. И белобрысые волосы то ли подстрижены, то ли причесаны. Лицо показалось мне печально-вдохновенным. Что-то случилось! Как жалко, что я смогла лишь коротко глянуть на него. Не успела рассмотреть. С нетерпением ждала я перемены.

А на перемене все заговорили, кто что на каникулах делал. Оказалось, что многие ходили в гости к родне, в соседние деревни. Главным образом, по случаю возвращения фронтовиков. Уже стали они возвращаться. Правда, отцы у наших еще ни у кого не вернулись. Даже на побывку. А вот у Душки пришел дядя — старший брат отца. Он уже пожилой и больной, вот его пораньше отпустили. Еще до победы.

У Домоседова Николаевича тоже кто-то вернулся из родни. У Нины Ивановой, кажется, племянник ее бабушки. Кто уж он ей, трудно сказать. У них она и гостила все каникулы.

Вот так все говорили, рассказывали, чем угощали, про Германию рассказывали, что слышали от родственников. Оказывается, немцы под перинами спят! Мы удивлялись: жарко ведь, наверное. Говорят, у них, у немцев, везде порядок, даже, говорят, навоз на особом месте складывают пластами ровными и аккуратно с боков ровняют.

Странно было слышать и представлять себе, что эти фашисты вроде бы как и все остальные люди — и спали в нормальных домах, и хозяйством занимались, скотину обихаживали. Конечно, и раньше никто не мог думать, что они только маршируют там у себя в Германии да кричат «Хайль Гитлер!», бегают с автоматами и стреляют и мучают своих антифашистов и наших пленных. Но вот в голову не приходило подумать об их просто людской жизни.

А теперь фронтовики своими увидели глазами. И нам приходится думать: как же могли вроде бы обычные люди, которые и спят, пусть хоть и под перинами, и убираются на своих дворах, делать то, что они сделали с комсомольцами из города Краснодона? С усадьбой Александра Сергеевича Пушкина? С его могилой? С нашими пленными?

Сейчас, когда мне пришлось думать об этом, и перины, и аккуратный навоз представились мне как раз тем отличием, отвратительной приметой, которая выдает именно немцев-фашистов. Наверное, их Эрнст Тельман или Роза Люксембург, да и Генрих Гейне не спали под перинами. Это пристало лишь толстым, розовым, потным эсэсовцам и гестаповцам.

— Значит,— сказала я ребятам,— ваши родственники видели самых что ни на есть фашистов. Их под перинами-то и высиживали, как в инкубаторе.

Ребята расхохотались, представив, наверное, как из-под перин вылупляются фашистики. Да, теперь уже смешно!

— Точно, Дашка! — одобрил важно Николаевич. — Наш дядя Матвей сказывал, там на ферме у немцев они застали наших русских работников. Ну, угнанных с нашей земли. И бабы, и мужики. И все увечные. И все заморенные, как скелеты.

— А чё они рассказывали, а? — спросил кто-то.

— Да ведь больно-то с ними некогда было беседовать. Освободили — и дальше. Совсем, говорит, спешно двигались, — солидно, будто он сам и есть дядя Матвей, освободивший пленников, пояснил Николаевич.

— А я,— сказал Карпэй,— все ходил к дяде Антону — знаете, на тот конец Пеньков, как в Камышлы-то идти,— у них сын Володька пришел раненный. Аккордеон привез. Такая гармония — кра-а-сива-а! — а вместо ладов — клавиши, как на пианине! Во музыка! Я пробовал. — Карпэй счастливо зажмурился.

Тут прозвенел звонок, все задвигались, зашумели, усаживаясь, и в этом легком шуме, перед тишиной урока, вдруг высказался Лешка.

— А я все думал, думал... — сказал он с непривычной серьезностью, — сяду на подоконник и думаю, думаю...

— Напрасны, паря, ваши думы, — небрежно откликнулся Степка Садов, — ничё не выйдет, брат.

В класс вошла Анастасия Ивановна.

Слова Никонова будто ураганом вымели из моей головы все остальные мысли, всяких немцев вместе с их перинами. Стало чисто и пустынно, даже сердце притаилось; знало сердце про себя: это Лешка про меня... И обдало меня волной нежности и радости...

Вслух. И при всех. Господи, на подоконнике... Конечно, никому и в голову не придет догадаться, про что думал Никонов. Только, кажется, Степка понимает.

Откуда я знала, что Лешка думал про меня? Знала, и все. А вот что про меня... Как... Этого я не знала. Может, это он на подоконнике и надумал надеть белый свитер и причесать волосы чуть набок. С осени Лешка был стрижен наголо, к весне отрос ежик, а теперь он его набок положил. Примачивал, наверное, водой.

На перемене я сидела, прислонясь спиной к стенке, так что «камчатку» видела хорошо и нагладелась на нового Лешку. Белый свитер, подпиравший узкий Лешкин подбородок, напоминал брыжи, придавая Никонову при его горбоносом лице сходство с каким-то старинным испанцем; карие удлинённые глаза казались ярче и больше. Здорово шел ему свитер! Ладной стала и вся тонкая, подвижная фигура Лешки. Когда, оставаясь сидеть на месте, верхом на парте, он поворачивался резко к Карпёю, разворачиваясь к нему всем корпусом, плечами,— будто узкая полоска белой бумаги, срез газетного края, перекручивалась.

У нас в классе, да, наверное, во всей школе, не было заведено обращать внимание на одежду. Без уговору считалось неприличным выяснять, откуда обновка; просто высказываться по поводу: идет, не идет; даже смотреть, давая понять, что заметил на ком-то новое. Будто так всегда и было. И ничего особенного. Поэтому еще я разглядывала Никонова исподволь, понемножку, чтобы никому не было заметно.

А после звонка, отвернувшись к окну, я больше и не оборачивалась. Но почему-то Анастасии Ивановне не понравилось, как я сижу. И она сказала самым добродушным голосом, какой когда-либо от нее слышали:

— Что так пристально смотришь туда, Плетнева? Вроде и Никонова там не видать... На месте он.

Я окаменела... И медленно, недоумевая, повернулась лицом к учительнице: невзначай? Нарочно? По мне видно? По Лешке? Зачем она так? За что? Почему догадалась? Увидела из дверей, что я сидела

лицом к «камчатке»?.. И сразу... Значит, я так веду себя, что заметно... А что заметно? Что? И при всех... Все же слышат... Как будто котенка за шкурку двумя пальцами, брезгливо, подняла меня Анастасия перед всем классом и поворачивала из стороны в сторону... Вот сейчас грянет хохот всех, и я умру... Так чувствовала я себя. И как у поднятого за шкурку котенка поджимаются лапки и хвост, так у меня поджались пальцы ног, до боли поджался, втянулся живот... Надо что-то сказать, надо уничтожить слова Анастасии... А в классе уже кто-то хихикнул, а в классе что-то задвигалось... Но одновременно с этим ехидным шумком раздался по-прежнему настырный, резкий и в то же время с этакой небрежной ленцой голос Лешки:

— Уж вам бы все Никонова казнить, Анастасия Ивановна! Чай, все пятый класс забыть не можете! Что ж Никонов — не человек, в мороз под окошками скакать!

«В мороз под окошками скакать» почему-то всем показалось очень смешным. И класс захохотал! Но уже обернувшись к Лешке... Взял Никонов огонь на себя. И мне подсказал: «Не в тебе, мол, дело, меня она поддевает». А она и правда поясняет, что да, его, Лешку, и говорит, нарушая весь наш этикет:

— Ты у нас такой сегодня красивый и нарядный, что не грех на тебя и засмотреться!

И опять все заозирались на Лешку. Он стал оправдываться:

— Прямо! Мамка надоела: надевай да надевай! Скоро, грит, малой станет, так и пролежит.

— Ладно, ладно! Надел — и молодец! — похвалила Анастасия. — И нам приятно.

Но что бы она теперь ни говорила, ее было уже не спасти. Будто в черную пропасть канула Анастасия Ивановна. Ни ее красота, ни ее высшая справедливость, которую я с трудом поняла в свое время, не могли больше ее защитить. Отрезало. А сзади нам с Зульфией зашептала Верка Матвеева:

— Врет Леха, что мамка надоела! Только на днях в сельпо на шерсть тетка Настя (Лешкина мать) выменяла. Завезли туда кой-что... С нашей Анастасией они там и были. Наша-то и присоветовала для Лешки... Мать ему рубаху хотела...

— Матвеева! — ледяным голосом оборвала Веркин шепот учительница.



Нет, видно, так просто с Анастасией было не разделаться. Не желала она лететь в черную пропасть. Наверное, гордится, что Лешке свитер идет, что она его выбрала, — вот и не удержалась... Похвалилась...

Ладно. Класс ничего не заметил. Но Никонов... Неужели догадался?

* * *

— Эй, совхоз! Вы же в воскресенье вечером обещались приехать... Мы остановились, переглянулись. Я не хотела с ним говорить, да еще здесь, возле школы. Но Зульфия ойкнула:

— Ой, правда... Даш, мы же правда собирались в воскресенье! Помнишь?

Я-то помнила. Да, такой был разговор. Но дома ведь каждую лишнюю минутку хочется побыть. И потом решили, что утренний мороз крепче, дорога легче.

Я глянула мельком на Лешку и отвернулась. Знала, что он хотел сказать, но промолчала. И тут догадалась Зульфия:

— Ты нас встречал?!

— Ну. Сказано же было.

Да, было сказано: «Эй, совхоз, если в воскресенье вечером приедете, встречать буду! Верховом на коне!»

«При-е-дем!» — счастливый, что уезжает на каникулы, проорал «совхоз» из саней.

Только кто же всерьез про это думал?! Обычно: Лешка крикнул для веселья и радости и в насмешку над нашими понедельничными опозданиями. И мы тоже для веселья откликнулись, для доброго ответа-привета.

— Я старался коня заработать. Два дня воду на ферме возил, чтобы на вечер коника дали под седло. Доехал до леса. Нету вас. Тогда до двух берез добрался — там выше, подальше видно, — к совхозу. Нету вас. Ну, вернулся.

Мы стояли на школьном дворе, прямо на дороге; нас обходили и обегали ребята, уроки кончились. Стояли на виду у всех и глядели мимо друг друга. А Зульфия была рядом со мной и разговаривала с Лешкой.

Я смотрела мимо Никонова, но все-таки видела его лицо и то, что он на меня не смотрит, но и не на Зульфию, а куда-то за меня, на крыльцо школы, вроде ждет кого. И видела белый высокий ошейник свитера над выдавшим виды красноармейским бушлатом с широким, не по Лешкиной шее, воротом, свисшими плечами и с подвернутыми, чуть не на полдлины, рукавами. Походило, что Лешка, как змей, выпрастывается из старой, заношенной, цвета хаки, кожи — она уже отстала от него, уже показались сверкающие, новенькие голова и шея...

«Вот, если б поехали вечером, — думала я тупо и с ощущением какой-то непоправимой потери, — увидела б под моими березами всадника на коне. И это был Лешка... А теперь не увижу никогда под моими березами всадника на коне...»

Но все равно я была и счастлива. И каким-то непонятным образом унижение и стыд, пережитые на уроке, испарились, исчезли оттого, что Лешка стоял здесь и говорил, как встречал нас. Оттого, что он остановил нас здесь, у школы. Оттого, что у него новое лицо.

А Зульфия спрашивала:

— Тебе и седло дали?

— Ага...

— С седлом хорошо! На стремянах пружинишь, да ведь?

— Конечно...

— Даша,— повернулась ко мне Зульфия,— помнишь, мы с тобой тот раз в одном седле ехали?

Я кивнула молча. И Зульфия еще больше оживилась:

— Ага! По очереди: одна в седле, другая впереди, бочком. В седле-то здорово!

— Ну? — удивился Лешка.— Двое? Тогда лучше б без седла!

— Да-а! Десять-то километров! Все-таки по очереди в стремянах... Полдороги...

— Я думал — встречу...

Зульфия замолчала. Я была счастлива. Мы шли уже по улице в шуме и гаме солнечного, вовсю весеннего дня.

Лешка говорил это «встречу» как-то неоконченно. Словно бы что-то еще хотел сказать, но не говорил. Словно должно было что-то произойти от этой встречи. А что могло произойти? Встретились бы, поорали радостно: «Эгей! Огой! Совхоз! Пеньки!» — и поехали бы себе. И все равно я была счастлива. Наверное, он думал: встречу, и тогда все увидят, каков Никонов верхом на коне, да еще в седле... Но разве узнаешь, о чем он думал или хотел сказать на самом-то деле. А спросить — невозможно. И от этого жалость к Лешке! Еще оттого жалость, что я ни слова ему не сказала. Мы шли уже по нашему проулку.

— Леш, погоди у двора. Я тебе книжку вынесу. Интересная! Почитаешь.

Побежала бегом, принесла ему «Трех мушкетеров». Я боялась глядеть на него прямо, боялась, что он увидит счастье в моих глазах.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Никак не ожидала, что соберусь домой на этой неделе, тем более, половодье несло во всю силу. Мы договорились дома, что день моего рождения перенесем на воскресенье. Не день, а празднование. Но я была подавлена открытием своего счастья — его силой и слабостью своей: я его еле сдерживала! Еще и Степка... Он явно что-то понимал! И Анастасия. Ужас сжимал меня при мысли, что так и сам Лешка может догадаться. Ужас был сродни тому, какой я испытывала

в раннем детстве перед фотографированием. Мне объясняли, что меня только снимут на карточку, что я сама никуда не денусь, но буду видеть, какая я, на фотографии. Что всех фотографируют и никто же не боится! И ничего же плохого не случается! И я верила взрослым, верила, что они меня не обманывают. Просто они не знают того, что знаю я: если меня снимут на карточку — вот именно снимут на карточку! — сама я или исчезну, или стану кем-то другим. С ними со всеми ничего не случается, их можно снимать, а меня — нельзя. Помню, я однажды весь день просидела спрятавшись внутри деревянной горки для катанья, потому что в детсад пришел фотограф. Вылезла, когда группу вывели на участок гулять, и я услышала из разговоров детей, что «дядя фотограф» ушел. Помню, как меня ужасно ругала воспитательница, кричала, что я ее убиваю... Она думала, я потерялась или одна ушла домой.

Сейчас было почти то же самое: узнай Лешка, что я чувствую к нему, — и я буду уже не я. Умом понимала: так не может быть! Никуда же я не денусь, ничего не случится, — но этот страх был сильнее моего понимания. Изменяюсь. Изменяю себе. Своей клятве, подкрепленной «Вадимом».

Но почему я изменяюсь?! Ведь первым изменился сам Никонов. Он теперь не тот, против которого я давала клятву! И опять выходило, что все же он заставлял меня изменяться!

Мне было так трудно, так смутно, так хотелось убежать, спрятаться от этих сомнений, от преступного счастья чувствовать печальный взгляд длинных Лешкиных глаз, от стремления хоть на минутку, хоть из окна еще раз увидеть его после уроков и от презрения к себе за это; мне так хотелось хоть на время почувствовать себя прежней и свободной, что день рождения пришелся очень кстати.

Меня ждали в субботу. Но я приду сегодня, в среду, а утром уйду. Четырнадцать лет бывает один раз в жизни. Четырнадцать — это огромная цифра. Позади длинная жизнь. Еще два года — и мне дадут паспорт. То есть через два года я уже взрослый человек. Гражданин Советского Союза.

И как же можно в день четырнадцатилетия быть вдали от своих — от папы, мамы, бабуси и братика?!

Еще утром у меня не было таких мыслей, но, придя из школы вместе с Зульфией, представив, как еще долго сиять солнцу над двором и какое это будет пустое время, а идти мне до совхоза самое

большее два с половиной часа, — я до дрожи сердца ощутила нетерпение: скорей, скорей домой! Мне хотелось быть счастливой в свой день рождения!

— Зульфия, я уйду домой.

— ?

— Надо! Очень-очень! Это будет подарок маме в мой день рождения. Все было правдой. И это — тоже. Как все обрадуются! Тот самый подарок-счастье!

— А обратно? Пропустишь день?

— Ты что? Сейчас рано светает, успею к урокам.

И я побежала. До чего же длинное село Пеньки! Сколько бежишь до церкви, а еще и от церкви целая улица вниз до моста и еще столько же вверх и чуть влево. И из каждого двора может кто-то выскочить, кто-то знакомый, и закричать: «Даша! Далеко ли?» И надо отвечать: «Да вот, понадобилось!»

Наконец околица. Поле — пестрое, как корова-пеструха: черное с белыми неровными пятнами или наоборот: белое с черными, не поймешь, чего больше — снега или земли. И еще есть пятна — зеркально сверкающие и просто голубые озера воды.

У меня на ногах так называемые литые калоши. Цельнолитые: нет подметки в рубчик. Нет ранта. Нет теплой малиново-пушистой подкладки. Голая резина. Зато они глубже фабричных калош. Но скользкие до ужаса. И подвязаны к ноге бечевками, крест-накрест по подъему, чтоб в грязи не оставить. Я выбираю места посуше. Но везде вязко, сыро. Еле-еле доплелась до Глубокого оврага и пошла вдоль него, по дернистому краю. По дерну хорошо — не скользко, не грязно. Внизу по дну идет вода, шумит, но уже не грозно — спокойно, весело. Наконец могла я оглянуться, оторваться от лихорадочного рысканья глазами — где место понадежнее, куда ногу ставить.

О-о, как здорово кругом! Как хорошо наконец-то очутиться одной — только с полем, и лесом, и небом!

Вон жаворонки! Наверное, все время были, а я только заметила. И не видно их. Лишь песня прихотливо, как быстрый ручей, булькающий, звенящий, сверкающий, льется с неба на землю. Как хорошо, что я ушла! Только ради этих минут и то прекрасно!

Но уже пора мне покидать гостеприимный овражий борт — он уходит в сторону. И снова я маюсь на грязной, раскисшей дороге. Может, надо было лучше лесом идти? Там, наверное, лед еще не сошел

с дороги. Хоть подтверже. Но лесом не пошла. Только смотрела с опушки, как там: в лесу каждое дерево вроде на белом блюде стоит, в белом кольце снега. Это так говорится, конечно, в белом, раз о снеге. На самом деле снег вычернен разным мелким лесным оттаившим мусором: семенами, иголками, чешуйками коры. А между стволом и снежным кольцом вода стоит. Впрямь — блюдец. А муравьи еще не работают...

Докарабкавшись с кочки на кочку вдоль опушки, а потом полем до первой межи, по травянистой дернистой меже я побежала вихрем, прочь от дороги, к тому сенокосному лугу, которого мы так боялись зимой из-за волков. Он шел к совхозу почти параллельно дороге, лишь в порядочном отдалении, за полем. Но я неслась межой как ветер! И была вознаграждена. И идти хорошо вдоль оврага, и красиво! Ложок-то пологий, вода близко, кусты в ней по пояс, кое-где ледяные забереги, мыски, пещерки, подмытые водой, — такой звон, дрожание теней, на бугристой, бурунчатой воде солнечные блики, плеск, хруст ломающихся ледовых бережков... Я бежала навстречу воде, и солнце светило мне навстречу, в глазах прыгали красные блики, я полуослепла от света и блеска и перестала ощущать себя отдельно от всего этого переливчатого, перезвончатого мира, свежего, жаркого, прохладного, веющего и плещущего! Не было больше ничего! Только это!

Ой-ля! Ой-ля-ля!

Струек пенье, лепетанье,
Зайцев солнечных скаканье,
Колыханье, расплетанье,
Распаденье, восстаиванье,
Дребезжанье, замиранье
И опять, опять скаканье!

Дальше слов не хватило, и я заорала:

Все четыре колеса-а-а-а!
Все четыре! Все четыре!
Все че-ты-ре ко-ле-е-е-с-а-а-аа!
Все четыре колеса-а-а-а-а!

Так я выпевала и выкрикивала вместе с водой и всеми остальными, кто не молчал в этот весенний день.

Никто не слышит нас!
Никто не видит нас!

Лишь солнце — желтый глаз!
Лишь солнца светлый глаз!
А солнце ведь за нас!
А солнце лишь за нас!
И мы всегда за солнце!
За солнечное солнце!
За жарящее солнце!
За тающее солнце!
За солнце из оконца!
А-а-а! Ааа! А-а-а-а!

Веселый ложок вывел меня прямо к тем лесным нешироким кулилкам вдоль дороги, из-за которых прошлой зимой вышли нам наперерез волки.

Не забыть это место! Но сейчас все страхи растоплены весенним солнцем. Кажется, что и теней не осталось...

Дома, как обычно, была одна бабуся. Пока я, ослепшая после солнца, в темной, безоконной кухне нашаривала дверь в комнаты, бабушка тревожно окликнула:

— Кто это там?

— А вот кто! — ввалилась я через порожек.

— Господи! — Бабушка вскочила из-за стола — чего-то там шла — и ко мне: — Дашутка! Вот так сюрприз!

Мы обнялись с ней. И я замерла, оттаивая душой. Или сердцем? Чем-то, что называют то так, то эдак. Мне кажется, что душа, что сердце — это все равно.

— Ну, с днем рождения тебя! С че-тыр-над-ца-ти-ле-ти-ем! — протянула бабушка длинно-предлинно.

И все было так, как я хотела, в этот день и вечер.

Мы сидели за столом вокруг лампы и самовара. Лампа светила, соединяя нас, а самовар пел и сипел и вдруг начинал урчать, как кот, поймавший мышь.

А когда он печально умолкал, папа или бабушка тонкой лучинкой прочищали его решетку, давая воздуху ход в трубу, остаток углей разогревался, и снова запевал самовар.

Я рассказывала, как здорово догадалась идти вдоль оврагов, и сколько воды кругом, и какие реки бегут даже и по малым ложкам. И папа вдруг заговорил о том, что жалко терять эту зря уходящую весной воду. Оказывается, у него есть план, он обдумывает его с тех пор, как приехали мы в эти безводные места. И если б не война,

наверное, уже кое-что сделали. Оказывается, он мечтал об искусственных озерах или прудах, где бы совхоз разводил замечательную рыбу — зеркального карпа. Но можно было бы и всякую другую: сазана, линя. Им нужна, конечно, проточная вода. Но можно бы сделать цепь прудов, где вода двигалась бы.

Папа сказал, что это и очень выгодное дело — рыба. Не говоря уж о пользе для земли, для нашей-то макушки — водораздельной высотки. Вот, оказывается, что! Мы по географии учили про водоразделы и не знали, что сами живем в таком месте. От нас на запад бегут воды к притокам реки Меши, а на юг — к притокам Вятки, а значит, и Камы.

— Папа, пап! А что нужно, чтобы были пруды?

— Проекты нужны, расчеты. Надо строить так, чтоб вода не уходила, а держалась. Машины нужны, строительные материалы... Для начала деньги, тут важно начать!

Я с восхищением смотрела на папу: он думал почти о том же, что и я! Но я считала, что голубые озера в наших местах можно строить лишь после того, как найдут у нас полезные руды или каменный уголь. Когда понаедет народ на шахты и рудники. А оказывается, можно и так, в совхозе, как он есть. Только, кроме свиней, будут у нас расти еще и зеркальные карпы!

— Папа, и рыбалка будет?

— Обязательно! Одни пруды будут промышленные, а другие — для купанья, для рыбалки.

— Мама, бабуся! Вот это да! — звала я повосхищаться вместе со мной. — Представляете — вместо оврагов голубые озера. И не надо нам будет уезжать к реке!

У нас до войны велись разговоры — переехать в другой совхоз, куда-нибудь к реке. Папа наш был родом с Камы и мечтал о реке, о рыбалке. Вот откуда его мечты!

— Я так и решил, Дашутка: зачем уезжать к реке, к воде? Давайте здесь устроим! Сюда приведем воду!

— Я буду рыбку ловить на лодке, — важно сообщил Толя. — Буду плавать все время на лодке.

— Конечно! И так будешь плавать, и на лодке! — смеялся папа.

— Ой, пока это будет, Толик уж вырастет! — вздохнула мама.

— Мам! Ну все равно же будет! (А бабуся пила чай из блюдечка и лукаво посмеивалась.) Пусть даже я уже выучусь и приеду сюда

пруды строить! Это, конечно, очень долго, но все равно! Надо, чтобы было, как папа придумал... Пап, а учат где-нибудь строить пруды и озера?

— Учат. Есть специалисты-гидростроители. В строительных институтах есть, видимо, отделения или факультеты.

— Вот опять теперь думай! Или в геологи, или в гидростроители!

Все засмеялись. А мама сказала, что мне еще следует подумать над профессией овцевода на горных пастбищах Тянь-Шаня.

— Горы должны тебя звать — ведь четырнадцать лет тому назад ты чуть-чуть не родилась там, в Киргизии.

— Я еще их не видела, гор. Но, наверное, когда увижу, сразу пойму, что они — мои. Тогда уж и думать буду.

Мама и папа были посланы в Киргизию из института раньше своего выпуска — нужно было организовывать овцеводческие совхозы в далекой горной Киргизии. Тогда там еще попадались басмаческие отряды. И мама очень боялась встретить басмачей, объезжая на коне горные пастбища. Однажды ехала она по ущелью и заметила впереди у тропы притаившихся за камнями людей в мохнатых папах. «Ну, — думает, — пропала: басмачи! — Однако решила попытаться проскочить: — Авось промахнутся! Да еще пока они сядут на коней...» (Где их кони, не успела подумать.) Нахлестала свою лошадку, понеслась мимо папах — и вдруг они со страшным шумом взмыли вверх! Это были птицы — огромные беркуты. Очень мне нравилась эта история про маму.

Там, в горах, и бабуся ездила верхом на коне. Была еще молодая. И я бы родилась в горах, в юрте, если б через год папу не призвали в армию. И мама побоялась остаться в незнакомом краю без него. И они с бабусей поехали родить меня на свою родину. Я думаю, правильно: человек должен родиться на своей родине. Хотя в горах Киргизии тоже бы хорошо. Но, может, я еще попаду туда.

Я пошла спать, наказав себя не будить. Хотела, как взрослая, сама проснуться в четыре часа утра, собраться и уйти. И, уже расстилая постель, вдруг вспомнила (наверное, из-за басмачей) наш разговор в классе о фашистах. «Вот посмеются, когда скажу, что я придумала о перинах!» — обрадовалась я, снова выскакивая в столовую.

Я быстро выпалила, про что слышала от ребят и что придумала сама. Но почему-то никто не смеялся. А даже наоборот, как-то отводили глаза друг от друга. Будто я что-то стыдное сказала.

— Поди сюда, дочка, — позвал меня папа и усадил рядом, обняв за плечи. — Вот ведь какая штука. Все эти перины — это вовсе не особая примета фашистов. Как и аккуратность. Это приметы национального немецкого быта. Понимаешь? Я думаю, что и Фридриха Энгельса укрывали периной. Может, и Карла Либкнехта. И абсолютно уверен, что каких-нибудь отвратительных эсэсовцев воспитывали поспартански и приучали спать в холодных казармах под тонким одеялом.

Ты, Дашутка, сейчас попала на самом примитивном чувстве и рассуждении. Но чем примитивней, тем и опасней. Как раз на такое сознание людей и рассчитывали фашисты, когда создавали и внедряли свою расовую теорию. В самом общем виде что это за «мудрая» теория? «Раз они (другие народы) не похожи на нас, арийцев, — значит, они плохие, и тем хуже для них. Мы будем их покорять и уничтожать».

Не правда ли, просто и наглядно? Негр черный? Это ужасно! Бей его! Славяне хоть и белокуры, но носами не вышли да и язык другой! Бей их! У евреев тоже носы подгуляли, волосы курчавятся — это не годится... Бей их, ариец!

А Дашутка вон перины разглядела и тут же решила: мы же не под перинами, а на перинах! «У-у, этого простить нельзя, это фашистский признак», — догадалась умная Дашутка.

Я уже давно все поняла, и мне было неловко за свою перинную теорию, и, чтоб скрыть свой стыд, я старалась смеяться, когда папа говорил, как славяне носами не вышли и что мы не под перинами, а на перинах, но папа, наверное, догадывался, что мне стыдно, и добавил, чтоб меня поддержать:

— Это хорошо, что ты смеешься. Сразу поняла. И правда же легко понять, что смешно ненавидеть народ за какие-то приметы его быта. А главная-то примета фашистов, чем бы они ни укрывались, — это ненависть к другим народам, презрение к ним. Удобно грабить под этим знаменем: удобно и простому солдату, и генералу. И не стыдно! Вроде бы не простые грабители, а с идеей: у нас расовое превосходство!

— Зато у нас — интернационал, — сказала я, — и справедливость! Все вместе против фашистов!

И подумала, что теперь мне предстоит все это объяснить ребятам. А то будут считать, как я раньше.

— Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел! Помните пословицу! Эта правда старинная, — напомнила нам мама.

И я даже подпрыгнула от восхищения: какой же замечательный антифашистский смысл, оказывается, в старой русской пословице! И сколько раз я ее слышала! А вот так она мне впервые открылась.

ЛЕСНЫЕ СКАЗКИ

Чудо, конечно, но проснулась я вовремя. Было начало пятого часа. Сумеречно. Чувствуя себя ответственной и взрослой, я тихо-тихо собралась, чтоб не будить никого. Мне с вечера припасли немного продуктов, две пары шерстяных носков и лапти, чтобы обуть их поверх литых калош: будет теплее и не скользко.

Ранним утром морозило сильно, мне посоветовали идти лесом: там еще лед держится на дороге, нет грязи.

Я напилась молока с хлебом и ушла. Правда, чуть-чуть было мне обидно, что никто и в самом деле не встал, не проводил меня.

Но на воздухе, как всегда, все неприятное мигом отлетело, я чувствовала только независимость, только легкость и немного гордость. Приду одна и не опоздаю на уроки.

Идти в лаптях было превосходно! Легко! Не скользишь ничуть. Шаг упругий, крепкий. Одним духом дошла до леса. И правда дорога твердая — такой спрессованный заледеневший снег, не скользкий, шершавый, как асфальт. Конечно, есть и рытвины, и бугры, и провалы от копыт, наполненные темной водой, — сейчас они задержнуты белым матовым ледком. Поружишь ледок палкой — вода под ним как табачный настой.

Торжественно в лесу. Важные деревья присматривают за мной с одобрением: ничего, мол, идет!

Возле деревьев всегда чувствуешь себя маленькой, но как бы под защитой — дружелюбие их чувствуешь. Поэтому не обидно быть маленькой. И не страшно.

В эту пору в лесу, как в комнате, где хозяева начали генеральную уборку, да на время ушли куда-то: все сорвано, брошено, замочено и недомыто-недостирано, и хлам весь на виду. Особенно сейчас, в серенькое утро. Только одно есть главное отличие — запах лесной весенней сырости: подснежниками пахнет, горькой осиновой корой,

сладким тающим снегом, водой, настоящей на палом листе,— даже теперь, под крепеньким утренником дышит этот нежный запах.

Хорошо, ходко шагалось. И вдруг на подходе к лосиной поляне меня остановило препятствие. Совсем незаметная в сухое время года низинка разлилась по лесу широким озером. Правда, его покрывал лед. Но что это за лед — чуть потолще газетного листа! Видно, что не глубоко, по колено, а то и меньше. Я палкой потыкала, убедилась. Были б сапоги — и вперед! Но где они, сапоги?!

Посмотрела я влево, вправо — везде, насколько было видно, деревья, ровненько подрезанные белым ледком, все в воде.

Если и есть обход, то далекий. Не хотелось идти, не зная наверняка, что есть. А напрямик — вон он тот берег! И тут вспомнила я Васю-Мазю. Как мы его переобували, выливали воду из сапог... Прекрасно! Мне выливать воду не придется, потому что ее и не будет. Я разулась, надев на голые ноги лишь одни шерстяные носки и, подхватив свои лаптишки-калошки, пошла вброд. На середине озерка ноги перестали что-либо ощущать... Раза два чуть не шлепнулась: дно-то обледенелое, а ноги бесчувственные. Хорошо хоть, палка в руках! Но все равно здорово так идти: ледок чистый, матовый, ломается под ногой неровно, выбрызгивает темная вода, а тебе хоть бы что! Но вот и берег. Все-таки здорово придумала! Теперь, растерев ноги шерстяным платком, натянув сухие чулки и носки и в сухое обувшись, я ощутила, как словно бы кипятки побежал струйками, струйками по сосудам к ступням, к кончикам пальцев...

Только голени оказались все исчерчены тонкими длинными порезами, видно, об лед, но они лишь чуть саднили, не болели.

Когда я уже кончала подвязывать лапти, надо мной вдруг раздался голос:

— Здравствуй, дочка!

От неожиданности я так и вскинулась:

— Ой!

Как лесной дух — я не слышала ни шагов, ни треска веток — возник возле меня этот дед, старый, сгорбленный, с длинной реденькой бородой и худым, смятым, морщинистым лицом. Глаза из-под сивых бровей — будто две мутные льдинки. И как льдинки мокрые, слезятся. А на мягком и каком-то мятом носу растет один седой и длинный волос.

— Не бойсь меня, дочка, я старый, — сказал он мне.

— Я не боюсь, дедушка! Здравствуйте! — поздоровалась наконец и я.

— А что ты, разумшись шла через воду?

— Ага! — сказала я, гордая своей придумкой.

— А почто? Аль обхода не нашла?

Я затрясла головой: мол, нет.

— А ить есть обход-от! Есть! Вот гляди, я счас пойду! Прощай!

И он пошел вдоль озера вправо, углубляясь в лес, переходя от дерева к дереву — возле корней всегда повыше и снег. Еще не пропав совсем за чащей, он остановился и прокричал мне слабым голосом:

— Дочка, там не испужайся, впереди лосей, мож быть, встретишь! Я встретил. Ничё, смирные...

И он махнул мне рукой. Побрел, старенький, сгорбленный, от дерева к дереву. Исчез. Шуму от него никакого не было.

В самом деле, дальше, уже за поляной, возле самой дороги я увидела их. Наверное, это были те самые телята, которых мы встретили зимой. Два молодых лося стояли у края дороги под старой дуплистой липой. Ах, какие же красавцы! Темно-шоколадная лоснистая шерсть спины незаметно переходит в светло-палевую и пушистую на брюхе. Ноги сухие, легкие, с длинными бабками. Огромные головы, еще совсем безрогие, круто повернуты назад, ко мне. И один брат положил свою голову на спину второму. Так ладно, дружно, красиво стояли и смотрели большими темными глазами прямо на меня, мне в лицо.

Одно дело, когда встречаешь зверей в лесу вместе с товарищами, в кучке; совсем другое, когда один на один. Нет, не страшно, а будто бы волшебное: вот-вот и заговорят лоси человеческим голосом. И чувство такое, что заговори они — и я ничуть не удивлюсь. Потому что сейчас в лесу сумеречно-светло без теней, молчаливо, таинственно — никто не слышит, никто ничего не видит. И старичок тот говорил... Тот старичок... Не сбавляя хода, шла я к лосям. И нехотя, подпустив меня совсем близко — шагов пять до них осталось, — не сказав ни слова, лоси, капризно тряхнув головами и подняв их высоко, медленно, с царственным достоинством удалились.

Опустел лес. Кончилась сказка...

Прикоснулась я ладонью к липе, возле которой стояли звери: теплой еще была кора, нагретая лосиным боком.

Спасибо тебе, лес, за сказку!

Пошла быстро, поглядывая по сторонам. Однако никто больше не показался. Хватит, мол, и того...

Все-таки, правда, самое малоинтересное место нашей дороги — это последние километры от леса до Пеньков. Голое какое-то, выпуклое. Идешь и для отвлечения столбы метишь — взглядом, конечно: вот дойду до того столба. И бежишь. А теперь — вот до этого... Бежишь. Тут, заметив, что тороплюсь, что нетерпение меня подгоняет, поняла: соскучилась уже. Как там без меня Зульфия? Да и... Лешка... Что он скажет сегодня? Что он еще скажет или сделает, как даст знать, что думает обо мне... И вдруг испугалась: ничего не скажет! Ничего не сделает!.. И уже давно и думать забыл!

И сразу я будто замерзла от мгновенно и остро охватившего меня отчаяния. А сама виновата! Сама убежала домой, чтоб не думать о нем в свой день... Мне казалось, что я не видела Никонова целую вечность. И я припустила бегом.

Вон уже уходят из поля моего зрения, остаются одни две березы вдали. Там, под ними, стоял некогда маленький всадник. Я не видела. Но вижу! Вижу! И всегда буду видеть их вместе. Пусть на самом деле они были вместе без меня. Тогда он думал обо мне, встречал. А если сейчас не думает — только я виновата. Догадывается ли он, как много я думаю о нем? Как мне будет плохо, если он перестанет смотреть на меня... А если и правда — догадается?!

Я уже забыла, как нужно мне было сбегать домой...

ОТКРЫТКИ

Потом оказалось — хорошо, что я сбегала домой одна.

Так обрадовалась Зульфия! Она еще не ушла в школу, мы побежали вместе. И по дороге я рассказала ей, что объяснил мне папа про немцев, про фашистов и перины.

— Конечно, — согласилась Зульфия, — если посчитать, что у нас татар, не похоже на ваше, русское, — так мы с тобой должны бы друг друга рраззоррватть! — И она, страшно оскалившись, скрючив пальчики на свободной от портфеля руке, нацелилась мне в лицо. Как во время танца «Ойся да ойся!».

— Я тебя не буду резать, ты не беспокойся! — ответила я, оттол-

кнув ее легонько плечом, — уж мы и посмеялись, вспомнив нашего незадачливого «Шамиля».

— А зря не дали нам его сплясать. Такие слова сочинили! — вздохнула Зульфия.

В классе мы застали странную картину: над партой Душки и Нины громоздилась пирамида из спин и склоненных голов. Даже не разберешь, где кто. Веркино румяное личико выглянуло из этой свалки — она, видно, ждала нас и закивала: «Айда-ка! Чё у нас!»

Оказывается, они рассматривали немецкие открытки. Душка Домушкина притащила все, что им слал за последнее время отец. Те, у кого дома тоже были открытки, сокрушались, что не захватили. Мы с Зульфией протиснулись поближе к Душке. А тут и звонок! Все перемены занимались рассматриванием, и я заметила, что ребята, у кого отцов уже не было, — это как раз Карпэй, Сашка Николаевич, Нурулла, Нина Иванова, в самом первом году войны пришли на их отцов похоронки, — смотрели эти открытки как бы со стороны, как что-то, что им не только не принадлежит — они и так принадлежали одной Душке, — но и не может принадлежать никогда. Ну, как жизнь в кино, что ли... Я так понимала этот жест, которым Карпэй брал открытку, близко не поднося к себе, и смотрел грустно, будто на открытке была не нарядная рождественская еловая ветка в нездешних витых свечах и золотых шишках, а что-то горестное и золотым готическим шрифтом сообщала она о горе и печали, а не приветствовала: «С Новым годом!», что и Карпэю, конечно, было понятно. И Нурулла, и Нина так же брали и смотрели все эти замки в лесистых горах, и пасхальные роскошные яйца, и ангелочков, и румяных Дедов-Морозов. Морозы были вроде наших, но ослепительно яркие, блестящие и самоуверенные...

Вдруг Лешка оживился, увидев изображение девочки — одна головка — в каштановых кудрях, с писаными пухлыми губками и карими глазками.

— О, глядите! На наших похожа! Правда, Коська? На Плетневу! Да ведь?

Я даже презирала Лешку, хоть и была польщена его щедростью — девочка-то красивенькая, — и закричала:

— Ты с ума сошел! Чего ж тут похожего! Кудрявая, глаза карие!

— Ну, значит, на Верку! — охотно согласился Никонов. — Ее глаза! Глядите, глядите! Губочки... Пра, ребята?

— Пра! — передразнила его Верка, вспыхнув. — Нечего меня с немкой равнять! Губочки увидал! А ну давай! — Верка попыталась вырвать у него открытку, но Лешка увернулся:

— Это Душкина! Не твоя! — и передал мальчишкам.

— А чё? Похожа на Матвееву! Правда, Верка, не злись! Тебя бы так одеть да завить — и годишься на немецкую фотку.

— Да их бы одеть да завить — оне у нас все хоть куда! — пробасил Домоседов Константиныч.

Такие добродушные стали наши ребята — не узнать!

Мы с девочками хохотали, представив себе, как завиваемся щипцами, нагретыми на свечке. Была и такая открытка: златокудрое голубоглазое существо отражено в зеркале в витой золоченой оправе, отражена в нем и свеча, на ней-то существо в белой рубашке, спущенной с одного розового плечика, и греет щипцы для завивки.

Мы прямо умирали, бились на партах, показывая друг на друга и всхлипывая:

— Это Душка!

— В рубахе-то — Галия... Ой, не могу!

— Нет, это Тоня, — отказывается Галия. — Тоня, Тоня!

И так далее.

Ладно, хоть развеселились ребята. И Нина смеялась, и Нурулла тихонько, и Карпэй гоготал. И почему-то я не смогла сказать им то, что сказала по дороге в школу Зульфие. Решила: в другой раз объясню.

ЛАПТА

Как немного пообсохло на пологом бугре, перед избами Никоновых и Карповых, — там скорей всего проветривает, высоко, — сюда на лужок, начинающий явственно зеленеть, собирались вечерами все, кому не лень. Лапта всех примирила и утешила, заставила забыть все сложности и оттенки отношений.

Лапта! Звонящий мяч в полнеба! Лапта! Свистит в руках досочка, а то и просто палка вместо быстро ломающихся лопаточек-бит. Да ну их, лопаточки! Как лестно палкой засветить точно по мячу, подкинутому перед тобой подающим! Снизу, с вольного размаха от плеча!

Лап-та! Пошел мяч свечой! И бежишь стремглав через поле, во «вражий» стан, за их черту, и маешься, перескакивая от нетерпения с ноги на ногу, пока новая подача не позволит вернуться к своим. Несешься через поле, а навстречу, бывает, летит в «плен» твой однопольчанин... Бывает, и столкнешься или попадешь под «огонь», если водящий перехватит лапту — мяч, — и, ударив в тебя, попадет! Тогда ты выходишь из игры. Чувство обновления, очищения «от грехов» переполняет всю тебя, когда, перебежав поле назад из «плена» и благополучно увернувшись от удара мячом, ты становишься в хвост игроков своей команды, ожидая, когда снова подойдет твоя очередь бить по мячу и бежать «под огнем» через поле.

А еще прекрасней, будучи водящим на поле, поймать лапту, то есть перехватить мяч прямо с подачи, когда он аж звенит от мощного удара! Лапта в руках водящего — это мгновенная победа его команды. Все кричат: «Урра! Победа!» — и, бывает, начнут качать водящего, если это не девчонка.

Лапта — это свежий, влажный воздух, холодящий гортань при беге, нетерпение во всех мышцах тела, пружинистость ног, когда кажется, всю игру и не опустишься на полную ступню, а все на носочках, на носочках! Это свист ветра в ушах и рвущаяся, летящая юбка где-то сзади! Лапта — это азарт, это вольный бег и риск и чувство своей команды, когда ты видишь, что там, за твоей чертой скоро уже некому будет бить, и под угрозой «расстрела» водящим, петляя и увертываясь, несешься к своим, уже не выжидая далекой подачи — чтоб без риска, — а под такую, какая есть! Так даже лучше: какой интерес бежать, когда и опасности нет!

Лапта! Лап-та!! Лап-та!!!

Черное, бархатное небо над головой! Весна! Близкая победа наших! Блестящие прямо в мои глаза глаза Лешки, хотя он там, у своих, на подаче, а я за полем, за чертой. Его еле заметный кивок — мол, беги, не ошибусь... И наш тройной полет: мяч — куда-то к звездам и за горизонт, и мы с Лешкой навстречу друг другу...

— Привет!

— Привет!

И — мимо! Иногда бывает такая подача, что успеваешь сбегать «в плен» и вернуться, пока водящий отыщет мячик.

ПОЛЕ ПОБЕДЫ

Сразу после Первого мая Мелентий Фомич собрал все три старших класса и объявил, что мы должны помочь колхозу. После уроков всю неделю будем вскапывать лопатами поле на бугре, слева от дороги на Камышлы. Там посадят картошку. Сейчас нехватка плугов и лошадей. Да и сыро еще очень, запаздываем с пахотой.

— Нас пятьдесят шесть человек, ну пусть выйдут пятьдесят, — взять гон по метру на брата, метров по десять-пятнадцать в день подыдем? Да шесть дней гнать — вот тебе и сорок пять соток! Шутка? А мы — шутя!

— Да навряд ли, Мелентий Фомич, — покраснев, сказал Карпэй. — Деревенским домой надобно все ж... Это ежели б вместо уроков... Чтоб смена так смена...

— Нет, — погрозил пальцем директор, — не туда ты клонишь! Учиться мы будем. Но — один-два урока последних... снимем. Это можно... Ну, часа-то три поработаем али как? — вытянул он шею к стоящим впереди Тоне и Галие.

— Это хорошо, — ответила Тоня. — Можно. И домой успеем. На том и порешили.

* * *

Весна в этом году стояла солнечная, но не теплая. Примораживало долго, а там и дожди перепадали. К Первому мая еще и почки не наклюнулись. Зима же была обильная снегом. Даже наше поле на бугре и то оказалось сырым. Бугор этот был залежью, еще не старой, года два его не пахали. И копать оказалось не просто, хоть это и не целина.

Карпэй и Степка Садов взяли с собой бруски и подтачивали лопаты кому нужно.

Острой лопатой одно удовольствие копать; особенно приятно чувствовать, как легко она рассекает корешки, старые стебли, всю эту травяную путаницу, которая обычно тормозит, не пускает вглубь тупое лезвие. Но это поначалу. А дальше будто и лопата тупится. Да и острая лопата не могла справиться с липнувшей к ней глинистой, даже красноватой от глины землей. На первом же метре мы уже запарились, сбросили пальтишки и телогрейки. А развязать платки нам не позволили — ветер дул холодный.

Мы шли линейкой, шеренгой. Вернее, начали так, но скоро наша линейка стала извилистой змейкой, «тетивой из жил оленя, разорвавшейся на луке».

Я старалась изо всех сил, чтобы не отстать далеко от верхних точек изгиба нашей змейки: Тони, Галии, Нуруллы, Карпэя и еще нескольких ребят и девочек из седьмого класса.

Лешка, Садов, Зульфия, Душка шли на одном уровне со мной. Но мне казалось, я работаю быстрее, чем они.

Каково же было мое горькое изумление, когда Мария Степановна похвалила меня такими словами:

— Интересно как смотреть на Плетневу: вроде так неторопливо работает, а получается споро — не отстает ни на шаг от всех! Я наблюдаю. Посмотрите-ка, Мелентий Фомич: она как взялась, так и не разогнулась!

Я от досады остановилась, встала, опираясь на лопату, — поглядеть, как же те, которые «торопясь», если уж я не торопясь. Прямо фокус какой-то! По-прежнему кажется мне, что ребята работают более медленно, чем я. Но ведь учительнице со стороны виднее. И потом, она же меня похвалила... И что тут скажешь! Лишь бы не отстать...

Принялась опять за дело: метр влево идешь, метр вправо. В метре пять раз укладывается лопата по ширине. Берешь шесть, чтоб не ошибиться. Глину с лопаты лаптем сдавливаешь. Наступишь на целый глиняный бруствер, выросший аж до черенка, и давишь всей силой вниз. Упорная глина...

— Ничего, ребята! — бодрит нас директор. — Сегодня денек простоит, дак завтра еще получше будет!

— Надо бы, да нельзя еще получше! — откликается Галия со своей ударной сотки.

— Я говорю, земля получше станет!

— Дак и я про землю! — не отстает Галия.

— Ты, Галия, у нас молодцом, ударник! — успокаивает ее директор похвалой.

— Чай, ударница, Мелентий Фомич! — разгибается маленькая Вера и хохочет. И хохот у нее получается с мучительным постаныванием. Это, я знаю, спина дает себя знать. В первые мгновения, как разогнешься, ломит ужасно. Но потом быстро проходит.

— Не-ет, Матвеева, — не сдастся директор, — ударник — оно крепче! Теперь уже все почти распрямились и смеются со стоном, опира-

ясь на черенки лопат обеими руками и прогибая спину. А от боли и чувства усталости еще больше смех разбирает, над собой смеемся. Только Галия, Тоня, Нурулла не бросили копать. Знай пашут, как тракторы.

Я смотрю, какими все маленькими на поле кажутся, не то что в школе! Это оттого, что простор вокруг, широко и в поле и в небе. Ветер дует ровный и сильный, без порывов, так что кажется, это он туго, без морщинок надул синий купол неба и поддерживает его высоту своей ровной силой.

В подножии бугра уже пролегла поднятая нами чистая полоска земли. А выше нас неряшливая, тусклая залежь, притоптанная снегом и дождями. И нам надо ее вскопать, сделать чистой и красивой.

Оказалось, мы работали всего час. А ладони уже горят и лопата кажется пудовой. Пригляделась, многие в варежках копают. Надела и я, да поздновато. Болят ладошки. Ну ничего!

— Давайте, давайте, ребятки,— приговаривает Мелентий Фомич,— на этом поле будет уже победный урожай, это уж наверняка!

— Урра! Поле победы! — закричал кто-то из мальчишек.

— Ур-р-ра-а-а! — подхватили все.

— Урр-ра! Поле победы!

Опять, значит, разогнулись и отдохнули чуток.

И снова — шесть лопат влево, шесть — вправо. Значит, два шага вверх, к вершине.

За три часа наши передовые подняли полосы длиной двенадцать метров. А мы только по шесть. Другие и того меньше. Устали здорово, а огорчились еще больше. Но директор нас утешил:

— Работали хорошо, рук-ног не жалели. Сколько сделали, за то и спасибо.— И поклонился всем в пояс.

— Мелентию Фомичу! — полушутя-полусерьезно нашелся Лешка и, выступив на два шага вперед, шапкой своей повел у земли, низко склонившись. Прямо как боярин!

— Мелентию Фомичу — урра! — заорали в рядах.— Урра! — опять понеслось дружное.

Домой пошли уже гурьбой, без строя. И Мария Степановна сказала, что камышловцы теперь будут работать по два часа. Сегодня они показали, как могут трудиться. А дома у них много дел.

Все-таки молодцы какие наши учителя, все понимают!

Тоня сказала за всех:

— Мы завтра сделаем столько же и за два часа.

— Точно! — весело подмигнула мне Галия.

На следующий день Мелентий Фомич сказал, что в колхозе нами не очень довольны: во многих местах мелко вскопали.

— Ребята, лучше не торопитесь, зато старайтесь! Берите землю на полный штык лопаты, понятно? Вгоняйте ее в землю до черенка. Поглубже надо, поглубже!

Ну, я вчера так и копала. На полный штык.

Теперь Мелентий ходил, смотрел, кто как копает. Пятиклассникам помогал. Второй день оказался тяжелей. Плечи и спина болели еще с утра. Но вечером все равно всех собрала лапта. И удивительно: силы будто возвращались! Так и пошло у нас: уроки в школе, работа, домашние уроки, лапта!

Третий день — суббота была — пошел уже легче: мы окрепли, приноровились. Да и земля, что ни день, легчала, сохла. Земля не ждала, она не знала ни суббот, ни воскресений. Мы постановили всей школой — работать и в эти дни. Ну, а деревенским только субботу.

Во вторник восьмого мая нам сказали, что мы работаем последний день. Значит, шел шестой день наших трудов. Мы таки сделали, что хотели: дошли до вершины бугра!

«Не высок бугорок», — как говаривали мы, выходя против него с лопатами. Не высок бугорок, да в наших краях и нет высоких — полого, мягко идут волны земли. Только овраги ее режут, да вот здесь, у Пеньков, есть небольшая речка, над ней местами берег крут.

Не высок бугорок, нечего сказать, а и у него своя вершинка. И вот мы на ней. А под ногами у нас ручная наша пашня.

Красноватый, дышащий освобожденно, чуть курясь под низким солнцем и местами тускло поблескивая (следы лопат), лежал перед нами кусок земли — пусть бедной, глинистой, но совсем нашей! Обиженной, как сказала бы тетя Еня, своими руками.

И влево, и вправо, и во все-то стороны тянулась наша земля до горизонта, до самого неба, и знали мы: дальше и дальше — все была она, своя земля. И везде над ней шла, курилась весна, везде была пашня, по пашне ходили грачи.

А здесь, на близком к нам поле, в сторону Камышлов, тоже на возвышенном месте, трактор как игрушка ползает, попыхивает дымок из трубы-карандашика. А за дорогой, по-над речкой две плужных упряжки, и за ними женщины, как куклы. На одной кофта красная.



А вторая как все, что-то темное на ней. И мы тут со всеми вместе. Свои среди своих.

Нас было немало — около пятидесяти человек. Но сейчас мы не кричали «ура», не шумели. Наработались. И смотрели, примечали... Как оно все вокруг нашего труда. Поле победы, думала я.

Наш труд и впрямь был как знамя — красноватое полотнище поднятой залежи раскинулось по всему южному склону бугра. Даже не верится, что это все лопатами сделали, и с нами вот даже пятиклассники.

Мы-то уже большие... Мы стояли с Зульфией обнявшись, опершись вдвоем на одну мою лопату. И я чувствовала, что сзади и чуть сбоку от нас стоит Никонов. В мире был полный порядок. И наши войска уже в Берлине.

Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета,
Ты не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне...

Тонкий вибрирующий мальчишеский голос показался нежной былинкой, проросшей первой на огромном пространстве земли. Не поддержи ее, и поникнет одна, пропадет, загасит ее ветер! Поэтому каждый из нас постарался поддержать запевшего первым, и взошла, поднялась вокруг него целая веселая полянка перепутанных голосов и голосков:

Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем вороном коне.
Приеду весною,
Ворота открою.
Я с тобой, ты со мною
Неразлучны вовек.
.....
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою!

Мы допели эту странную песню до конца. Странную, потому что она была совсем не школьная, совсем и к смыслу нашего дела и труда не подходила... А может, подходила? Потому что была в ней такая напряженная тоска ожидания, да и не просто тоска, а с отчаянной надеждой на то, что все сбудется! Будет встреча, вернусь я! И победа будет — уж точно!

Но ведь и мы ждем победу! И мы копали свое поле и с отчаянием от усталости, от бесконечности работы, и с надеждой: одолеем! И полю теперь ждать, когда его засеют или засадят, и надеяться: зазеленеть...

Нет, песня была самая подходящая, потому что такое было кругом настроение. И это понимали наши учителя и не только не остановили нас, но сами пели с великой веселой отчаянной тоской сбывающегося ожидания.

И песня была спета до конца. Мелентий Фомич, отвернув лицо от ветра, сказал негромко:

— Мы, все учителя, рады, как хорошо вы работали. Вы молодцы. Мо-лод-цы!

— Уж если не хорошо, так лучше не работать! — ответила за всех наша бойкая Галия.

— Вот правильные слова! — поднял к небу свой вещий палец директор. — А теперь пойдем да проводим камышлинских!

— Урра! — закричали мы обрадованно.

И наконец-то тронулись, побежали к дороге.

Но я заметила, не все пошли с нами. Отдельные фигурки потянулись к близким дворам Пеньков. Мне их стало жалко: наверное, дома дела есть и они не могли еще немного побыть со всеми.

«ЛЕШКА, ДО ЗАВТРА!»

Все понимали, что не сегодня-завтра это произойдет: победа! Полная капитуляция фашистов.

Со второго мая в Берлине не стреляли. Все знали: вот-вот... И все-таки это произошло неожиданно. Ведь так ждали...

Утром очень рано я услышала медленную и мягкую поступь тети Ени, входящей с полными ведрами в избу. Может, от этого и пробудилась. Еще совсем во сне слушала, как звонко упала дужка ведра, сброшенная с крючка коромысла, как звучно всплеснулась вода, и я словно бы сама увидела ломкую, хрустальную глубину ключевой воды в ведре, глубину, промерянную светлым зайчиком, метнувшимся на дно от всплеска. И вместе с этими звуками и сонным видением воды, всплеснувшей в ведре, возник голос тети Ени. Негромко, прерывисто от усилия — ставила второе ведро на скамью — она выговорила:

— Счас... сказывают... война кончилась.

— Правда?! — Мы уже сидели в постели. — Тетя Еня-а! Правда?!

— Говорят... Вроде бы из района звонили...

(В Пеньках не было радио, все особой важности новости передавали из района в сельсовет по телефону. А простые новости даже и не передавали.)

...Мы мчались к школе не помня ног. Мы неслись по замуравевшей уже улице Пеньков, и темная теневая сторона улицы была широкой, а светлая жалась лишь по завалинкам — такое низкое еще было солнце. А может, оно и не встало.

Хлопали калитки, раздавались редкие и какие-то болезненные вскрики. Мы видели нескольких ребят, двух-трех женщин, спешащих к школе, но не узнавали их. И нас никто не окликнул.

А ближе к церковной ограде слышали голоса, крики, плач.

За оградой было пестро от народа. И взрослых, я изумилась, не меньше, чем школьников. Хотя чего изумляться? Куда еще-то идти,

как не к школе? Тут празднично от деревьев, от красной кирпичной кладки церкви и ограды. Тут дети... Носятся, снуют юркими мальками: «Победа!.. Победа!..»

Я ничего не ждала заранее, но, видно, так уж было задано всей жизнью, если праздник, торжество, то все собираются и есть какой-то порядок: или строятся, или садятся и кто-то что-то говорит — митинг делается, собрание. Поздравит кто-то всех.

А здесь мы растерялись. Мы ворвались на школьный двор с криком: «Победа! Победа! Победили!» — но присоединиться было не к кому, хотя, повторяю, народу было много.

Все ходили один к другому — и расходились. И снова образовывалась неустойчивая группа, и другая, и третья. Будто все внезапно ослепли и ощупью искали своих.

Я тоже плохо видела. То ли слезы стояли в глазах, то ли какое-то предельное возбуждение не давало взгляду сосредоточиться. Чей-то красный платок машет в воздухе под припев:

«Ой-ля-люшеньки! Люшеньки, ле-люшеньки!»

Платок машет? Сам собой? Но я не всматриваюсь, мне почему-то важнее узнать, кто там в ярко-белой шелковой кофте. Атласная, блестящая кофта... Но ведь холодно как! Хочу узнать, а сама бегу к группе ребят — может, наши? Нет, совсем незнакомые, не знаю я их! А глаза этих мальчишек и девчонок смотрят на меня безлично-радостно, они просто кричат: «Урра! Победа!..» Не мне, вообще — всему вокруг!

Да-да, вот откуда это ощущение, что все вокруг как внезапно ослепшие: эти невнятно счастливые, расширенные — от счастья, от боли? — глаза, у взрослых еще и полные слез...

Я боюсь потерять Зульфию. Наверное, и она меня. Мы держимся за руки. Она меня дергает: гляди, Нинка Иванова! Ага!

Но тут же мы остановились: Нинка была не одна. Ее притиснула, прижала к стволу старой березы мать. Уткнувшись в шею дочери, она рыдала.

Нинины тонкие руки лежали у нее на спине — мать была ниже ростом, — а невидящее лицо, совсем мокрое от слез, неподвижное, обращено к нам. А рядом стояли малыши — мальчик и девочка лет пяти-шести. Они дергали мать за юбку и ныли: «Ну, мамка!»

И мы поняли, что еще для них значит День Победы: те, кто погиб, погибли для своих еще раз. Погибли навсегда.

Ах, больше никого не убивали! Кто жив сегодня — вернется!
А эти — нет.

Вон еще женщина: руки на плечах двух мальчишек маленьких — наверное, лет семь — девять. Идет, лицо закинула вверх, а глаза крепко зажмурены. Видно, не хочет плакать, а терпеть нет сил. И видно, как тяжело опирается она на ребятишек: они гнутся, пошатываются и обеими ручонками держат материны руки на своих плечах. Вдруг она прислонилась к красной кирпичной стене, осела, сгребла мальчишек в охапку и заговорила глухо: «Сироты вы мои! Нет у нас папки!..»

Но там, за деревьями, в глубине, у самой церкви и плясали: женщины подпрыгивали и кружились, а у одной блестела в руке бутылка-поллитровка и стакан, и она постукивала стаканом о бутылку, будто чокалась сама с собой, и вскрикивала: «Ох, бабы! Ох, бедные! Ох, дождались!..» И другие тоже что-то приговаривали, и подпрыгивали, и обнимались.

Это слепое блуждание по двору, и слезы, и пляски, и вскрики — будто это сон, не реальность. Возникали и исчезали знакомые лица: вон вроде Душка... Нет, не она! Кажется, девчонка из седьмого класса, но глаза ее не узнают нас...

Наконец мы столкнулись с нашими, совхозными: прибежала Шурка и Вера Зозуля:

— Мы спали! Мы не знали! Нам в окна стучат! Нам орут!

Потом увидели Садова.

— Девчатки! — заорал он — будто он, потерянный, нашелся и наконец поверил в свое спасение. — Девчата! Победа! Победа!

Мы все пятеро обнялись, взяли за руки как в хороводе, но не кружились, а сошлись тесно-тесно, лицом к лицу, щека к щеке. Мы наконец обрели почву под ногами и сразу поняли, что нам делать.

— Домой! Прямо отсюда — домой!

И побежали. Как вдруг крики, которые то и дело раздавались на школьном дворе и были слышны все слабее, по мере того как мы бежали, эти крики вдруг приблизились, стали громче, и я наконец поняла слова и узнала голос:

— Да-а-ашка! Стойте же вы! Садов! Плетнева!

Мы остановились. К нам бежал Лешка со своим братишкой-второклассником, Лешка держал его за руку. Они остановились тоже, когда увидели, что мы не бежим.

Мы стояли так недолгое мгновение, пока я в каком-то сумасшедшем озарении не осознала вдруг очень ясно, что мне незачем бежать куда-то! Что вот же он, Лешка, которого одного я и искала на школьном дворе. И куда ж теперь мне бежать!

Я шагнула к Лешке. И еще шагнула. Но меня схватили за рукав:

— Дашка! Некогда! Айда же! Ведь мы только до завтра!

Я было вырвала свою руку из рук Зульфийи и в ту же секунду поняла: в самом деле — только до завтра!

— Леша! Лешенька! — закричала я отчаянно радостно, уже уходя, убегая за своими. — Ведь мы до завтра! До завтра-а, Леш-ка-а-а!

— До за-втра-а-а! — неслоь и нам вслед.

4 декабря 1976 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	3
---------------------	---

Часть первая

Пеньковская планета	5
Глядельщик	9
Тетя Еня и бабушка	15
Тоня Антипова	19
Великий плач	23
Вечерние разговоры	27
Дорога домой	32
Дома и Пеньки нипочем	37
По-русски, по-татарски, по-немецки	44
Воскресенье: дела и происшествия	48
Сон и явь	57
Вот так наказание!	60
Мелентий Фомич	67
Военрук	71
История с ремешком	73
Энгелькина тайна	78
Мороженая картошка	80
Гранаты	88
Сумерки	94
Книга	97
Плохие вести	103
След в след	106

Часть вторая

На холме, среди желтой нивы...	113
Зинка и любовь	116
Бабушкина кровать	129
«Ойся да ойся!»	132
Карусели	140
Дежурства	144
Измена!	153

«Часовым ты поставлен у ворот...»	155
Пощечина	166
Что-то случится...	169
Нас разоблачили	174
После уроков оказалось...	178
Первая репетиция	180
Пять овечек	186
О счастье	192
Грусть-тоска	197
Концерт	199
Превращения	204
День рождения	212
Лесные сказки	220
Открытки	223
Лапта	225
Поле победы	227
«Лешка, до завтра!»	233

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Татьяна Николаевна Поликарпова

ДВЕ БЕРЕЗЫ НА ХОЛМЕ

П о в е с т ь

ИБ № 2227

Ответственный редактор

Н. С. Абрамова

Художественный редактор

В. А. Горячева

Технические редакторы

В. К. Егорова и Н. И. Лукова

Корректоры

Г. В. Русакова и Е. И. Щербакова

Сдано в набор 04.10.78. Подписано к печати 21.05.79. А06875. Формат 70×90/16. Бум. офс. № 1. Шрифт школьный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,55. Уч.-изд. л. 13,65. Тираж 100 000 экз. Заказ № 588. Цена 75 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М., Черкасский пер. 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46. Набор изготовлен автоматизированной системой «Союз» на Минск-32.

Поликарпова Т. Н.

П50 Две березы на холме: Повесть/Рис. Г. Аку-
лова. — М.: Дет. лит., 1979. — 238 с., ил.

В пер: 75 к.

Повесть о детях в годы войны, о селе, где они жили и учились.
С героиней этой повести читатель уже мог встретиться раньше в книге
«От весны до осени».
Повесть «Две березы на холме» печаталась под другим названием
в сокращенном варианте в журнале «Пионер» в 1978 году.

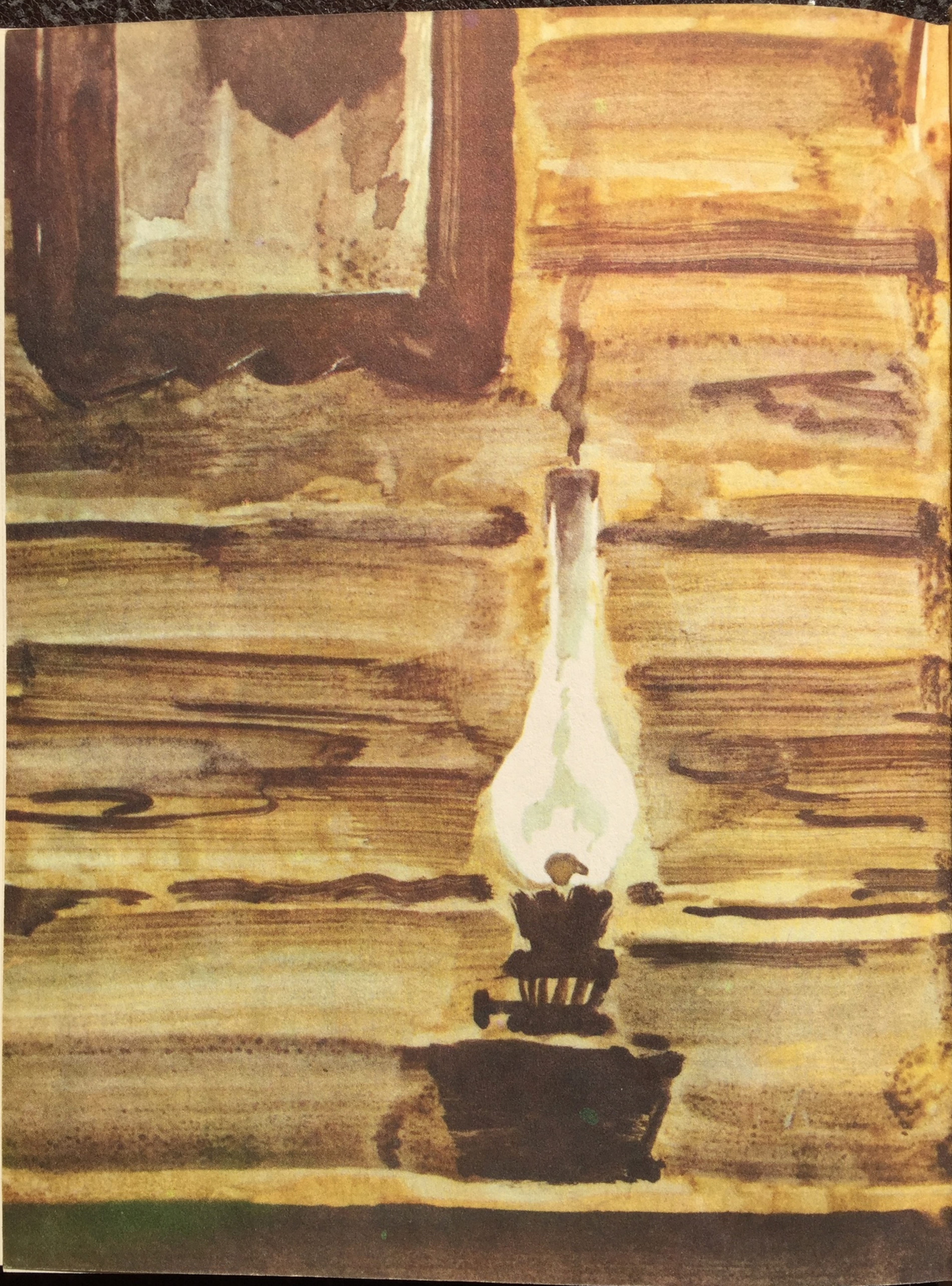
П $\frac{70803-295}{M101(03)79}$ 247-79

P2

Аку-

лись.
е в книге
азванием

P2





75 коп.

James Buchanan

TABLETS OF HISTORY